

М.ШЕВЕРДИН · ДЖЕЙХУН ·



М.ШЕВЕРДИН

# ДЖЕЙХУН

М. ШЕВЕРДИН

# ДЖЕЙХУН

Роман



ТАШКЕНТ

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма  
1983

Рецензент — доктор филологических наук,  
профессор Г. П. ВЛАДИМИРОВ

**Р2** Швердин М.  
**III 37** Джейхун: Роман.— Т.: Изд-во лит. и искусства,  
1983.—232 с.

Новый роман народного писателя Узбекистана М. Швердина «Джейхун» во многом биографичен. Отец писателя врач-окулист приехал в конце XIX века в Туркестан, в кишлак Тилляу Ахангаранского уезда, с гуманной миссией исцеления людей от слепоты.

Любовь к простым людям, удивительные, порой драматические события, романтика Востока присущи и этому роману М. Швердина.

**III 4702010200—** Доп — 83  
**М 352 (04)—83**

© Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма,  
1983 г.

Мы рождены землей.

Д ж а м м а п а д а

Запах земли. Он незабываем.

Вернитесь после длительного отсутствия домой, к себе в кишлак. И сразу узнаете, что это родной кишлак. Даже с закрытыми глазами, в полной темноте.

Достаточно втянуть в себя воздух, и запах земли, своей земли, вызовет картину прошлого, картину далекого детства, которое без такого запаха и не вспомнилось бы.

Плотно утрамбованный земляной пол из кирпично-красной и кирпично-твердой, спекшейся от костра из верблюжьей колючки лёссовой глины, тоже пахнет. Домашний запах ее напоминает о синем дымке, о пережаренном кунжутном масле, о шурпе, которую из щербатой пиалушки нянька Гульбика вливала в рот упрямо мотающему головой шалуну.

А как пахла глина, когда на нее с шипением попадала струйка из отбитого, наставленного жестяной носика чайника, ветерана домашней утвари, чайника, пропутешествовавшего до Тилляу от самого древнего Полоцка четыре тысячи верст и все же, несмотря на увечья, не сдающегося и продолжающего служить верой и правдой. Того самого щербатого чайника, в котором заваривался, да и по сию пору заваривается, терпкий, блаженно-приятный чай.

И без запаха чая, мешающегося с запахом очага, с его пережженной глиной, разве мыслима глинобитная мазанка, единственную вместительную большую комнату которой гордо называют мехмонхана — комната для гостей?

Все в ней пропахло глиной, потому что и здесь пол глиняный, правда, выметенный и вылизанный до шелковистой гладкости, пол, про который в сказке говорится: «Вылей на него тыквяную бутылъ масла и можешь языком слизать. Так тут чисто!»

А если глиняный пол побрызгать водой, по всей мехмонхане растекается таинственный, ни с чем не сравнимый запах, запоминающийся на всю жизнь.

И удивительно! С ним не спорят запахи земли сада, ви-

ноградника. А атмосфера горных долин так чиста, так наполнена ароматами трав и цветов, что добавка терпких запахов конюшни придает ей лишь пикантность и своеобразие.

Воздух в горных селениях — здоровый, целебный, радует душу и сердце. Он бодрит, словно молодой мусаллас.

Когда-то ранним утром меня разбудила горная иволга, поющая в чинарах, что совсем близко от нашего дома.

Спать не хотелось. Ветерок вливался в открытую дверь. Он приносил разные запахи: густой перечный аромат райхона-базилика, пряный аромат роз и шиповника, дымный запах поджариваемого на базаре шашлыка, запах конского пота, дыма из тандыра, в котором пекла утренние лепешки молодая жена Мергена, еще какие-то запахи, но все они мешались с запахом глины пола мехмонханы, и этот запах все пересиливал, все побеждал.

Запах родной земли. Его нельзя забыть. Он так же близок, он такой же родной, как воздух горных вершин, как аромат старинной узбекской сказки.

Запах земли!

Вспоминается старая мудрая поговорка:

«Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла».

Впервые я услышал ее из уст Мергена. Он житель кишлака Тилляу в голубой долине Ангрена. Того кишлака, где многие годы врачевал Иван Петрович, избавляя людей от болезней.

Мудрец и странник Сахиб Джелял восхищался природой Ахангарана. Говорил, что нет небес голубее, чем небеса Ахангарана. Нет голубее рек, чем реки Ахангарана. Нет голубее лугов, чем луга Ахангарана. Слово «кок» — «голубой» — употреблялось Сахибом Джелялом больше в иносказательном смысле. Голубой в смысле тихий, спокойный, счастливый.

Но...

от голода, снега, ужасов войны  
с лица голубого неба  
сбежала краска!

Шли годы. Много перетерпели и кишлак и долина... А потом снова пришли времена благоденствия. И вновь кишлак расцвел, преобразился. Теперь и кишлака Тилляу не узнать. Иван Петрович давно уехал из него. Но память о «дохтуре Иване» сохранилась и до наших дней.

Часть I  
РЕКА ДЫБОМ





Поступь доброгo коня,  
Полет сокола ведут к вершине.

Х о д ж а н д и

Я пойду за тобой, даже если ты  
протянешь меня сквозь игольное  
ушко.

Ш и р и н

«Дохтур Иван» — Ходжа-табиб принял назначение земским врачом в кишлак Тилляу давно. С тех пор прошло более трех четвертей века. И принял не потому, что молодому, кончившему с большой золотой медалью Московский университет и отбывшему службу в армии отличному врачу негде было работать.

Ехать в Туркестан за четыре тысячи верст от Петербурга не каждый захочет. Но Иван Петрович любил говорить: «Жить — значит быть мобильным».

Его влекли путешествия, влекли восточные страны. Не хотел он говорить о главном. Он преклонялся перед народниками. Высокий пример интеллигенции, шедшей в народ, звал его. Он слышал от своего родственника, участника туркестанских походов, о полной отчаяния жизни «туземцев», о нищете, ужасных тропических болезнях. И своей молодой жене он говорил чуть ли не по секрету:

«Лечить, лечить, лечить! Говорят, там едва ли не каждый третий слепой. Я окулист. Я поеду просвещать в полном смысле этого слова!»

Иван Петрович был молод, энергичен, жизнью не избалован, полон идеалами.

Приверженностью к высоким идеалам местная туркестанская администрация не страдала.

Предложение молодого врача восприняла как чудачество, но пошла навстречу. Молодой врач хочет лечить туземцев. И молодого врача запрятали подальше.

Кишлак Тилляу в добрых ста верстах от Ташкента. Дорога туда тяжелая. Почтовая связь практически не существует. Пусть едет.

Иван Петрович в известной мере представлял себе ожидавшие его трудности. Он знал, что железная дорога кончается в Ташкенте.

Но он не представлял, в какой мере все это трудно.



Сначала он думал, что семья останется жить в Ташкенте. Но, порасспросив о дороге в Тилляу, пришел к мысли: надо ехать всем.

В семье двое сыновей: одному три года — Алеше, другому — Мише — пять месяцев. Жара, пыль, комары, москиты. Плохая вода. В Ташкенте квартиру не найти. Единственная возможность — снять комнату при больнице. Поневоде задуمائешься.

Поезд пришел на станцию Ташкент утром. Привокзальная площадь, улицы поражали тишиной. Прохожих почти нет. Ишак плетется, поднимая за собой облако пыли. На обочине дороги десятки нищих с тыквяными чашками для медяков. Тело их и лохмотья — прибежище насекомых. Бельма на глазах. Багровые, сочащиеся гноем веки; скрюченные пальцы. Гнусавые песни-молитвы.

Странными казались плоские крыши, покрытые какой-то желтой щетиной. Ольга Алексеевна — сама из зеленого Полоцка, где не знают, что такое выгоревшая трава, — долго не могла понять, что это за щетина.

В Ташкенте уже в мае в тот год стояла жара. Для приезжих она оказалась нестерпимой, невообразимой. К счастью, квартиру удалось временно снять хорошую.

— Ты здесь поживи, — говорил Иван Петрович. — Мальчикам здесь лучше. А я вас буду часто навещать.

— Но сто верст! Все же это не шутка. Говорят, тут на реках паводки. Дорога беспокойная. Какие-то заросли — туган. Как же ты поедешь, Жан? Мы тут с ума сойдем от волнения.

Много говорили, даже спорили.

— Нет, мы поедем с тобой в этот, как его... Тилляу. Там, говорят, близко горы. Прохладно! Мишенька совсем ослабел.

Иван Петрович больше всего волновался за семью.

— Оставайтесь в Ташкенте, — говорили в областном правлении Ивану Петровичу. — Или возвращайтесь в Россию. С идеалами ехать сюда — напрасная трата нервов и труда. Вообразили, что вы своей медициной и лекарствами превратите местных жителей в европейцев. Тысячи лет они мерли без медицины. Или вы хотите, чтобы они помирали с вашего благосклонного разрешения? Вон Пржевальский, путешественник, воображал... А сам от тифа того-с...

— Быть не самим собой, значит, быть ничем. Я приехал лечить. Значит, буду лечить всех, кто бы они ни были.

— Воля ваша. Езжайте.

Хлопоты продолжались. Труднее всего оказалось найти прислугу. Из русских жительниц Ташкента никто не хотел ехать в Тилляу даже за неслыханное жалование — двадцать пять рублей в месяц.

— В кишлак? Нет уж, увольте.

После долгих поисков нашлась, наконец, милая чета — повар Гасан и его жена Гульбика, из кураминцев. Они согласились.

— Рот всегда может съесть больше, чем могут дать ему руки, — сказал под конец торга Гасан, подмигнув жене. — Если когда что надбавите, и то хорошо.

Знакомые утверждали, что Гасан и его Гульбика заломили неслыханную цену. И еще раз поудивлялись:

— Что вы так стремитесь в Тилляу? Не думаете ли найти там золото?

Они не верили в высокие побуждения и пытались понять, не сокрыты ли в этом Тилляу золотые россыпи? Почему это захолустный кишлак носит такое заманчивое название — Тилляу — Золотой?

## II

Слышать — не то, что видеть. Услышанное — лишь слабое подобие увиденного.

А х и н а р

О, почему ты выбираешь в жизни самые трудные тропы, самые узкие овринги, самые скользкие льды перевалов?

Р у д е г и

Сборы и хлопоты задержали отъезд на целый месяц.

Но всему есть предел. Наступил наконец день отъезда — солнечный летний день, и вся семья: доктор Иван Петрович, его супруга Ольга Алексеевна, сыновья Алеша и Миша, верные помощники Гульбика и Гасан — погрузили легкий ручной багаж на извозчиков (сундуки, яхтаны, мебель были отправлены еще накануне на арбах) и выехали из Ташкента по Куйлюкской дороге на юг, где синели далекой сплошной стеной Канджигалинские горы.

Путешествие в Тилляу началось...

Арбы и рессорные фаэтоны пылят по неровной, покрытой щебенкой дороге. Местами пыль чуть ли не по ось колес фаэтонов. Из-под ног лошадей столбы пыли. Все в сплошных непроглядных облаках едкой мглы. На руках, на лицах, на одежде слой серой пыли.

Из облаков силуэтами появляются арбы с огромными колесами. Мелко перебирающие копытцами, плетутся под огромными полосатыми каплями с саманом ослы. Торчат лишь длинные, печально стригущие уши. Рыжими призраками в серой мгле кажутся верблюды.

Солнце лезет сквозь пыльный туман медным тазом к зе-

питу... На зубах скрипит песок. Глаза зудят, в носу позывы «на чих».

На конях в дорогой сбруе выезжают из пылевой мглы воинственного вида всадники. Под чалмами непроницаемые, черные от загара бородатые лица, до того черные, что чернее глаз верблюда. Проплывают мимо бан в бекасамовых в полоску халатах, торговцы-базарчи, взгромоздившиеся на целую гору хурджунов, нагруженных на лошадь, муллы в белых чалмах...

Все почтительно прижимают руку с камчой к животу при виде форменной земской фуражки доктора и не могут не удержаться, чтобы хоть полминутки не попялить глаза на нежное, бело-розовое лицо Ольги Алексеевны под широкополой шляпой с целым букетом искусственных цветов.

«Шляпу пошире и вуалетку обязательно! А то обгорит твой носик», — предупреждал доктор супругу.

Пыль. Знойное солнце висит в зените апельсиновым шаром. Лёссовая мгла.

Кишлак Куйлюк близ Ташкента. Он славится своими богатыми скотопригонными дворами, базарами, богачами прасолами. Но жалким видом своих хижин с растрепанными камышовыми крышами он может состязаться только с африканскими деревнями, изображенными на гравюрах из географического многотомника «Земля и люди» Элизе Реклю.

Кураминцы в рваных халатах, напаянных на голое тело, изможденные, с растрескавшейся кожей ног, почерневшие от солнца и дымных очагов. Дервиши в высоких шапках и с неизменными сумками из скорлупы кокосового ореха, с длинными, выше человеческого роста, посохами.

И контраст — идущие тесной стайкой через базарную толпу, никого не удостаивая взглядом, монашки.

— Здесь женский монастырь, — поясняет вынырнувший из базарной толпы усатый полицейский с рукой «под козырек». — Спасаются тут, замаливают грехи-с... Ташкентские дамы и барышни. Все больше из благородных... Из офицерских семей.

Нищету и убогость Куйлюка скрашивает бурливый Чирчик, дышащий холодом горных снегов.

«Шыршик!» — называют реку кураминцы. И впрямь река в половодье — а здесь в Туркестане половодье приходится на жаркие месяцы, когда усиленно тают снега в горах, — шуршит. Шуршит галька, передвигаемая паводковыми водами по дну. Шевелится, ползет допотопным, зеленовато-коричневым, чудовищным ящером, вся в солнечных чешуйках, солнечных бликах громадная масса воды.

— Непроезжий у нас Чирчик в июньский паводок. Снега на вершинах Тянь-Шаня тают. Вот вода и прет...

Полицейский старается чем-то помочь, разъясняет.

— А мост?— робко спрашивает Ольга Алексеевна.

— Моста-с нет-с... Не построен-с.

— А как же ехать?

Полицейский пожимает плечами.

Извозчики получают расчет. Сажают в фаэтоны баев и катят обратно в Ташкент.

### III

Кто не побеспокоится,

Тот и до соломы не доберется.

Узбекская пословица

Барса пурга не остановит.

Киргизская пословица

— Да, приехали поздно вато,— ворчливо говорит кто-то.— Сразу видно — впервые в наших краях. С девяти часов в Чирчике самая большая вода! Солнце-то рано всходит. Вот снег в горах и тает.

Бездельников мучит любопытство и жажда поучать. На их лицах можно прочесть: «И куда хлипких горожан понесло? Мадам! Барчата! Сундуки! Кожаные яхтаны! Одеты во все дорогое!»

Из ворот караван-сарая, скрипя, выкатились арбы. На одной из них громоздкий ящик. Размеры его, необычный вид вызывают почтительный ропот.

Несколько сконфуженно Иван Петрович проговорил:

— Рояль!

— Рояль?— пугается кто-то из провожающих.— Везти в Тилляу... в кишлак рояль? Господи!

— Рояль «Беккера». Моя жена Оля закончила Петербургскую консерваторию. И вы понимаете, ей без рояля никак нельзя. «Без рояля я в кишлак не поеду». Так она решила.

Все умолкают и почтительно разглядывают гигантский ящик.

Но ведь и семью, и малышей, и... рояль надо переправить через озверевший, широкий — с Днепр — Чирчик.

Бородатые, кряжистые арбакеши в красных маленьких чалмах, прочерневшие на солнце погонщики верблюдов в киргизских белых с черным войлочных шапках, сумрачные переправщики — сучи — переминались с ноги на ногу, кто босой, кто в мягких мукках — дорожных сапожках.

— Воды в реке много... Выше оси арбы. Колеса захлестнет. Ждать надо.

В Ташкенте никто не предупредил доктора, что переезжать Чирчик в такое время года в дневные часы нельзя.

Здесь, в Куйлюке, люди опытные покачивают головами, растирают шершавыми ладонями бритые макушки для прояснения мыслей, кряхтят.

— Тупалан иши! Шальное дело!

А пока думают, да размышляют, да спорят, на высокую, с гигантскими, в два этажа колесами арбу тащишки громоздят ящики с кухонной утварью и столовой посудой, с провизией. Поверх настилают доски. «Чтобы ханум и тюря-доктор не замочили ног».

Одно уж это могло вселить страх и заставить задуматься. До оси колеса арбы сажень с четвертью, да высокие ящики. Египетская пирамида!

С реки пахнуло плесенью, мокрой кожей, тиной.

— Жуть! Какова же глубина брода?

— А брода-то и нет. Брод бродит, ха! Сейчас воробей на лапках пробежит, а через час Шейхантаур весь поставьте на дно, верхушку портала захлестнет. Грунт ненадежный!

Чтобы успокоить жену, доктор сам пошел к берегу посмотреть на переправу.

Кофейно-молочная река уже не шуршала и ползла с рычанием. В большую воду Чирчик рычит, воеет, гудит. Холодные густые потоки лениво, но устрашающе мощными всплесками выстреливали в береговые обрывы. Золотистые от лучей солнца полосы вдруг местами закручивались, покрывая всю ширь реки затейливым переливчатым узором.

— Совсем красиво,— вслух сказал Иван Петрович.

Вдали, в серой дымке, у самой кромки противоположного берега, крошечными пятнами виднелись арбы, Вода, поднятая колесами, искрилась на солнце.

Арбы с багажом, Гасан и Гульбика отправлены вперед подготовить в Тилляу все к приезду семейства.

Невозмутимый, спокойный доктор разглядывал реку, переправу. Посмотрел на одетых в черные лохмотья сучи, на богатырей-арбакешей и перевел взгляд на лошадей. Они были под стать своим хозяевам возчикам.

В раздумье доктор зашагал по пыли и гальке обратно в чайхану.

Навстречу ему с паласа поднялся темноликий, «весь в черной бороде», молодой человек, с доброжелательной, просто ослепительной улыбкой. В золототканом халате он напоминал золотого истукана.

— Кагарбек-мингбаши. Мы правитель волости Тилляу,— важно и почитительно представился он.

Прибыл мингбаши собственной персоной в Куйлюк, оказывается, из уважения к хакиму-доктору, помочь ему и его семейству переправиться через паводковый Чирчик. Небезопасное дело. Переправиться-то можно, но не лучше ли от-

ложить переправу, подождать, когда паводок спадет... А пока вернуться в Ташкент.

Волостной Кагарбек — весь доброжелательство и любезность — приехал в Куйлюк за сто с лишним верст предупредить. Он очень ценил свою предупредительность и раз двадцать повторил свои слова.

— Приглашаю! Поедем в Ташкент. Там у моего дяди сад. Тенистый, приятный, совсем рай. Вода. Цветы. Познакомьтесь с нашим узбекским гостеприимством — мехмончилик. О, узбекский мехмончилик, прославленный от Кашмира до Багдада! Отдохнете! А потом поедем. Спустя неделю вода спадет и... аллах акбар, переправимся.

Ужасно не хотелось возвращаться. Доктор поглядел на волостного. Широколицый, толстый, доброжелательный, он напоминал чем-то хитрейшего лиса из сказки. Глаза его поблескивали лукавством.

Волостной понял немой вопрос:

— Неужели мы желаем нехорошего ханум? Такую красавицу, настоящую неземную хури рая, приносящую мужу сыновей, мы поднимем бережно на руки и на руках перенесем через стремнину, — почтительнейше кланяясь, говорил он.

Разве устоишь перед этим олицетворением самого изысканного восточного адаби — вежливости?

Поистине волостной правитель Кагарбек жаждал, чтобы свет медицины, хранитель знаний и опыта великого врача Востока Абу Али ибн Сины как можно скорее осветил светом мудрости самые темные закоулки кишлака Тилляу!

Волостной всячески старался показать, что ему нравится доктор — неразговорчивый, плотно сложенный, высокий, с золотым пенсне. Волостной считал, что серьезный врач обязательно должен носить очки.

Немалое впечатление произвело на волостного и то, что у доктора оказалась жена — «прекрасная роза с голубыми глазами». Руки и шея белые. Под чадрой лицо не прячет. Дорогая женщина у доктора. Мать сыновей к тому же.

«Дорогая женщина» могла принадлежать лишь богатому человеку.

Но не только эти соображения заставили волостного проявлять заботу о враче. У волостного заболела его новая молоденькая жена. Заболела серьезно. И Кагарбек вдруг почувствовал, что без этой красавицы и жизнь ему будет не мила. Вот почему он, узнав, что доктор направляется в Тилляу, сам вскочил на своего гиссарского аргамака и выехал ему навстречу.

Доктор, несмотря на предупреждение Кагарбека, решил

переправиться через Чирчик, не дожидаясь уменьшения паводка. Кагарбек сдался. Он приказал припрячь в арбу еще двух самых хороших лошадей. В случае, если колеса попадут в выбоину, стремнину, кони легко вытянут арбу на безопасную галечную отмель.

Была сколочена лесенка, и на высоченную арбу Ольга Алексеевна взобралась не по спицам гигантского колеса, а по шаткой лесенке. Ящики и доски были застланы паласом. Для дамы имелось одеяло. Над головой аркой высился дугообразный навес.

Держа на коленях Мишу, прижимая к себе трехлетнего весьма прыткого Алешу, Ольга Алексеевна могла «наслаждаться» всеми прелестями переправы через туркестанскую реку.

Относительным утешением была жизнерадостная физиономия важно сидевшего в своем золототканом халате волостного, деликатно поддерживающего мадам под локоть. Весь его величественный вид говорил: «Раз я здесь, раз я слез со своего тысячного аргамака, взгромоздился сюда и доверился арбе, значит, все тузук, все в порядке!»

Для бодрости волостной повторял:

«Веселей сиди, пассажир! Мадам, спокойно сиди. Международный вагон!»

Волостной не закис в своем захолустном кишлаке Тилляу. Он уже не мало поездил по свету. Например, в составе туркестанской делегации он посетил Санкт-Петербург и даже разглядывал в паркете Зимнего Дворца отражение своего лица, своей плотной фигуры, блистающей золотом халата, и остался очень доволен бело-розовыми плечами и полуобнаженными бюстами придворных дам.

Сейчас он чувствовал себя вполне «кавалером». Слово это он постарался не забыть и употреблял ни к селу ни к городу в беседах с дамами на приеме в Белом доме у Туркестанского генерал-губернатора.

Выдержка изменила волостному, лишь когда арба, почти захлебнувшись в мутной стремнине, застряла, перекосившись набок, и даже три коня не могли ее вытащить. А вода все прибывала и прибывала. Волостной, разразившись проклятиями, перебрался по оглоблям-бревнам на упряжного коня. Арбакеша он отшвырнул и чуть не сбросил в бурлящую воду — сам водрузился в седло и умело погнал упряжного коня... И так он завопил на сучи, сидевших на запасных конях, что арба перышком вылетела из русла с треском и визгом железных ободьев по гальке, выкатила на колючий галечный, но—увы!—не противоположный берег, а на островок.

Поглядывая на прыгающих по голубой гальке жаворонков, все еще не отойдя от пережитого волнения, Ольга Алексеевна говорила дрожащим голосом:

— Вот, Алеша и Миша, вы теперь великие путешественники.

Только тут она обнаружила, что глаза маленького Алеши полны слез. В памяти мелькнул раскрытый рот и искаженное от страха личико. Но крика не было слышно, так дико шумела река.

Кагарбек повернул голову и осклабился, показав отличные зубы.

— Вода очень высоко! Сиди спокойно!

— Но...— начала Ольга Алексеевна.

Доктор показал рукой. Предстояло переправляться через широкий бурный рукав Чирчика. Только теперь все почувствовали, что в воздухе полно водяной пыли, почему-то пахнущей огурцами и свежей морковью. Алеша закричал радостно: «Радуга!»

Но взрослых радуга, поднимавшаяся в лучах солнца над бешеной стремниной, не радовала. В кофейной воде мчались ветки, бревна, даже вырванные с корнем деревья... Река гудела. По дну катились валуны.

Доктор извлек из кармана часы.

Паводок растет. Попали в самый разгар.

Волостной склонился неуклюжим кулем к теснившимся у его стремени сучи. Они поглядывали на стремнину и что-то кричали в один голос. Волостной слушал их вроде внимательно. Но вдруг как-то дернулся, поднял резко руку и полоснул камчой одного из сучи по голове, а затем гикнул и храбро въехал в воду.

Переправа продолжалась. Однако не проехали и десяти шагов, как арба вновь застряла. Сучи кричали и бранились. «Золотой болван» вздымал к небу свою мощную камчу и, судя по напряженному затылку, вопил.

Посреди протоки почему-то принялись перепрягать лошадей. Действовали сучи по пояс в воде, но удивительно ловко. Не опуская тяжеловесных оглоблей в воду, они вывели ослабшего коня и на его место запрягли сильного гнедого тяжеловоза с заплетенной косичками гривой и высоко подвязанным хвостом.

Погалдели, помахали руками, взгромоздились в седла и... поехали.

«Поплыли,— подумала Ольга Алексеевна, — по воле волн».

Чирчик грохотал, ревел, рычал. Брызги воды залетали под навес арбы.

В решетку плетеного из тала помоста плескалась вода. Лошади, по-видимому,плыли. У них высовывались из воды лишь уши и ноздри.

Где-то впереди блестящая струя Чирчика окаймлялась полоской темной зелени. Но далекие тополя казались травяны-



ми кисточками, и берег был бесконечно далек. Алеша опять плакал, но об этом можно было только догадаться. А Миша спокойно смотрел на мечущиеся волны и только морщил нос, когда всплески обдавали холодной водой лицо.

Временами волны вновь и вновь перекатывались через помост, и сколько ни поджимали ноги пассажиры «международного вагона», промочили их изрядно. Холод заставлял путешественников зябко поживаться — и это в разгар лета, в чиллю — сорокодневье зноя, духоты, горячих гармсилей — суховеев.

Сколько времени продолжалась переправа через буйный рукав? Вечность.

Но вот еще толчок, еще резкий крен, еще волны и... наступил покой. Арба снова железными шинами загрохотала по галечнику и остановилась.

Солнце ворвалось под навес. На смену ледяному дыханию реки пришли зной, духота.

Волостной сполз на руки подбежавших сучи.

— Офарин! Молодец, таксыр! — Теперь в относительной тишине стало слышно, как подхалимски с усердием люди превозносили необыкновенные достоинства и умение золотохалатного волостного.

А тот смущался и, вытирая малиновым платком мокрое лицо, все повторял:

— Худо холоса! Как богу угодно!

Сотый раз он повторял это «худо холоса!» и остался очень доволен, когда доктор сказал вдруг очень чисто и внятно: «Аллах акбар!»

— Именно, именно! Бог велик! Захотел бог великий и избавил руками нашими мадам со своими детками от неминуемой гибели.

Волостной хотел показать, что опасность переправы была нешуточная, но что такой батыр, как он, избавил эту прекрасную русскую женщину от всякой опасности, как бы страшна она ни была.

— Подумать только,— сказал доктор, криво усмехнувшись,— весь спектакль на четверть часа, а казалось, прошла вечность.

Лицо доктора было само спокойствие, но он сильно переволновался за жену и детей.

Сейчас светило жаркое солнце. От лошадей шел пар. Мокрые с головы до ног сучи, стоявшие у самого грохочущего Чирчика, весело махали руками. Они ожидали щедрого селяу.

## IV

Он готовился к прыжку, который друзья его называли смертельным.

И б н Ф а д л а н

Сколько ни кричит дорога,  
хорошо, что она есть.

Из песни кухистани

Завсегдатаи прибрежной чайханы оказались очень приветливыми и гостеприимными. Усаживая на паласе доктора и его супругу, протягивая им щербатые, склеенные пиалы с чаем, они что-то говорили, но что — непонятно. Слова заглушал рев реки, и, чтобы расслышать друг друга, надо было кричать.

Но арбакеш, воплями и знаками показывая на вспухшую реку, сумел объяснить, что вода все поднимается, и хорошо, что успели проехать благополучно. Чайханщик рассказал, все так же неистово крича, что еще день назад немного выше того места, где стояла чайхана, через протоку имелся мост, но что вчера его разметал паводок и от моста и бревнышка не осталось.

Мадам, как ее почтительно и упорно называл румяный, довольный собой волостной, достаточно попереживала и наволновалась. Она не отличалась железным здоровьем, пригодным для кочевого образа жизни.

Дочь учителя гимназии, она не была кисейной барышней, но и то, что ей пришлось с первого месяца замужества разделять скитания и путешествия своего супруга — военного доктора, — не приводило ее в восторг.

Сейчас Ольга Алексеевна хотела — пусть где-то в глуши, в экзотическом Туркестане, — обосноваться прочно и надолго. Она, зная французский язык, как свой родной, понимала, что в кишлаке ей вряд ли придется применять свои знания на практике. Но она изучала медицину по книгам и на практике с помощью Ивана Петровича. Воспитанная в высоких идеях гуманности, она полностью разделяла взгляды Ивана Петровича. Будучи в Ташкенте, с помощью супруга лечила ребятишкам гнойные нарывы, чесотку, коросту, чем заслужила у узбеков ташкентских махаллей прозвище Лола-атын, что в переводе означает учительница Тюльпан. Ольга Алексеевна даже искренне жалела, что ей пришлось так скоро уехать из Ташкента, расстаться со своими пациентами. Но Гульбика, ехавшая с ней в Тилляу, не держала в тайне это прозвище Ольги Алексеевны. И когда волостной узнал о нем, то пришел в восторг и на все лады повторял: «Лола-

атын! Лола-атын! Вы затмите все тюльпаны наших гор! Лола-атын!»

Ольге Алексеевне нравилось это прозвище. Она от души радовалась, когда в простых людях Туркестана находила черты простодушия, честности, трудолюбия и любви к детям, природного благородства. И в ее глазах слово «азиат» теряло свой обидный оттенок. «Здешние люди косятся на нас — чужаков. Вот ты, Жан, со своими знаниями медицины и покажи, что дело не в «европейцах» или «азиатах», а в человечности».

И надо сказать, что Лола-атын не только говорила так, но и своих детей воспитывала и воспитала в уважении и любви к простым людям. При более близком знакомстве с Азией ей пришлось пролить немало слез, испытать немало жестоких разочарований.

И сейчас, когда она смотрела на Кагарбека, даже у нее шевельнулось сомнение в его искренности, хотя он говорил только самые приятные вещи. А когда волостной с треском опускал свою медную резную печать на бумажки, счета за перебриску семейства доктора через Чирчик, и притом совершенно недвусмысленно изрыгал проклятия на мужественных сучи и ни в чем не повинного арбакеша, то Лола-атын почувствовала себя неловко и нехорошо:

Самое зрелище восседавшего посреди чайханы «золотого болвана», властно распоряжавшегося простыми смертными, было величественно и даже жутковато. И то уничижительное подобострашие, которое слышалось в голосе чайханщика при разговоре с волостным, вызывало в памяти слова поэта:

Поймал птичку сердца своего господина  
Сатана невежества и гордыни.

Перед глазами мелькнула картина. Бушующий Чирчик и золотой истукан посреди кофейных вод, взмахивающий тяжелой нагайкой, лупящей по головам, спинам, лицам. Вон и сейчас красным рубцом вспухла щека у одного из сучи, а он, Пардабай, так ей сказали, — хохочет, и сверкают белые зубы на загорелом дочерна лице.

Ольга Алексеевна выжидательно смотрела на мужа.

Доктор, настроенный философски, пил чай, не слишком осуждая, видимо, поведение волостного. Взгляд его говорил: «Ты не то еще увидишь здесь, в Азии, дорогая».

Доктор считал: «Характер благороден, когда благородна воля».

И так как обстоятельства детства и юности воспитали в Иване Петровиче твердую волю, а университет вырабатывал

и утверждал подлинное благородство, то оставалось, по мудрой мысли самого Аристотеля, воспитывать волю в благородстве.

Все это Иван Петрович осторожно высказал своей Ольге Алексеевне, пока они пили чай, а арбакеши и всадники готовились в путь, выжидая, пока хоть немного спадет зной.

## V

Мы не жалуемся на судьбу. Нечего лъву стыдиться цепей.

Зарри Гяе  
Пока можешь, бери сердце в руку.  
Сердце разбивать — не искусство.

Маула но Музаффар  
Хорезми

Иван Петрович вырос в вольнолюбивой казацкой семье на Черниговщине. Дед его был участником Шипкинского похода. Намерение Ивана Петровича отправиться в Азию выражало стремление быть полезным людям. Бессребреник и идеалист, он знал, на что идет. До его приезда в кишлак Сырдарьинской области больниц не существовало, врачей не имелось. Кое-где создавались только фельдшерские курсы.

Просьба русского доктора разрешить ему выехать в кишлак, была встречена в канцелярии генерал-губернатора без излишнего энтузиазма. Культуртрегеры-чиновники, «передовые европейцы» даже заподозрили в этом что-то неладное.

Пришлось объяснить. Но благородных мотивов оказалось недостаточно. Тогда Иван Петрович написал, что намерен собирать научные данные о тропических болезнях. Это подействовало. В губернаторской канцелярии нашли в делах пролежавшее под спудом лет пять постановление об учреждении первой сельской больницы в Сырдарьинской области, где проживало около миллиона человек, на... десять больничных коек.

Переписка длилась несколько лет. Доктор, получив назначение и предусмотрительно оставив в Полоцке семью, пустился в рекогносцировку.

Иван Петрович поработал в Тилляу, изучил обстановку и только после этого, испросив месячный отпуск, поехал за семьей.

Он был романтиком. Но это не значит, что перед Ольгой Алексеевной он нарисовал идиллический образ страны и людей. Иван Петрович был правдив с женой, сказал обо всем: о жаре, о пыли, о малярии и скорпионах, и всех неудобствах домашнего быта.

Сам он не остыл. Стремился на Восток. Мечтал о работе, видел перед собой широкие перспективы.

Ольга Алексеевна решила:

— Едем!

Это «едем!» было историческим не только для Ивана Петровича, но и для его сына, младенца, лежавшего еще в колыбели. Этим решением начинался его жизненный путь в Средней Азии, путь многолетний, полный удивительных событий.

...Если пшеница созрела  
И ее не сожнут,  
Она останется сожженной.

Иван Петрович все два года, пока утверждалось назначение, повторял эти слова из «Кабус-наме». Иван Петрович изучал узбекский и персидский языки — что для врача не так уж обязательно, быт и нравы народа Туркестана.

Он говорил:

— Если едешь в Азию, должен приехать туда во всеоружии. Словом, показать себя цивилизованным человеком.

Сколько вечеров он провел в интереснейших разговорах с отцом Ольги Алексеевны, преподавателем истории в местной гимназии. Он увлек своего тестя историей древнего края и сам получил очень многое для понимания того народа, к которому ехал с гуманной миссией.

И вот переправа через бешеный Чирчик завершена. Жалкая дорожная чайхана. Камышовая кровля раздергана, комата, точно вихры у мальчишки... Солнечные лучи проникают через прорехи кровли. Маленький путешественник Миша посапывает. Мимо по дороге, плюхаясь замшевыми лапами в пыль по колено, идут верблюды с тяжелыми вьюками.

А волостной, вооружившись пиалой с яхна-чаем, разглагольствует, стараясь заинтересовать госпожу Лолу-атын.

Но хоть «золотой истукан», как мысленно назвала его Ольга Алексеевна, очень любезен и без него, бог знает, чем закончилась бы переправа, он сейчас производил совсем другое впечатление: «Неприятный человек. В чужих словах читает свои мысли. В своих речах повторяет чужие...»

Он вдруг догадывается, что не совсем приятен уважаемой Лоле-атын, и заканчивает разговор, встает, чтобы откланяться.

Он стоит в сиянии золота, сытости и богатства среди черных, изможденных, усталых сучи, рваные черные халаты ко-

торых еще не просохли от чирчикской воды. Он повелевает, распоряжается!

И когда он уезжает на своем великолепном гнедом аргамаке, увешанном бирюзовыми бусами, и пыль от его коня относит прямо на помост чайханы, чайханщик говорит со вздохом:

— Отбыть изволили.— И после раздумий, поглядев на жалких сучи, добавляет:— Не заплатил... Совсем не заплатил. Даже одного чоха не заплатил.

Тогда Иван Петрович соскакивает с глиняного возвышения, идет к сучи, испуганно жмущимся в сторонке.

— Сколько следует за переправу?

Они хором отвечают:

— Худо холосо! Господин запретил брать с вас, таксыр, и одну копейку. Сказал: «С живых шкуру спущу!» Брать у доктора кяфира деньги нельзя. Его деньги в кошельке из свиначей кожи.

— Вот вам и «золотой истукан»,— говорит негромко Ольга Алексеевна.

Деньги доктор держал в руке. Растерянные сучи мялись и испуганно смотрели в землю. Десятки зевак с интересом наблюдали, чем все это кончится.

Один из проезжих, важно сидевший на помосте чайханы, высоченный бородач в ослепительно-белом тюрбане необыкновенного, не местного, фасона, державшийся до сих пор в тени, оказался самым умным.

Он с вежливыми извинениями забрал у доктора ассигнации и сказал:

— Таксыр! Ты не обязан им платить. За твой перевоз обязан платить господин в золотом халате. На то он и поставлен ак-падишахом в здешних местах волостным, то есть правителем.

Но доктор настаивал. Он хотел помочь сучи. Да и Ольга Алексеевна решительно приказала заплатить.

— Хорошо,— прижав руку к сердцу, воскликнул человек в тюрбане,— да будет исполнена воля прекрасной госпожи и да запомнят люди этот день, как счастливый! Но презренные деньги эти — не плата за работу. Сучи совершают, переправляя людей через стремнину реки, дело благотворительности. Деньги твои, таксыр доктор, не плата, а садака, что значит милость! А милостыня, пусть лежавшая даже в прахе, пусть в свином хлеву — побывавшая в руках кяфира,— все равно угодна богу, всеильному и милостивому.— Повернувшись к сучи, он продолжал:— Что пользы от стонов и рыданий у порога резной двери? Положения народа шах в своем дворце не знает. А золотохалатный чиновник ак-падишаха господин волостной не желает знать. Он убрался по своим делам. Тьфу!.. Вот деньги уруса! Берите!

Весь тон разговора был странным. При чем тут садака? Не слишком почтительное поминание ак-падишаха — прозвища, которым в народе снабдили российского императора, презрительное отношение к волостному... Да и говорил чалмоносец с какой-то высокомерной гордыней, совсем неуместной в таком простом житейском деле.

Он небрежно, с видом вельможи швырнул ассигнации и серебряную мелочь в робко подставленную ковшиком ладонь аксакала сучи — Пардабая.

— Убирайтесь, попрошайки! И достаньте гашиша, от которого вам, продрогшим и промокшим, земля покажется небом!

Изумление вызвал его разговор, его непомерная спесь. Необычное для здешних мест одеяние — нечто вроде черной на белой шелковой подкладке аравитянской джуббы — плаща и чрезмерно высоко закрученный тюрбан. Лицо его казалось тонко высеченным из красного гранита. Лицо было обрамлено иссиня-черной бородой. Взгляд пронзительных глаз вызывал дрожь.

Удивительно! «Знатный аравитянин», как его мысленно теперь именovala Ольга Алексеевна, не взял ничего себе за комиссию, хотя в Азии это обычно поощряется.

Он был удивительно услужлив, внимателен и даже почти телен.

Сам перегружал вещи, хотя ему помогала и угождала целая толпа завсегдатаев чайхаңы. Приказал чайханщику извлечь из закутка несколько чистых шелковых курпачей и ястуков, на которые в арбе усадил сыновей доктора. Подал джентльменским жестом руку Лоле-атын и все приговаривал:

— Помягче! Поспокойнее! — И для самого доктора по приказу аравитянина чайханщик нашел за покосившимся домишком на задворках прекрасного верхового скакуна внаймы за не слишком высокую плату: — Мужчина не на арбе... На арбе жена, дети, домашний скарб. Мужчина в седле! Мужчина на хорошем, добром коне. Почет, уважение.

Аравитянин распорядился выезжать. Солнце уже перевалило зенит.

«Зной и гилость воздуха  
Дошли до степени жгучести.  
В печи солнца  
Птицы превращаются в жаркое...»

— Жаркое... Хорошо бы съесть котлетку, — заметила мечтательно Ольга Алексеевна. — А ты, Жан, нас все философскими истинами кормишь.

— Это из дивана — собрания Амина Бухари, поэта... — оп-

равдывался доктор.— А что касается жаркого, то лучше поменьше кушать в такую жару.

— Обед будет в Той-Тюбе... вечером,— сказал аравитянин.— Мы уже распорядились.— Почтительными поклонами он провожал докторское семейство, идя по обочине пыльной дороги.— Мадам и доктор, разрешите мне оставить вас. Дела ждут в Ташкенте.

Он встретил испуганный взгляд Лолы-атын. Она почувствовала было себя и своих ребят за спиной этого властного и весьма влиятельного человека как за крепкой стеной.

Долина с унылыми камышовыми зарослями, отдающими гнилью под беспощадными стрелами солнца, кочковатыми, ухабистыми, пыльными дорогами, толпами нищих в лохмотьях внушала тревогу и мысль о неведомых опасностях.

«Аравитянин» любезно склонился в поклоне:

— О! Нет оснований для беспокойства в пути... Мы, Сахиб, так нас зовут, ручаемся. Хоть дорога и далека, и трудна, но вас проведут, довезут в целости и сохранности. И вас и ваших могучих йигитов-малышей. Он составит — верный человек. Зовут его Мерген, охотник, по-нашему. Он славный и знаменитый стрелок Канджигалинских гор...— И Сахиб показал на высокого, такого высокого, что его можно было бы назвать великаном, человека в белой войлочной шляпе с черными бархатными отворотами и с кавалерийским карабином за плечом.

Отличаясь исключительно высоким ростом, Мерген не казался старшему сыну Лолы-атын ужасным великаном.

Он понравился.

Благородные черты бронзового лица, обрамленного изящной каштановой бородкой-клинышком, несколько суровые глаза смягчались доброжелательной, чуть заметной улыбкой, едва взгляд его останавливался на мальчишках.

Все говорило о том, что он любит детей. Алеша сразу же это понял и закричал: «Дядя, дай ружье... поиграть!»

Мерген легко, проворно вскочил на оглоблю, взгромоздился на седло и подтянул поводья:

— Айда! Поехали!

И сколько в этом «поехали!» было энергии, что Ольга Алексеевна улыбнулась. Теперь она успокоилась и поверила, что путешествие их закончится благополучно.

«Приятно видеть столько доброжелательно относящихся к нам таких сильных, смелых рыцарей...— она чуть не сказала вслух «рыцарей»: «золотой истукан» — так про себя она называла волостного, бородач «аравитянин», он же Сахиб. Теперь могучий горец охотник! Настоящий рыцарь Востока!»

Глубокое уважение к человеку Востока с тех пор навсегда поселилось в сердце молодой женщины.



## VI

Жизнь, которую мы называем счастливой, лежит на вершинах, и к ней ведет крутая дорога.

С а а д и

Медноликое светило приподняло вечно опущенные веки и уставилось на нас. Это было страшно: мы словно заглянули в жерло пылающей печи.

А ш Ш а ф и

Застонали, заскрипели чудовищные колеса. Путешествие возобновилось. Теперь арбакеш предстал перед глазами пассажиров во всей своей силе. Хозяин дорог, он задрал свою бородку, обернулся и, подмигнув маленькому Алеше, воскликнул:

— Поехали!

Арба, конь, скрип колес, арбакеш-великан приводили Алешу в восторг.

Живописная киргизская шляпа, лихо надвинутая на один глаз, камзол из толстого сукна военного образца, сапоги из сыромятной рыжей кожи с загнутыми носками, весьма внушительный уратюбинский нож в черных лаковых ножнах с кисточкой из обрезков кожи, зычные выклики и особенно какая-то плотоядная улыбка, обнажавшая великолепные зубы,— все это производило несколько воинственное впечатление.

— Разбойник, а не извозчик,— вполголоса проговорила Ольга Алексеевна. Она забыла, что только что назвала Мергена рыцарем. Сказала она настороженно и сразу же раскаялась.

— Разбойник!— отозвался Мерген и расхохотался.— Настоящий разбойник, уважаемая хатын. Мерген-охотник... и лес еще сторожим. Объездчик. Мы арбакеш. Поможем Ивану-доктору переправиться через Ангрэн... Плохой Ангрэн. Воды очень много. Сагдулла нас зовут, а больше Мерген. Правильно говоришь, Лола-атын: все арбакеши немного разбойники! Но мы — мергены! Мы разбойников ловим.

— Но как же?

Честно говоря, Ольга Алексеевна не хотела продолжать разговор. Но что оставалось делать? Доктор уехал вперед на лошади, предоставленной ему предупредительным Сахибом. И у арбакеша-объездчика не осталось собеседников, а ему, видимо, хотелось поговорить.

— Госпожа удивляется: разбойник, а гуляет себе, воздухом дышит, песни слушает. Спрашивает меня наш пристав — есть такой у нас, его благородие Мерлин: «Ты хитер,

Сагдулла Мерген! Сколько я ловлю тебя, никак не поймаю. Ты, наверное, много уловов знаешь?» А я приставу отвечаю: «Знаю сто уловов». Пристав и приказывает: «Расскажи главную». А я ему: «Главная уловка, ваше благородие, что бы вы, господин, меня не видели, а я вас!»

И арбакеш Сагдулла густо захохотал.

— А откуда вы так русский язык знаете?

— В ссылке был.

— За что?— невольно вырвалось у Лолы-атын.

— Да тут драка на дороге случилась. Порезались арбакеши с базарчами. Вот и попал.— И он отвернулся и запел:

Плывет по реке

дерево,

Ни корней у него,

ни почвы...

Дорога вилась среди тугаев и полей. Долина Ахангарана была пустынна, но своеобразно живописна.

К концу дня марь разогнало ветром, на юге и юго-востоке стеной встал хребет приторно-лилового цвета. По обочинам дороги журчали арыки. По сторонам, там и тут, возникали зеленые купы фруктовых деревьев, виноградники. Поля, обсаженные шелковицей, были геометрически правильны и удивительно аккуратны.

Но едва раздавался скрип колес, как по обеим сторонам Пскентского тракта вдруг выростали странные, неправдоподобные фигуры. Они протягивали к проезжим худые, желто-коричневые иссохшие руки и, судорожно шевеля синими трясушимися губами, просили:

— Дай дору! Дай лекарства! Хины!

К арбе подъехал доктор:

— Там, где вода, там жизнь. Но где вода, там комары-анофелес, там малярия, там смерть. Сколько было в сумке хины, почти все раздал.

Он кусал ус и шарил нервно рукой в кожаной сумке с красным крестом.

— Дальше пойдут места посуше,— успокоил доктора Мерген.— А у Той-Тюбе уже высокая степь. Там комаров поменьше.

— Хины! Хины!— гудела толпа призраков, неотступно следовавшая за арбой. Казалось, местных жителей ничего больше не интересовало.— Хины! Хины!

— Доктор,— вдруг сказал Мерген,— хина кончилась?

— Да, теперь лекарства будут только в Тилляу. Гасан увез на арбе. У меня остался только пакетик.

— Если бы люди знали, арба не доехала бы... А теперь:

— Ччу! Поехали! В Той-Тюбе! Поскорее!

Он вдруг вскочил с седла, встал твердо на оглобли и, крича «ччу!», размахивая вожжами над головой наподобие лассо, погнал коня рысью. Арба со скрежетом прыгала по дороге. Стук отдавался в голове Ольги Алексеевны пушечной пальбой. Алеша радовался, Миша пищал.

Прекрасные сады, тучные лозы, изумрудные поля! Но всюду — и в листе развесистых урючин, и в кронах пирамидальных тополей, и в зарослях шелковицы, и в стеблях тучного риса роями сидели комары. Они ждали только захода солнца, чтобы тучами кинуться на людей, жалить голые ноги, руки, лица: вливать в укусы малярийных плазмодий... И не было тогда в долине почти ни одного человека, который не горел бы от малярийного жара. Хинин был единственным средством избавления от малярии, да и то далеко не всегда.

— Вот она природа! Вода — и жизнь и смерть. Без воды здесь и былинка не поднимется. Вода — хлеб, рис, хлопок, сад. И вода же — смерть... гибель... болезни... истощение...

Арба прыгала на неровностях и ухабах. От толчков и визга колес в голове шумело. Но приходилось терпеть. Скорее на холмы, прочь от комаров, от малярии!

Рядом с арбой на коне ехал доктор и, несмотря на все трудности пути, поддерживал оживленную беседу с арбакешем — охотником Мергеном. Все же интересно знать, с кем тебя столкнула судьба на большой дороге.

— Этот кальб-уль-акбар, — забавно сердился арбакеш, но ловко подпрыгивал на своих оглоблях, — виновник лихорадки. Этому кальб-уль-акбару, чем суетиться да метаться в поисках разбойников, привезти бы сюда много-много хины... людей от смерти избавить.

— Кого вы имеете в виду? — спросил доктор. — Кого вы подразумеваете под кальб-уль-акбар? По-моему... я не так силен в арабском, но это значит — большой пес!

— Хаким-доктор, оказывается, понимает. Таксыр — домулла!

— Кто же этот кальб-уль-акбар? Большой пес?

— Наш пес волостной Кагарбек.

— О-о! Его здесь слишком любят, уважают...

Арбакеш снова разбойнически захохотал.

— А еще у нас есть воджиб-уль-катл!

— А это что такое?

— Это... это наш пристав Перлин-Мерлин. Воджиб-уль-катл значит — заслуживающий смерти. Так его прозвали у нас.

— За что же его так?

— И волостной и пристав — вместилище злобы. Они мздоимцы. Последнюю копейку у вдовы, умирающей от голода, из горла вырвут. Оба из одной сумки вылезли, оба прославлены своим беспутством. Оба, подобно придорожным шакалам,

вспрыгнули на стулья власти. И распоряжаются, проклятые, жизнью и смертью.

— Что же люди молчат?— неуверенно заметила Лоля-атын.— Жалобу не напишут?

— Э, мучной червь из-под жернова целым выходит.

Большая, тряская арба металась по колдобинам, бока арбяного коня покрылись пеной. Сагдулла Мерген погонял и погонял, из-под копыт вырывались клубы пыли, с обочья дороги, из кустов камыша доносились стонущие возгласы: «Хины, хины!» а арбакеш-разбойник, стоя на оглоблях, разглагольствовал.

И, надо сказать, бесстрашный он был человек. Смело высказывал свое очень невысокое мнение об администрации Туркестана. И хоть по наружности он больше походил на разбойника, нежели на мудреца, но высказывал философские мысли:

— Кругом у нас много шелковицы, видите, хаким-доктор! Если ткачиха плохо натягивает шелковую нить на станке, шелк получается дрянь. Один поэт говорил, когда шелковые нити жизни человека, а они суть — ислам, обязанности, честность и стыд, не натянуты до звона, человек погибнет. Погиб Кокандский хан, погибнет и большой пес, и малый пес...

Как ни томительно медленно передвигались в те времена, как ни тащилась по пыли и песку арба философа и мудреца Сагдуллы Мергена, но вскоре дорога вбежала на возвышенность, и на фоне багровой вечерней зари четкими силуэтами ватемнели высокие тополя и круглые карагачи.

— Той-Тюбе!— закричал Мерген. Он торжествовал. Вывез семейство доктора из комариного болота!

В голосе его звучало торжество. Он отлично побеседовал. Откровенно высказался. Он не боялся. Даже если кто-нибудь узнает про его слова и возмутится, он не струсит. Он крыса, окруженная кошками, а крыса кусается. Да и не дойдет до этого. Хаким-доктор — хороший человек. Доктор — верный человек, домулла, он понимает, что речь — расплавленное золото. А золото не грязнится.

Вот почему в его возгласе «Той-Тюбе!» звучало торжество.

## VII

Я стою у закрытых ворот.

Но мне кажется, что я уже

вошел в них.

Х а ф и з

«Нет ничего вреднее кладбищ воспоминаний и сентиментальных блужданий по собственным развалинам. Любые

руины цепки, пахнут мертвым и приносят гибельные слабости».

Можно соглашаться или не соглашаться с такой мыслью, но часто воспоминания просто необходимы, чтобы оглянуться на прошлое. Они интересны, потому что лучше всяких исторических трудов помогают представить себе, как раньше жили люди.

«Предоставим ангелам размышлять о делах божественных, а задача людей — думать о делах человеческих».

Ольга Алексеевна любила вспоминать эти слова Франческо Петрарки. И часто повторяла их во время путешествия в Туркестан. А дела людские представляли на каждом шагу, с каждым поворотом колеса арбы. Она сожалела лишь о том, что сыновья ее слишком малы. А кругом — столько поучительного! Какая школа жизни! Один день пути, а сколько нового, интересного! Какие необыкновенные впечатления! Она совсем тогда не знала местного языка, но арбакеш-охотник успел перевести ей, правда, в прозе газель Саади. Ольга Алексеевна знала произведения «царя поэзии Востока». Поэтому слова Мергена произвели впечатление:

Не всякий человек — человек.

Не всякий камень — рубин.

Слова поэта звучали предостережением. Вообще Мерген производил впечатление разумного, делового человека. И он сочувствовал семейству доктора, потому что вообще уважал докторов. И явно недолюбливал волостного с его цветущим здоровьем, черной бородой и зычным голосом. Сам Мерген испытал немало жизненных неудач и бед.

Но путешествие продолжалось со всеми удовольствиями и неудобствами. Караван арб добрался до Той-Тюбе. Остановился у чайханы. В чайхане чистые паласы, самовар-великан со своими ослепительно блистающими медными боками, фарфоровые чистые чайники и пиалы, очень опрятные на вид одеяла, извлеченные из огромного сундука, блестящего цветными медными пластинками, — все свидетельствовало, что слух о докторе дошел и сюда и что его ждут как почетного и желанного человека.

К ужину чайханщик приготовил плов — «мечту ангелов и удовольствие гурий рая».

На скатерть, постланную прямо на палас, поставили неизмерных размеров блюдо.

Сразу возникло недоумение. А где же ложки? Ложек не оказалось. И не могло оказаться. Их просто не было. Пришлось раскрыть яхтан с посудой. Но как семейство ни проголодалось, как ни старалось, блюдо осилить не удалось.

Тем временем арбакеша очень живо управилась со столь же огромным блюдом, хотя ложек у них не имелось. Люди

ели аккуратно, истово, бережно подбирая каждую рисинку с дастархана. Все, что оставалось на блюде доктора, все, что удалось наскрести в огромном черном казане, все отправлялось в утробу арбакеша-разбойника и его друзей-приятелей.

Во время чаепития прибежал мальчишка звать проезжих в гости в караван-сарай.

Выяснилось, что в Той-Тюбе приехал из Тилляу встретить доктора фельдшер. Старожил кишлака, он рассказал много интересного. Рассказ его шел под аккомпанемент дикого, непрерывного рева, несшегося из-за дувала.

— Не придавайте значения,— пояснил фельдшер, седой, краснолицый украинец,— раз людей лечу, тем более, значит, и зверей. Тут не различают, кого должен лечить. Привели утром верблюда. Беднягу каракурт укусил. А чем могу помочь? Яд у паучка крепкий. Помирает верблюд. Хозяин сидит плачет.

— Каракурт!— испугалась Ольга Алексеевна.— Я слышала. И много их в степи? Ужасно! Не смей, Алеша, бегать босяком!

— Не дай бог! Очень болезненно для человека. Только человек умирает редко, а вот верблюд... Укусит его эта тварь — тут паука еще «черной вдовой» зовут — и будь здоров. Вы уж извините, что... Неприятно, конечно. Да и скотину жаль.

Фельдшер Фома Матвеевич был очень рад приезду доктора. Он вводил беседу в сторону. Расспрашивал о родной Черниговщине, откуда был родом и доктор Иван Петрович. Земляки нашли много интересного и общего. Говорили о родной Украине, белых хатах, баштанах, пасаках, тихих речках. Но нет-нет и разговор возвращался к маленьким черным с красными точками на спине смертоносным паукам, от укуса которых нет спасения, к мохнатым фалангам с трупным ядом на железных, прокусывающих кожу сапожного голенища жвалах, к скорпионам, сидящим в щелях глинобитных дувалов, к змее гюрзе, яд которой смертелен, и к самым опасным комарам — анофелес, распространителям лихорадки. Нигде нельзя было чувствовать себя в безопасности. Даже в кровать мог забраться зеленый скорпион или та же змея из породы гремучих.

— А что,— попивая чай вприкуску, успокаивал фельдшер,— тут и кобра водится, говорят. Но чего не видал, того не видал.

— Вы так рассказываете,— проговорила Ольга Алексеевна,— сколько здесь нечисти! И все смертельная! Удивительно, что здесь хоть немного людей в живых остается...

Как меняется все. Еще недавно Ольга Алексеевна, рафинированная кисейная барышня, воспитанница Института благородных девиц, чуть не падала в обморок при возгласе

«мышь!». А сейчас пыталась иронически отнестись к устрашающим рассказам почтенного фельдшера.

— А вас кто-нибудь кусал?

— Нет, бог миловал.

— Ну и нас помилует.

Откровенно говоря, Ольга Алексеевна не слишком поверила во все страхи. Но все же, устраивая постели на ночь, она тщательно все вымела веником и пересмотрела все белье. Сон долго не шел. Едва смежатся веки — перед глазами скорпионы и каракурты. Брр!

Из щелей двери падали полоски красного света. Доносился громкий, прямо-таки трубный голос фельдшера. После двух рюмок он разоткровенничался!

— У нас здесь докторов отродясь не было. Один я, Фома Матвеевич, — доктор. Вот он весь — я! Как умели, так и лечили, не обессудьте, ваше благородие.

Ровным, приглушенным голосом Иван Петрович что-то спрашивал.

— Да что там! Доктор нужен. Больных этих страсты! Особенно глазами болеют. Ждут доктора. Хвалил вас Кагарбек. Хитер брат.

И еще до ушей донеслась фраза:

— Знает, когда следует дать, чтоб потом снова взять. Вот какой он политик! И по части женского полу!..

— А что народ говорит?

— Он умный, умный, да от чужой глупости.

Сон не шел, а спать все же хотелось. Ольга Алексеевна не могла догнать свои мысли и... заснула.

И неотступно в усталом мозгу билась мысль, даже во сне:

«Тропинка жизни идет сквозь грязь и лужи в цветник... иногда».

## VIII

Лин мира багровый,  
подобный пламени...  
Ш и р а з и

Дорога все сужалась, и Ольга Алексеевна, глядя на легкую, глубокую пыль, а местами на залитые илистые пространства, снова и снова думала о «тропинке жизни». Сады исчезли. В предрабесветных сумерках раскинулась выжженная степь. Временами пыль окутывала арбу и нечем было дышать. А когда из-за темной полоски хребта выкатилось медно-красное солнце, от тряски, пыли, зноя сделалось совсем невмоготу.

Да, «тропинка жизни» оказалась труднее, чем думалось, когда семья пукалась в далекое путешествие.

Солнце неторопливо взбиралось к зениту, оглядывая, нет ли на поверхности земли еще чего не высохшего, не выгоревшего на нет, какой-нибудь жалкой былинки или тощего кустика. Но ничего не нашлось, кроме арб, на дороге. И тогда безжалостное светило все свои лучи обрушило на лошадей и людей.

Желто-пегая земля, желто-пегие увалы, пустынные, безжизненные, тянулись с запада на восток. Даже юрты не попадались на глаза. И что здесь делать людям, если и капли воды не найти. И лишь дрофы при скрипучем стоне арб взмахивали крыльями и отбегали подальше от дороги.

А высокие арбы, скрипя и стелясь, ползли по пыли, окутанные густым облаком, и горячее, оглушающе тяжелое солнце ползло все выше и выше по небосводу.

Так упорно тащился маленький арбяной караван весь день. Усталость, муки жажды достигли предела.

Наконец — всему есть конец — день начал близиться к вечеру. Солнце катилось по метелкам рыжего камыша. Легче стало дышать.

Повернув к арбе серо-бурое от пыли лицо — куда девался жизнерадостный румянец и блеск глаз — Сагдулла Мерген прохрипел:

— Скоро река! Много воды!

И почти тут же степь оборвалась, и под обрывом раскинулась зеленая долина с ослепительными стальными протоками.

Арба, застонав еще раз, остановилась. Арбакеш преподнес в большой кассе воду. Какое счастье смочить иссохшие губы, избавиться от болезненной, сведшей горло судороги! Вода так близко, остается протянуть руку.

Но доктор властно отбирает кассу и выливает воду. Вода мутная, похожа на кофе с молоком, так в ней много илу. Такую воду пить просто опасно.

Пришлось ехать дальше. И только в попутной чайхане удалось утолить жажду мутным тепловатым чаем.

Вздувшаяся от летнего паводка река Ангрэн производила не слишком приятное впечатление. Имелись здесь и стремнины, и омуты.

Но Тилляу находился совсем уж близко, и Ольга Алексеевна торопила переправу. Так хотелось после долгой дороги, бесконечной тряски полежать, отдохнуть, искупаться, смыть с себя и мальчуганов дорожную пыль.

— Нельзя! — решил Мерген. — Подождем. Солнце зайдет. Переправимся.

В кишлаке он повел путешественников к самому обрыву и показал. Здесь Ангрэн бушевал, пожалуй, сильнее, чем Чирчик. Вблизи Ангрэн ревел, рычал, гремел. В воздух неслись холодные брызги, приятно освежающие горящие щеки.



Поздно вечером вода пошла на убыль. В полной тьме Мерген повел караван к переправе. Видно, он хорошо знал русло реки. Арбы выдержали напор.

От переправы до кишлака, мигавшего в темноте огнями, оказалось совсем близко. Но последний отрезок пути путешественники проехали уже ночью и не имели ни малейшего представления, как выглядит знаменитый, по всеобщему мнению, великолепный кишлак Тилляу, перевалочный пункт на колесной дороге из Ташкента в древний Коканд.

До захода солнца из Карахитая был виден вдали кишлак Тилляу. Он производил приятное впечатление зелеными густыми садами и сулил много хорошего. Карахитай же с его развалюхами, домишками с узкими оплывшими бойницами, перекосившимися навесами базарчика, месивом навоза и глины на узких улочках, духотой с тяжелыми испарениями над лужами был неприятен.

Никто не захотел ничего продать путникам. Поспевающие персики и яблоки в садах за слепыми дувалами оказались недоступными. В единственном доме на холме, стены которого были раскрашены крикливо, в неестественные цвета, имелась мехмонхана, но путешественники так и не дождались чая, потому что местный аксакал куда-то уехал, а женщины, трепеща перед форменной фуражкой доктора, не высовывали носа из ичкари. В комнате висели допотопные часы, но они, по-видимому, уже давно не показывали время. Иван Петрович, махнув рукой, отдал приказ ехать вниз, к переправе, боясь застрять в пути на всю ночь.

— Плохие люди карахитая. Сплошные разбойники,— захотел Мерген.— Один чох и тот делят пополам. Поехали. В Тилляу отдохнем.

Знай, конечно, что предстоит четыре версты каменистой, разбитой дороги, переправа через многие бурные рукава Ангрена, через глубокие, заболоченные арыки рисовых полей, Ольга Алексеевна запротестовала бы и осталась отдыхать в фантастической карахитайской мехмонхане. Но теперь переступив порог своего нового жилища в Тилляу, она порадовалась, что Иван Петрович настоял на продолжении путешествия.

В кромешной тьме тряске, толчкам, скрипу и бречаннию железных, гигантских колес арбы вторили «медью звенящей» слова — нет не слова, а выкрики — невидимого, сидящего впереди на могучих оглоблях возницы Мергена.

Доктор не ленился переводить, повышая голос, каждое слово:

«— Бедны. Обездолены, несчастны наши люди! Они — вязанка степной сухой колючки. Вязанку прохожий путешественник сжигает в костре, согревая свое иззябшее тело. Клянусь, баи, беки попадут в рай через пятьсот лет после бедняка!»

## IX

Невежество — грязь Ее не счита-  
тишь мытьем.

Д ж а м м а п а д а

В черный день не теряй надежды.  
Ведь черная туча льет чистую воду...

А л - Д ж а х и з

Когда три четверти века назад доктор Иван Петрович впервые вышел из дверей домика с многообещающей вывеской «Амбулатория» на слепящую от солнца белизну пыльной улицы Тилляу, он прежде всего подумал: «Сколько знойных лучей и сколько едкой, тонкой пыли!»

Он не поленился наклониться и взять щепотку пыли прямо с дороги из-под ног. Он растер пыль пальцами и, ощутив острые, крошечные песчинки, проговорил: «Кварц. Кварцевые частицы, попадая на слизистую, вызывают раздражение. Отсюда болезни глаз. Сколько эта невинная вроде бы пыль приносит бед людям!»

Но он, молодой медик, с высокими помыслами, не замечал еще облаков пыли, застилавших не только зрение, но и взгляды жителей гор. Еще в университете он проникся идеей лечить людей, вырывать их из вечной тьмы, возвращать им зрение. Он не знал ещё, сколько на него нахлынет тьмы, духовной слепоты.

Иван Петрович возвращал людям зрение, с какими бы трудностями ему не приходилось сталкиваться, какие бы препятствия ни возникали перед ним.

Возвращая свет людям, он сам прозревал духовно. И в Тилляу, несмотря на несчастья, грязь, несмотря на то, что его окружили страхом и угрозами, он успешно боролся со слепотой. И счастлив был своими успехами. Он сам, который считал, что едет в первобытный мир дикости и невежества, тупости и зверства, в процессе своей врачебной работы познакомился с простыми людьми и высоко оценил их честность, отзывчивость, доброту, талантливость.

Иван Петрович шел по улице глинобитного кишлака Тилляу. Его начищенные до блеска сапоги тонули в глубокой белой пыли. Пыль набивалась в ноздри, в глаза.

Ни один из попадавшихся ему на улице ребят не имел здоровых глаз. На земляных завалинках сидели длиннобродые слепые старики.

Под чинарами слепые дети, раскачиваясь, нараспев зубрили священную книгу коран и слепой учитель покрикивал на них, взмахивая длинной палкой, такой длинной, чтобы на ощупь достать непослушного в самом заднем ряду. А рядов

школьников было много, так много, что весь палас был заполнен белыми фигурками. И многим детям еще не находилось места. Они сидели, поджав под себя калачиком ноги, прямо на голой земле, раскачиваясь, устремив слепые глаза на голос учителя. Погруженные в вечную тьму, дети безнадежно, безрадостно зубрили непонятные арабские слова арабского пророка. Они ничего не понимали в сурах корана. Учение-зубрежка не вносила свет в их отупленные вечной слепотой мозги. Они долбили незнакомые сочетания звуков из-под палки, еще не отдавая себе отчета, что они и учатся лишь для того, чтобы стать нищими каландарами, бродячими монахами, попрошайками на дорогах и базарных площадях, чтобы выпрашивать милостыню, гундося священные непонятные молитвы для ушей таких же темных, невежественных, духовно незрячих людей.

Мальчишки зубрили и зубрили, чтобы в лучшем случае сделаться через многие годы зубрежки хафизами — исполнителями религиозных песнопений, причем хафизами могли сделаться лишь те, кого природа одарила голосом.

## Х

Доброе слово железную дверь  
открывает.

Узбекская пословица

Терпение и победа — два верных  
друга.

По следам терпения приходит победа.

Хафиз

Первый свой «выход в свет» доктор никогда не мог забыть

В белейшем накрахмаленном и отглаженном собственноручно Ольгой Алексеевной медицинском халате доктор-хаким молодо, энергично шагал по горячей пыли улочек кишлака Тилляу, сопровождаемый сторожем амбулатории Гасаном, обряженным в такой же белый халат с красным крестом на рукаве, что не слишком нравилось правозверному мусульманину — но, между нами говоря, он сам заставил Гульбику нашить себе этот знак, считая, что он придает ему важность и солидность.

Серые, обшарпанные стены дувалов тянулись бесконечно по обе стороны улицы в туманной, такой же серой мари. Солнце пекло немилосердно, несмотря на очень ранний час. Ноги тяжело плюхались, словно в пуховую перину, выбивая душевные облака пыли.

Улочка совершенно пустынна. Дехкане уже в поле.

Но вот первые признаки жизни. Доктор решительно останавливается у открытой настежь калитки, грубо врезанной в стену, сложенную из пахсы — глиняных блоков. Створка дверки тонкой резьбы укрывает тенью от прямых солнечных лучей живое существо. Это неправдоподобно бледный мальчуган в темной тюбетейке с трепещущим перышком фазана. Мальчик замер в страдальчески-вопрошающей позе, подставив странно искаженное личико светлomu утру. Личико страшно белизной и черными провалами глазниц.

Доктор отрывает кусок гигроскопической ваты. Гасан, не говоря ни слова, вынимает притертую пробку из емкой бутылки и поливает вату тонкой струей прозрачной жидкости.

— Шошма! Не шевелись, сынок! — ласково говорит доктор.

Мгновение... и вага омывает глазные впадины. И — о чудо! Личико теряет свой отталкивающий вид. Черным роем взлетают набившиеся в глазенки мальчика жирные мясные мухи, и взгляду доктора открываются залепленные зеленым гноем веки, красные, запухшие прорези слепленных, покрытых струпами век...

Завопил малыш неистово. И не столько от боли, сколько от неожиданности.

Но хаким-доктор вновь и вновь, придерживая затылок, промывает ему глаза борным раствором.

У мальчика обыкновенный конъюнктивит... Ничего страшного — в обычных условиях, но сотни людей в Ахангаранской долине от этого «нестрашного» конъюнктивита слепнут навсегда. По-видимому, течение этой сравнительно невинной болезни осложняется грязью, заражением.

Мальчик вопит... Зовет маму.

Доктор лезет в карман халата, вынимает «москавли конфут», вкладывает в ладошку ребенку. Крик мгновенно стихает. Мальчик, который еще секунды назад ничего не видел, теперь или разглядел все же цветастую картинку на «кетке», или нащупал что-то незнакомое, но интересное и счастливо смеется.

А доктор с Гасаном уже шагают к следующей калитке, зная, что их ждет такая же картина.

С утра до полудня доктор совершал под палящим солнцем в облаках пыли паломничество или как он его называл «рейд милосердия». Гасан проявил сознательность и ответственность. Он понимал всю важность великой миссии, но покряхтывал и постанывал.

Знак красного креста вызывал у редких прохожих полное недоумение, а у спешившего по каким-то делам имама — настоятеля мечети — даже возмущение.

Крест в мире ислама запрещен. С тревогой Гасан ждал на свою голову всех небесных кар. Но держался.

Иван Петрович был счастлив. Наконец-то он лечил: Лечил вопреки всем обстоятельствам, лечил вопреки косности жителей Тилляу.

Еще ни одного ребенка не привели, не принесли ему в лечебницу. Хорошо, что ему пришла мысль отправиться в паломничество к маленьким несчастным пациентам!

Каждый счастлив в меру своей способности к счастью и своей потребности счастья!

Одно приносящее пользу дело  
Лучше тысячи тысяч речей и бесполезных слов.

— Отлично!— восклицал Иван Петрович, осмотрев очередного маленького пациента и обработав ему глаза борной кислотой.— Уговоры не помогли. Будем действовать. Дел здесь невпроворот. Какие запущенные случаи! Какие болезни! Несчастные. Скорее, скорее!

С утра до полудня — позже зной было нельзя уже терпеть — хаким-доктор обошел много улиц и улочек селения Тилляу, проник в тупички и такие закоулки, в которых, казалось, и слова человеческого не услышишь. Ни один попавшийся навстречу ребенок не избежал «принудительного лечения».

А таких ребят, судя по отметкам в записной книжке, оказалось сотни полторы — мальчиков и девочек всех возрастов. Естественно, доктор не спрашивал имен детей. Он только кратко отмечал в записной книжке название болезни и степень запущенности.

У всех, поголовно всех детей кишлака Тилляу глаза гноились, веки были багровыми, в болячках. А были и такие, которые ничего уже не видели и брели вдоль глиняных дувалов, ощупывая неровности стен слабыми ручонками. И вид таких маленьких слепых вызывал боль в сердце.

— Бич божий!— вдруг в полдень заговорил Гасан. — Таксыр-доктор, пойдемте домой!

— Вы устали, Гасан? Я тоже устал, но...

Тогда верный помощник поднял бутылку и показал доктору, что она почти пуста. Да и конфет в кармане докторского халата тоже не осталось.

— Отлично... Мы с вами, Гасан, отлично поработали. Теперь домой... Завтра! Завтра снова в поход.

Но поход не состоялся.

Рано утром хаким-доктор проснулся от угрожающего гула — точно полноводный Ангрэн ворвался в Тилляу.

В спальню поспешно вошла, почти вбежала, встревоженная Ольга Алексеевна.

— Бунт! Я знала, что так будет!— говорила она сдавленным голосом.— Там сотни женщин... Толпа... Полон двор...

Лезут на террасу. Я успела убежать из кухни... Они кричат... Я не понимаю... Но ради бога не выходи!

Поспешно одесвшись, доктор вышел на террасу. Двор представлял собой внушительное, даже торжественное зрелище. Весь он, огромный, обычно пустынный от высоких ступенек крыльца до далеких конюшен, колыхался и пестрел платками красными, белыми, синими, желтыми — чуть ли не всеми цветами радуги.

«В красных — это молодые женщины, в белых — бабушки... Остальные — девочки... Все бабское население кишлака пожаловало».

Чего хотели женщины Тилляу от него, от доктора, он догадался сразу. Явились, чтобы выразить свои чувства по поводу вчерашнего лечебного похода...

Но какие чувства? Что-то держатся они воинственно.

Тут же он разглядел, что женщины явились с детьми. И даже узнал среди ребят вчерашних своих пациентов.

При появлении доктора в форменной фуражке, в белом кителе с серебряными пуговицами и бархатными петлицами женщины мгновенно стихли. Лишь из дальних углов двора доносился негромкий ропот. Кто-то не мог никак успокоиться.

— Ассалом алейкум! — не очень громко, но так, чтобы было услышано в самом конце двора, приветствовал доктор женщин. Говорил он четко, ясно и внушительно.

И доброе приветствие, да еще на родном языке, сразу же возымело свое действие.

— Ваалайкум ассалом! — сначала робко, вразброд, а затем дружно, хором ответил огромный двор.

«Мудрый хаким Иван, — рассказывал потом в чайхане Гасан. — Посоветовал я ему. Послушался. Своим «саломом» наш дохтур замазал рты кишлачным бабам... «Салом» — это мед для наших бабушек и тетушек».

Никаких советов Гасан доктору не давал. Санитар сидел в тот момент в чулане и пытался засунуть кое-как свернутый, скомканный медицинский халат под старые журналы и газеты. Гасана ужасно нервировал красный крест на рукаве халата.

Обмен приветствиями сразу же утихомирил бурю.

Доктор спросил:

— Добро пожаловать! Что вы хотите? Вижу, вижу! Вы принесли и привели своих детей, сыновей, внуков, дочек... Вы хотите, чтобы я лечил их? Хорошо... Но давайте по очереди... Гасан, где вы? Идите сюда.

Но Гасан замешкался в чулане. Ему отнюдь не улыбалось очутиться лицом к лицу с толпой.

Получилась пауза, которая чуть ли не испортила все. Женщины возроптали. Послышались возгласы, угрозы:

— Колдун!

- Злодей!
- Ты ослепил сыночка!
- Убирайся!
- Не смей приближаться к нашим детям!
- Не смей притрагиваться!
- Уезжай из Тилляу!

На террасу рядом с доктором упала в пестрой обертке «москавли конфут». Полетел и рассыпался в пыль обломок глиняной штукатурки...

Дети плакали. Матери рыдали. Послышалось нечто вроде воя плакальщиц, каким женщины оплакивают покойников.

У ворот появились чалмоносцы. Но они и не пытались успокаивать женщин. Напротив, судя по энергичной жестикуляции, они подстрекали...

Доктор зорко следил за всем, но не уходил с террасы. Снова он настоятельно потребовал, чтобы Гасан вышел из своего убежища.

Прибежала из кухни Гульбика.

Красная, распарившаяся у плиты, как всегда бойкая на язык, она так энергично замахала руками, так требовательно приказала всем замолчать, что толпа сразу затихла. Женщины, разинув рты, вытаращив глаза, смотрели на решительную, бесцеремонную Гульбику. А она визгливо, воинственно закричала:

— Вы бесстыдницы! Вы скандалистски! Как осмелились нарушить покой великого табиба? Что вам было нужно?! Да вы с ума спятили! Сейчас же возьмите ваших сосунков, подберите подолы — хватит их трепать в пыли! — отправляйтесь домой и сотворите благодарственную молитву, что доктор не приказал вас разогнать нагайкой, а великодушно, как и подобает мудрецу, еще удостаивает вас разговором! Поворачивайтесь!.. Быстро!..

Возбужденная Гульбика в кухонном переднике, в сбившейся набок повязке на растрепанной голове походила на фурию из античной трагедии. Она так размахивала руками, кричала, с такой быстротой выкрикивала проклятия, что никто во дворе и слова не сказал. А если бы и сказал, все равно его не услышали бы.

Гульбика сбежала по лестнице и, сорвав с себя передник, принялась гнать им женщин. Они ворчали, истерично смеялись, но отступали. И через пять минут во дворе никого не осталось.

— Гасаи! — крикнула Гульбика. — Иди, трус, закрой ворота.

С торжеством улыбнулась все еще стоявшему на террасе доктору и проследовала в кухню.

Естественно, что о новом «рейде» по кишлаку и думать было нечего. Вечером устроили семейный совет.

Больше всех удивлялся Алеша:

— Такая московская конфета... и бросают на землю...

Ольга Алексеевна решила:

— Укладываем вещи. Гасан завтра нанимает арбы... Вначале мы уедем налегке... Возьмем яхтаны. Остальное уложат и увезут Гасан с Гульбикой.

Доктор слушал молча.

Присутствующий в гостиной красавец-волостной тоже не говорил. Он появился часов в пять вечера с крайне озабоченным видом, хотя отлично знал про женский «бунт».

Он понимал, что именно к нему могут быть предъявлены самые серьезные претензии, и чувствовал себя не в своей тарелке.

Долго он с важностью распивал чай с полоцким вареньем и московскими конфетами, долго потел и выразительно пыхтел. Отдал должное яблочному пирогу, испеченному умелыми руками хозяйки.

Потом весьма велеречиво, но путано разглагольствовала о бедствии, именуемом глазными болезнями, о счастливой судьбе, пославшей им чудо-доктора именно по глазным болезням, о трудностях кишлачной жизни, о грозных стихиях, о законах шариата и божественном соизволении. Особенно он напирал на темноту и непроходимое невежество женщины кишлака Тилляу.

— Им дарят благо, а они, лишенные разума, уподобляются козе, лягающей и бодающей, когда у нее хотя бы зять из вымени молоко.

Что делать доктору дальше, не сказал. Он ушел, вздыхая, почтительно кланяясь и прижимая руки к сердцу и животу, желая выказать величайшее благорасположение к докторской чете.

— Ханжа! — резюмировал доктор.

Приход волостного правителя ничуть не способствовал успокоению Ольги Алексеевны.

— Уезжаем!

И с вечера она впрягла Гульбику в хлопоты: принялась укладывать.

— Уезжаем!

Утром семья доктора проснулась снова от шума и женских возгласов на дворе. Ольга Алексеевна с детьми заперлась в спальне и попыталась даже забаррикадировать дверь комодом.

Сурово сжав губы, доктор решительным шагом вышел на веранду, готовый ко всему.

Но весь какой-то дергающийся и подпрыгивающий Гасан встретил его нервно, но с сияющей физиономией.

— Все в порядке! Большом порядке! — восклицал он, за-



хлебываясь от восторга и тыкая пальцем в полосу у основания террасы.

Зрелище было поистине удивительное. Вся саженная полоса у цоколя террасы была пестра и празднично пышна от мисок, глиняных глазурованных ляганов, ивовых плоских корзинок с персиками, виноградом, яблоками, гранатами, куриными яйцами, кусками баранины, какими-то свертками из виноградных листьев, касами с кислым молоком. Ласкали глаз внушительных размеров арбузы, аршинной длины дыни... Среди всего этого изобилия кудахтали куры... И бляял молоденький курдючный барашек, привязанный к перилам балюстрады.

— Это еще что значит?— помрачнел доктор, переводя глаза с «даров земных» на лица женщины, удобно усевшихся на земле.

Дружное «ассалом алейкум, таксыр хахим!» достаточно красноречиво говорило о том, что на сей раз женщины Тилляу явились не с войной, а с миром!

Лица открытые, белые, загорелые, старые морщинистые, молодые с нежным румянцем, бледные и золотистые, черноглазые, и, увы, с белесой пленкой, незрячие, выражали совсем не враждебные, как вчера, чувства. А многие женщины и девушки смотрели на доктора с подобострастными улыбками и, во всяком случае, с глубочайшей преданностью и уважением.

Доктор ответил приветствием на приветствие. И вдруг толпа во дворе разом поднялась на ноги, враз поклонилась и в один голос хором произнесла:

— Хорманг! Не уставать вам!

И тут же торжественно:

— Благословение тебе на голову, хахим-дохтур!

Из сбивчивых, беспорядочных возгласов доктор понял: чудо свершилось. Оказывается, даже безвредное, невинное промывание сразу же принесло заметное облегчение многим болевшим глазами детям. У многих исчезла краснота век. У иных прекратился зуд и нагноение...

Вытирая руки чистым полотенцем, доктор громко, на весь двор, объявил:

— Канэ, келинляр! Прошу, подходите! Приступаем к процедурам!

И уже ни одна мать не замешкалась, не заколебалась. И ребята, словно прониклись всей важностью момента, не плакали, не пищали.

Все, как замороженные, шли покорно, затаив дыхание к этому величественному, поблескивающему стеклами пенсне, белоснежному кудеснику, свершавшему чудо прозрения многих детей.

## XI

У каждого есть свой день храбрости.  
И есть столько же видов храбрости,  
Сколько разных видов опасности.

Фердоуси

Дом, в котором жил доктор с семьей, стоял в очень живописном месте. Прямо за фруктовым садом начинались и уходили вдаль изумрудно-фисташкового цвета поля, веющие запахами прели и цветов и густо населенные комарами и лягушками. А с другой стороны, тоже поодаль, располагалась обитель вечного покоя с холмиками сухой, лысой глины и редкими, беспорядочно брошенными кусками серого мрамора, испещренного арабскими письменами.

Картина печальная, отнюдь не настраивающая на веселость. Ее дополнял вой шакалов, которые появлялись ночью среди могил.

Далеко за полночь вдруг поднимался над долиной, над невидимой рекой тонкий звенящий плач. Шакалы надрывно по-детски плакали. Плач полз по земле, поднимался все выше, опускался, снова поднимался до самых звезд на самой высокой ноте и обрывался в неенходной тоске... Вой сменялся хохотом, диким, душераздирающим, отдававшимся многократным жутким эхом в далеких вершинах.

Великан, злой джинн хохотал над всеми горестями мира. Сам великан джинн, потерявший все, издевался над всем. Хриплые, пронзительные звуки поднимались, опускались, закручивались, переходили в нечеловеческий вой, от которого волосы шевелились на голове.

Пронзительным воплям сопровождало какое-то утробное колоссальное урчание. И вдруг врывались звуки — шум, треск, гул, шлепанье исполинских лап по воде.

«Они сливались в ведьмин шабаш на Лысой горе. Словно телеги с железными тяжеленными ободьями скатывались по каменистым спускам к Днепру, то есть к Ангрелу».

По крайней мере так шутил доктор.

— Тебе хорошо шутить, — сердилась Ольга Алексеевна. — Ты привык к ведьминским балам на Лысой горе, а меня это не устраивает. Я в Киеве не жила.

— Лягушки, — пожимал плечами доктор. — Что с них спросишь?

Да, весь шум, всю эту какофонию, устраивали обитательницы рисовых полей — лягушки, безобидные создания.

А в комнате стоял неумолчный писк, жужжание. И хоть окна и двери были затянуты пологам из марли, но над кроватями вились тучи комаров и москитов, вполне видимых

при свете луны и таких ярких, блистающих звезд на южном небе.

Но наступало утро, и приходил конец всем сгряхам и неприятностям. Оставались лишь зудящие волдыри на руках и лицах.

Ханум-дохтур принималась «воспитывать» мальчишек, а доктор отправлялся на работу.

Просто и ясно. Такова жизнь.

Но на самом деле все не так просто, не так ясно. Не так просто быть в этой горной долине врачом. Это был первый опыт создания амбулатории в отдаленном захолустном кишлаке. Да и в городах Туркестана сеть лечебных учреждений находилась в зачаточном состоянии.

Словом, все приходилось начинать сначала. А начинать было сложно. В первые дни казалось, что больных в Тилляу нету совсем: никто в больницу не шел.

«Тилляу — райское место, а в раю никто не болеет», — иронизировал, галантно целуя ручку ханум-докторше, Сергей Карлович Мерлин, местный пристав.

Доктор покачал головой. Достаточно было посмотреть на встречных прохожих, на завсегдатаев чайхан, на базарную публику, чтобы убедиться в обратном. Больные составляли значительную часть населения кишлака.

Не трудно было догадаться, что доктора и его больницу просто бойкотировали. Кто? Местные табибы-знахари. Они говорили: «У уруса лечиться нельзя, урус наведет порчу. От ференгских лекарств все умирают».

Табибов слушали. Табибами были по большей части местные ишаны — самые уважаемые, считавшиеся святыми. Возглавлял общественное мнение господин слепой муфтий. И не верил ни в доктора, ни в медицину.

И это время было самым тяжелым в жизни доктора. Никто не лечился. Выходило, что душевный порыв, великие помыслы молодого доктора — все втуне...

Однако боль не шутка. Боль не проходила от нашептываний и талисманов. И... несколько больных появились из порога больницы.

Болезни были, по мнению Ивана Петровича, пустяковыми: у одного нарыв, у другого малярия, у третьего воспаление среднего уха... Но все-таки...

А за первыми больными потянулись другие. И к концу года приемный покой амбулатории, рассчитанный на десять коек, уже не мог вместить всех больных, нуждающихся в лечении.

Доктору приходилось лечить от всего: от малярии, тифов, парши, от переломов, от укусов, ушибов, простуд, глазных болезней.

Волей-неволей доктор стал хирургом.

Лечить людей — благородная обязанность. Истина, не вызывающая споров. И доктор испытывал нечто вроде гордости от исполненного долга. Но он никогда не впадал в умиление, не разводил сантименты, когда к нему в маленький приемный кабинет вдруг чуть ли не насильно, вопреки протестам фельдшера, вторгались гурьбой степняки в малахаях, ватных халатах и принимались кланяться тысячу раз и возносить хвалу дохтуру Ивану за исцеление кого-либо из своих родичей. Посетители вели себя шумно и признательно. Проявляли слезливую чувствительность, падали на колени, били себя в грудь и живот, клялись в преданности на вечные времена. И они по-своему были искренни в своей благодарности. Но помня косые, мрачные взгляды чалмоносцев, сидевших обычно у порога мечети, или чалмоносцев-бородачей в той же чайхане над протокой Ангрена, доктор не создавал себе особых иллюзий.

«Чувствительность есть подделка чувств,— говорил он Ольге Алексеевне.— Мы здесь чужие. Понимать нас они не хотят. А вот понимать их, восточных людей, мы должны. И я их обязательно пойму».

Доктор в поразительно короткий срок изучил язык и быт тилляусцев. Помимо лечения, участковому доктору в те времена в Туркестане приходилось заниматься и другими делами. По поводу одного такого дела доктор иногда повторял слова восточного мудреца: «Пусть растает в горах снег, но пусть до того сгинет в земле труп врага».

В обязанность доктора входило выезжать в район на вскрытия. Когда пришлось столкнуться с таким делом, доктор «попал в долины растерянности». Он вскрыл труп человека, погибшего насильственной смертью.

Сняла голубиной небо, сверкали невинной чистотой снега на вершинах, пели в вышине жаворонки, по траве ходили серебристые волны от ветерка. А у самой кромки снега лежал труп — жертва племенной вражды.

Не по себе стало доктору, когда он увидел, как равнодушно смотрели его спутники, бормоча зауспокойную молитву. Еще больше растерялся доктор, когда уездный пристав Сергей Карлович Мерлин сказал тоже-весьма равнодушно: «Укокали! А за что? За десяток баранов, за три драных одеяла. Вот повыше, к перевалу, скоро снег растает. Там еще не такие подснежники зацветут. У меня тут в записной книжке не один без вести пропавший за зиму...»

Горцы с надеждой смотрели на доктора. Они очень хотели, чтобы он сказал: «замерз» или «упал». Тогда все просто, тогда не будет следствия, не будут из людей вытягивать подношения и взятки, не будет кожаная плеть ходить без разбора по спинам и головам. Все решат между собой по закону степи и гор, тысячелетнему адату. Доктору же за то,

что подпишет акт об естественной кончине скотовода, пригнанных баранов. Сколько можно, горцы сейчас ярикидывали в уме. Прикидывали и то, как баранов загнать во двор доктора. Известно было, что доктор с первого дня появления в горах Канджигалы категорически отказался «брать».

Его неподкупность даже воспевали шаиры.  
Но кому польза от песен?

## ХИ

И мошка сильна  
в ухе слона.

Дравидская поговорка

«Где тебя знают — почет твоему уму; где тебя не знают — почет твоему халату».

Доктор в первое время вынужден был обращаться за помощью к переводчику. И Гасан — единственный, кто был посредником между пациентом и доктором, — возомнил о себе. Он и на самом деле сделался важным лицом. К тому же доктор перед выездом из Ташкента за свой счет одел с ног до головы Гасана и Гульбику. У Гасана до поступления к доктору на службу не было сапог, а у Гульбики — теплого халата.

— Банкрот мы, — внушительно объяснял Гасан. — Погорели. Описали наше имущество. Магазин отобрали.

В Ташкенте доктор специально ездил на Хадру, на базар, посмотреть; нельзя ли чем помочь.

— Господи, — рассказывал он, вернувшись, — магазин! Да это ящик, где хозяину-торговцу негде повернуться. Хозяин поставит возле себя чайник, и для пиалы места нет. Магазин?..

Должность санитаря-переводчика при Тилляуской больнице оказалась как нельзя кстати. Отныне Гасан и Гульбика почитали доктора благодетелем и всячески старались услужить Ивану Петровичу и Ольге Алексеевне.

— Целуй руку, в ножки кланяйся, Гасан, — наставляла мужа Гульбика. — Другой половину жалованья себе в карман бы клал, а наш доктор — святой. Сам по кишлакам пешком ходит. А лошадьё ты пользуешься! Цени!

Ценить благодетения Гасан, конечно, ценил. Но жадность и спесь одолели. Лысоватый, с хитро бегающими зелеными глазами, с тремя волосками усиков и редкой седоватой щетинкой, росшей прямо из шеи, Гасан выглядел на докторском коне, когда въезжал на базар, весьма представительно в своем дареном бутылочного цвета суконном халате, в новых хромовых сапогах.

Вообще, если говорить правду, Гасан оказался при бли-

жайшем знакомстве сквалыгой. Целую руку доктору и его супруге, он вымогал все, что угодно: ношеную сорочку, треснувшую чашку, футляр от очков, карандаш...

Чем больше жалели его в семье доктора, чем больше помогали ему и его Гульбике, тем требовательнее, тем назойливее вел себя «великий» коммерсант. Он нагло пользовался добротой доктора и вскоре фактически присвоил его коня. Во всяком случае, право ездить на нем.

Но, с другой стороны, недопустимо же, чтобы служащий первой в Сырдарьинской области сельской больницы — пусть он будет простым санитаром! — ходил бы полунищим оборванцем.

— Пусть ездит, — решил доктор.

Зато теперь, когда Гасан проезжал через Тилляуский базар, все торговцы высовывались по пояс из своих дуканов-лавчонок и кланялись самым уважительным образом:

— Смотрите! Смотрите, на Гасане сапоги!

— А чалма!

— А конь взнуздан новой уздечкой!

— Даже сапоги доктор выдал своему слуге! Офарин! Молодец!

Возглас «офарин!» — выражение высшего восторга.

В Тилляу, в кишлаке многолюдном и богатом, мало кто из дехкан мог похвастаться сапогами. Вообще сапоги, даже самые обыкновенные, были не по карману! Пара сапог приобреталась дехканином — речь, конечно, не о кулаках или мироедах — раз в жизни, к свадебному тою, и носились сапоги всю жизнь, осторожно, бережно.

Человек в сапогах заслуживал почтительного, уважительного обращения — «бай». К примеру говоря, — Касым-бай, Салих-бай. Теперь, обувшись в дареные сапоги, санитар амбулатории, бедняк, голодранец стал в глазах базарного люда Гасан-баем.

Отсветы славы Гасан-бая в новых сапогах добротного казанского хрома да еще верхом на коне частично падали и на доктора. А это еще прибавляло толику уважения современной медицине и ее служителю.

— Почтенный, видать, человек. Слугу как держит... в сапогах!

Сам доктор отказался ездить на работу и на базар верхом. От дома до первых лавочек было двенадцать шагов ровно — доктор сам измерил расстояние — и ему казалось смешным ездить на базар на коне.

Доктору, оказывается, надлежало по приезде сразу же приобрести коня. Он понял это, когда золотохалатный властный вдруг торжественно привел коня на конюшню и, хитро шурясь, объявил:

— Мудрому табибу надлежит быть на высоте седла!

Доктор отказался от подарка, но конь так и «прописался» в докторской конюшне. На нем теперь Гасан выезжал на базар.

И лишь в соседние кишлаки по вызовам Иван Петрович отправлялся на коне. Пациенты доктора жили порой за сотни верст, а отказать в помощи кому бы то ни было доктор не мог. А так как Гасан должен был сопровождать доктора в его поездках, пришлось подумать о покупке коня для него.

«Будем смотреть на коня волостного, как на казенный транспорт, а Гасану лошадь придется купить».

Полунищий Гасан, «банкрот» Гасан, просто решил все задачи и затруднения. Он сам... купил себе лошадь.

— У нас, мусульман, просто дико смотреть, что дохтур-урус подошвы топчет по грязи. Ты, дохтур Иван, — «важный персон», а ходишь как нищий каландар, пеший. У нас самый голодный мирза обязательно на лошади. Ни за что на ишака не сядет, ни за что пешком два шага по улице не ступит. Оскорбление! Хафо!

— Хорошо. Купи мне Гасан ишака — продукты возить.

— Что вы, хозяин-дохтур! Да я... Да мы... Позор! Голову пылью я посыплю. Разве можно?

### XIII

Говорили про шакалов, а шакал  
на пороге.

А л - Дж а х и з

Душа приходит в ужас от всего,  
что она выдумывает.

К е м н е

С обнаженной жестокостью, цинизмом жизни Иван Петрович столкнулся в полной мере и в романтически-прекрасных горах Канджигалы.

Это издали они высились зелено-синими, притворно живописными громадами на синем небе и дышали свежестью и прохладой далеких снежных вершин и синих холодных поточков и казались населенными прекрасными пери и могучими сказочными красавцами.

Живописнейшие, идиллические селения при приближении к ним оказывались горами камней, слепленными глиной и наполненными дымом, копотью и кишачами назойливыми паразитами. К ним доктор относил не только кишачищих в стенах и дувалах кишлака кровососущих насекомых, но и таких представителей человека разумного — «гомо сапиенс», как волостной управитель, муфтий — хранитель местных мазаров и принадлежавших ему вакуфов, и «их благородие» полицейский пристав.

И неизвестно еще, кто был вреднее. Если волостной отождествлялся в воображении с вьедливым каной-клещом, насельником бухарских зинданов, а муфтий — с жирной мясной мухой, то хоть это и могло показаться странным, пристава за его суетливость Ольга Алексеевна прозвала мадам Блоха. Забавно длинные ноги в черных начищенных ваксой сапогах несли выпирающий под мундиром живот, маленькая голова была увенчана слишком маленькой фуражкой, едва державшейся на самой что ни на есть лысоватой маковке.

Но, конечно, не забавная внешность вызвала эти малолестные прозвища владык Ахангаранской долины. Их вьедливость и цепкость, их отвратительные повадки, их умение кусать и сосать кровь вошли в поговорку в народе. Их ненавидели, к ним чувствовали отвращение, но их боялись.

Побаивался их и Иван Петрович. Они стеной вставали на пути начинаний, с которыми он ехал сюда в Туркестан. Борьба за идеалы было трудно. Более чем трудно. Но возможно.

И многое представлялось в романтической дымке. Скитаясь почти в полном одиночестве, если не считать молчаливого проводника киргиза, по волшебной горной стране Тянь-Шаня, начинавшейся к востоку от Тилляу, прямо за Канджигалинским хребтом, Иван Петрович размышлял о высоком призвании врача.

Времени для рассуждения было достаточно.

Иван Петрович то отправлялся за полтораста верст по вызову больного чабана — скорее «по зову совести», так как по уставу врачебной службы врачи должны были лечить на месте в своей амбулатории. То спешил в далекий киргизский аул на трудные роды, когда роженице уже не могли помочь местные повитухи. И хотя доктор по специальности был окулист и отоларинголог, случалось, делал кесарево сечение, о котором ему было известно только по учебникам.

Такие поездки вдохновляли, поднимали его в своих глазах. И тогда грудности перевалов, переправ через бешеные потоки, переходов по шатким оврингам не пугали. Все, казалось, помогало: и бодрящий ветер, и краски склонов гор, и просторы долины.

Но часто противоречили мыслям и мечтам все те же жестокость и злоба. Снова приходилось отправляться на «вскрытия» трупов. И стоя порой, опершись на шершавую, пахнущую смолой арчу в три обхвата — подлинное чудо природы, — горько было предаваться размышлениям о несовершенстве человеческой природы.

Доктор слезал с коня, опускался на корточки у родника и долго, тщательно, до скрипа мыл руки в кипящих его струях, чтобы смыть густой запах, запах карболки и йодоформа.

Он хотел возвратиться домой, в семью с чистыми руками.



Он хотел, чтобы ничто не напоминало о недавно виденной им смерти.

Руки ломило от ледяной воды, полной грудью доктор вдыхал прозрачно чистый воздух снеговых вершин, глаза отдыхали на зелени альпийских пастбищ, широких, бескрайних.

Трепетали в бирюзовой вышине жаворонки. Гудели желто-черные очень крупные шмели, перелетая с цветка на цветок.

Сколько здесь было цветов!

А ведь всего час назад ему, доктору, пришлось «препарировать» на таком же зеленом лугу среди цветов уже тронутый тлением труп молодого, сильного горца, убитого бог весть кем и бог весть за что.

Вот она — обнаженная жестокость жизни!

## XIV

Предпочитаю собаку человеку, обижаящему людей.

Н а с р е д д и н А ф а н д и

Он был бай из баев, то есть богач из богачей, и потому часто женился. А то, что он занимал место блюстителя мазара Тешикташ, старинной святыни Ахангаранской долины, делало его неуязвимым и безнаказанным. Он творил беззаконие. Все сходило ему с рук. Он сам был законом! А законом его был коран пророка Мухаммеда. Коран же разрешал брать в жены любую женщину племени, начиная с семи лет. Вторую жену свою пророк возвел на ложе, когда ей было семь лет. А перед этим ему открылось откровение: «Войди к ней!»

Значит, так надо.

Строго придерживался муфтий установлений религии. И очень его удивило, что доктор Иван Петрович вмешался в его брачные дела и вступился за семью аблыкского сучи Пардабая.

Пардабай, такой, казалось бы, жалкий и забитый, пожаловался в город — осмелился пожаловаться — на всемогущего муфтия. Дочь Пардабая, девятилетняя девочка, умерла в брачную ночь, и призванный утром в ичкари святого отца доктор с возмущением констатировал этот факт.

Как же так? Воля всевышнего! Так суждено... Такова печальная судьба... Мнение доктора ошибочное... То, что у них в Тилляуской волости отныне народ лечил ученый доктор из самого Петербурга, хорошее дело. Однако он никак не согласится с мнением доктора, что юная жена умерла по его, муфтия, вине. Во-первых, закон ислама воспрещает чужому мужчине касаться дел ичкари, во-вторых, возраст скон-

чавшейся жены соответствует священному писанию. И если жена не выдержала дозволенных ласк супруга, то все в воле аллаха.

Могуществом в Ахангаранской долине муфтий. Никто не может пойти против него. Пристав Сергей Карлович Мерлин, приехавший по жалобе Пардабая, разговаривал любезно и предупредительно. Он с аппетитом пообедал у доктора, восторгался отличным украинским борщом, разомлел от «смирновской»... В конфиденциальной беседе сказал доктору за закрытой дверью его скромного кабинета:

— Уходу заявлению Пардабая давать не будем. Да и ничего не получится. Пардабай — голь перекатная. Наплодил дюжину дочерей. Одной больше, одной меньше... А муфтий — сила. Сам его высокопревосходительство ему на приемах в Белом доме ру:у жмет, хэ-хэ! Подумаешь, святой отец перестарался. Ничего с ним не поделаешь. На нем весь Кураминский уезд держится. Закройте глаза, доктор. Зачем вам лечить всяких нищих?.. Такие пациенты, как господин муфтий, очень полезны. Через них, так сказать, можно достичь полного благополучия.

Девочку похоронили. Пристав уехал. Доктор со своей стороны написал на имя генерал-губернатора письмо. Но ответ так и не пришел.

Волостной и вида не подал, что знает про письмо. Был в разговорах сама любезность и предупредительность. Но постройка больницы пошла еще медленнее. Жителям Тилляу кто-то запретил наниматься на работу. Пришлых мардикеров из Буки и Аблыка стражники прогоняли со стройплощадки камчами.

Санитар Гасан под величайшим секретом рассказал Ивану Петровичу, что муфтий предупреждает всех желающих идти в амбулаторию лечиться: «Доктор замешивает лекарства на свином сале. Его лекарства порождают болезни. У него в руках — яд».

Первыми в кишлаке взбунтовались мамыши. Ишан им сказал, что сейчас-то глаза у их сыновей прозрели вроде, а потом закроются...

Доктора обвинили — пока заглазно, — что малярию придумал он, хотя все отлично знали, что целые селения в долине Ангренá вымирали от нее задолго до приезда доктора.

Прививка оспы вызвала вопли и вой. И только то, что доктор проявил твердость, предотвратило несчастье.

Даже пристав Мерлин встревожился и прискакал в Тилляу. Волостной тоже проявил беспокойство и предложил своих стражников.

— Чепуха! Не хочу верить. Медицину силой не насаждают! Не посмеет... — сказал Иван Петрович. Он осунулся, побледнел. Ему вдогонку из-за дувалов летели уве-

систые гальки и куски кирпича. Он уже слышал угрозы в адрес Ольги Алексеевны и своих сыновей.

— Вот видите,— говорил пристав,— здесь дикари. До города скачи — не доскачешь. Я категорически прошу...

— Бойтесь неприятностей, пристав?... А посмотрите на физиономии тилляусцев. Каждый третий — рябой. А сколько из-за ослы слепых! Дело я доведу до конца.

Первому он сделал прививку волоstonу правителю. Усадил в кресло, закатил рукав сорочки и...

— Вы смелый человек,— вдруг заговорил Кагарбек. Черное, почти негритянское лицо со сверкающими белками глаз вдруг стало добродушным.— Вы не боитесь? Наши мусульмане смиренные, но когда их заденешь... плохие, жестокие.

— Чепуха! Они забитые, беспомощные. Вы сказали бы господину муфтию, чтобы он не науськивал их, не запугивал.

— И все же,— пробормотал Мерлин,— даже в Москве... холерные бунты... так сказать... И врачи пострадали...

— Простите за сравнение,— резко сказал доктор,— но толпа хулиганствующих, что стая собак. Когда я ночью иду через кишлак домой, иной раз знаете, какая стая собак кинется!.. Вот-вот в клочья разорвут. Остановишься, подымеешь камешек и... даже можно не бросать. Стаи как не бывало. А попробуй, побег. Догонят. Порвут. Толпа — это коллективный трус. Нужна напористость. Да и напрасно, господин пристав, вы в седле тряслись сотню верст. Я с Гасаном прививку уже заканчиваю. Наука восторжествует!

— А как же женщины? Ведь они вам лицо не показывают, а тут руки до плеч. У них же посторонним даже кончиков пальцев не показывают.

— Ну мне Ольга Алексеевна помогает с нашей прислугой. Да женщины, как узнали, что прививка сохранит их лица чистыми, сами прибегают к нам домой. Разве кому-нибудь хочется стать рябой... даже под чачваном?

— Рябая красавица — разве красавица? — изрек Кагарбек.

## XV

Каждый, кто не знает,  
что он ничего не знает,  
Навеки остается вдвойне невеждой.  
А тот, кто знает, что он ничего не  
знает,

Все же заставит своего дохлого  
осла дойти до цели.

Хосров Деклави

В тилляуской жизни было много и горького и утешительного. Газеты приходили в Тилляу с месячным обновлением,

журналы, такие как «Вестник Европы» или французский «Иллюстрацион», — с полугодовым. Развлечения сводились к редким приглашениям на свадебные тои. Дома Ольга Алексеевна пела, аккомпанируя себе на рояле, к счастью, не очень расстроенном. Путешествие за четыре тысячи верст из Варшавы до Тилляу великолепный, черного дерева инструмент фирмы «Беккер» выдержал блестяще. Утешением были и привезенные книги — восемь больших ящиков.

Доктору скучать не давали пациенты. Быстро завоеванная слава умелого хакима-доктора влекла в скромную амбулаторию больных за сотни верст, даже из таких далеких мест, как Чуст или Алмас, лежавших за горными перевалами в Ферганской долине.

Особенно часто к Ивану-дохтуру обращались, кроме глазных больных, пациенты, страдающие «сартской язвой» — так она называлась тогда в медицинской литературе.

Язва эта «садилась», как говорили тогда, — на лицо, на руки, ноги. Язва не поддавалась лечению. Омертвевшая ткань плохо срасталась, образуя страшные, гнойные рубцы. Только табибы-знахари умели лечить язву. Правда, лечение было длительным, но в результате некоторые больные все же исцелялись. Знахари-табибы сохраняли секрет своего лечения. Даже дряхлый табиб Ташмухаммед-ага, стамбулец, которому Иван-дохтур снял катаракту и вернул свет, и тот счел, видимо, слишком большой благодарностью выдать секрет.

— Ничего, болезнь не смертельная. Зато мне, табибу, дадут деньги на хлеб. А у тебя, Иван-дохтур, вон какая слава! Скоро хазратом сделаешься. Если я скажу свой секрет, ты всех вылечишь. Кто ко мне придет? С глазами к тебе идут. С животом — к тебе. С чахоткой — к тебе. Всех вылечишь, всех вылечиваешь. Оставь мне, старику, тех, кого бог наказал язвой. Я их молитвой лечу.

Лечил он, конечно, не молитвой.

Иван-дохтур нервничал. Очень многие являлись «по поводу сартской язвы». И, увы, Иван-табиб почти ничем не мог им помочь.

Однажды, после годичного отсутствия, появился Мерген. Он оказывается, скитался по перевалам, упал в пропасть, повредил ногу. Гноящаяся язва захватила ногу от лодыжки до колена. Она испускала тяжелый запах и разъела мышцы почти до кости. Края раны омертвели. Больному грозила гангрена, ампутация ноги.

Более тщательный осмотр только усилил опасения. Надо было лечить. А чем? Больной смотрел на доктора преданными глазами. Сагдулла Мерген понимал свое положение и категорически требовал:

— Лечите! Не вылечите, здесь и умру.

Приходилось думать. Он все думал. Думал, выдавая хи-

рии дехканам, думал, делая трудную ампутацию; за операционным столом, думал за обедом, за чаем, гуляя с сыновьями. Думал за письменным столом, перелистывая медицинские книги и журналы. Но так и лег спать, ничего не придумав. Под утро проснулся. Его мозг озарила мысль.

Ведь каждый день к нему приходили больные с застарелыми фурункулами и карбункулами. И обычно он ставил им пластыри из шпанской мушки.

Доктор вскочил с постели. Да, да, шпанская мушка «оживляет» нарывы, вернее мышечную ткань! Шпанская мушка должна оживить и язву! В ней главной бедой является омертвление тканей.

— Эврика! Средство найдено!

Забыв про завтрак, доктор чуть ли не бегом бросился в больницу.

Мерген лежал слабый, истощенный. Ежедневно ногу промывали по два раза. Но улучшения не наблюдалось. При виде доктора Мерген лишь вздохнул: «Йио худо!»— и отвел глаза в сторону.

Он видел, что его лечат, но понимал, что дела его плохи. Соседи по койке его пугали: «Ногу отрежут». А что он будет делать в горах без ноги? И он даже не посмотрел, что делает доктор на сей раз.

А Иван Петрович, очень волнуясь, готовился к процедуре. Приготовил пластырь, тщательно наложил на омертвевшие края язвы. Больной оставался безучастным: не промолвил ни слова, не застонал. Когда доктор пошел к двери, Мерген спросил:

— Лечишь?

— Лечу.

— Хорошо?

— Хорошо.

Дома Иван Петрович старался не выдавать волнения. Если опыт не удастся, прощай надежда на выздоровление. Пропадет человек. И прости все надежды,— значит, сартская язва неизлечима.

Вечер тянулся мучительно медленно. Тысячу раз доктор перебирал доводы в пользу нового метода лечения и тысячу раз тут же опровергал их. Пришло время сна. Но уснуть не удавалось. Всю ночь он проворочался в постели.

И лишь под утро уснул. А во сне сартская язва расцвела на блестящем скальпеле среди шпанской мушки отталкивающей розой.

Чуть забрезжил рассвет, а доктор уже встал. Часы показывали пять. Идти в больницу? Рано. Доктор сам ввел строгие порядки и не разрешал раньше семи беспокоить больных. Да и пластырь вряд ли еще мог оказать полное свое действие.

Ивану Петровичу оставалось думать и рассказывать по кабинету. Он поглядывал на часы. Время тянулось тоскливо: полшестого, шесть, полседьмого.

Заржала лошадь Гасана. Половина восьмого.

Из детской басом закричал Миша. Ему вторил Алеша, недовольный тем, что его разбудили.

Поднялась Ольга Алексеевна. В кухне загремела посудой Гульбика. Заскрипели ворота — Гасан на своей лошади поехал на базар.

Восемь часов!

Вспомнился сон. Нелепица какая-то. Снова перед глазами заколыхалась на блестящем стебельке отталкивающая язва, выросшая из шпанской мушки.

— Завтрак на столе!

Наконец-то. Разговоры с женой, щебет ребят отвлекли немного Ивана Петровича, но есть не хотелось.

Доктор решительно сорвал с груди салфетку и ушел в кабинет. Нарочито медленно собирался. Но все приготовлено с вечера и «воленс-не воленс» надо идти.

И он медленно выходит из дому, но, сам того не замечая, ускоряет шаг, а в больницу врывается почти бегом. Там уже его ждет важный непроницаемый Матвейч — фельдшер. Он помогает надеть белый халат, и они вдвоем начинают обход.

Доктор педантичен и строг. Он невозмутимо проходит мимо двери с цифрой «2». Там, в палате номер два, лежит горец со своей язвой. Сначала палата номер один. Сегодня доктор особенно долго осматривает здесь больных, расспрашивает их, уточняет что-то для себя.

И вот вторая палата. В два шага доктор у койки больного... Быстро и решительно снимает пластырь. И видит: язва приобрела иной вид. Края ее поджили. Гной не выступил. И рана стала чуть-чуть меньше. Безумная радость охватывает доктора. Теперь он знает! Открытие! Теперь ему не придется больше выписывать несчастных из больницы. Доктору хочется обнять и расцеловать и шпанскую мушку, и язву, и больного, и фельдшера, и...

— А это кто такой? Посторонним вход не разрешается.

— Прошу прощения, Иван Петрович, они сродственник больного, — смущается фельдшер.

У койки с больным важно сидит на полу по-мусульмански весьма почтенный слепец в верблюьем халате и белой чалме с подоткнутым концом, значит, «они» — человек грамотный.

«Они» кряхтя поднимаются и делают почтительный поклон.

— Разрешите, Иван-дохтур. Мы муфтий.

— Нет, не разрешу. А вам, Фома Матвеевич, ставлю на вид.

Фельдшер еще больше конфузится. У него рыльце явно в пушку: нарушил строжайший порядок больницы не иначе как за приличную мзду.

После обхода больных доктор вынужден беседовать с муфтием. Это домулла — ученый человек. К тому же табиб-знахарь и чуть ли не святой, ибо является хранителем Тешикташского мазара.

Всяких там знахарей, а тем более «святых» Иван-дохтур просто не переносит. Они мешают ему лечить людей. И хотя доктор счастлив своим открытием и настроением у него прекрасное, говорит он резко:

— Я попрошу вас покинуть палату!

Но знахарь, в свою очередь, выражает недовольство тем, что Мерген лечится в тилляуской больнице.

— Почему?

— В больнице нет врача-мусульманина!

— Что из того?

— Я посылал Мергена в Коканд. Там есть врач мусульманин, который учился в медресе в Стамбуле, городе исламского халифа.

— И долго лечился Мерген у стамбульского врача?

— Четыре месяца и десять дней.

— И не вылечился?

— Аллах акбар! Мерген беспутный! Уехал из Коканда. Не захотел продолжить лечение. Говорит — молитвы и нашептывания не помогли, порошки не помогли. Беспутный он!

— А знаете, медресе — не школа для ума. Медресе — дом призрения, где держат юношей якобы ради знания. На самом деле в медресе забивают головы схоластическим мусором.

— Мерген болтает непотребное. Он возводит хулу на бога. Медресе — священный дом знаний! Я прокляну Мергена!

— Вот-вот, студенты медресе больше проклинают именем аллаха, чем занимаются изучением богословия и других наук. Не удивительно, что ваш Мерген научился богохульствовать. Он от медресинского лечения, честное слово, едва не остался без ноги!

— А вы его вылечите?

— Вылечу! И хоть я не учился в медресе, я верну ему здоровье.

Муфтий хотел еще что-то сказать, но встал, поклонился и, нащупывая концом посоха дорогу, вышел.

Несколько раздраженный, но торжествующий доктор возвращается в палату номер два и собственноручно ставит на рану новый пластырь. Он тут же забывает, что разговаривал с муфтием резким тоном. А ведь табиб-муфтий — могущественный, в Тилляу, во всей горной стране человек. Лучше бы не портить с ним отношений.

## XVI

Здоровы ли приехали? Не прорвались ли ваши вьюки? Не побили ли вы ноги о камни? Ведь такая трудная дорога!

Приветствие горцев

Цену коню знает всадник, поездив на нем верхом. Цену кишлаку Тилляу семейство доктора познало, поселившись в нем.

С точки зрения мировых масштабов, селение Тилляу ничего не стоило — пылинка. С точки зрения администрации Сырдарьинской области, Тилляу — волостной центр и базар — занимало важное, чуть ли не первостепенное место. И при всем том это был захудалый, захолустный кишлак, населенный очень бедными, больными людьми.

Кругом зеленели рисовые поля — источник богатства тилляуских баев и рассадник малярии. По предгорьям поднимались фруктовые сады, а по неорошенным склонам буйствовала полынь и верблюжья колючка. Главную улицу кишлака постоянно на версту заливала вода, потому что это был просто неглубокий рукав реки Ангрен. Через него жители перебросили шаткий мостик. Тут же предприимчивый муфтий, глава ахангаранского духовенства, возвел примитивную мельницу и крупорушку, по сути представляющие чуть ли не всю промышленность столицы волости.

Улица полого поднималась на косогор к базару, так именовалась небольшая площадка, пыльная, грязная, прикрытая навесом из растрепанных временем и горными ветрами чий и камыша. Над базаром, на горке, белел сложенный из кирпича дом волостного правления — единственное в Тилляу строение с окнами и дверями, со столами и венскими стульями.

Отсюда открывался прекрасный вид на Канджигалинские горы, живописные, громадные, особенно красивые в лучах восходящего солнца. На могучих скалах поблескивали прослойки слюды и зеленели заросли кустарника. Там, на хребте, в урочище Токал, у самого гребня, жил Сагдулла Мерген, лесной объездчик, и зоркие тилляусцы уверяли, что в хорошую погоду можно разглядеть ущелье и даже каменную хижину среди арчовых зарослей. Станный и таинственный Мерген пользовался славой человека сурового, беспощадного. Его именем пугали капризных детей, и, так как маленькие Алеша и Миша не отличались покладистым нравом, Ольга Алексеевна частенько говорила: «А вот с горы Мерген смотри!»

На самом деле Мерген не был ни волшебником, ни злодеем. Он честно охранял редкий и чаклый лес. Ни один по-



рубщик-дровосек или угольщик не мог срубить ни одной арчи без того, чтобы не заплатить штраф.

Еще дальше, за перевалом, стояла сложенная в пять слоев пахсы курганча — замок Сахиба. Изредка он приезжал на базар Тилляу продать сотню-другую баранов. Закончив торговую операцию, Сахиб шел в чайхану, аккуратно складывал свою киргизскую войлочную шляпу, клал ее на кошму и выпивал с десяток чайников чаю.

По большей части он молчал. Безмолствовали и завсегда чайханы, почтительнейше взирая на бая, богача, миллионщика, по их представлениям.

Сто баранов! Продал баранов, положил выручку в сирийскую кожаную сумку изящного тиснения и пьет как ни в чем не бывало чай!

Вот он поднимается, взваливается на своего широкогрудого конька иноходца и уезжает, так ничего и не сказав.

И все в чайхане прерывают чаепитие и смотрят, как по белой вьющейся по горе ленте дороги мухой ползет всадник. И все вздыхают: у всадника за пазухой полно шуршащих, хрустящих ассигнаций.

Ох, Сахиб просто начинен деньгами, как пирожки самсы начинены луком и бараниной! Выпил десять чайников чаю — может же себе позволить богатый такую роскошь! — сел и уснул. Счастливец! Баловень судьбы!

«Котел узнают на огне — мужчину на словах». Слов Сахиб не произносил, но «говорящего мало уважают больше». Молчаливого скотовода уважали за сдержанность языка.

Уважали в Тилляу и лесного объездчика — Мергена. И не только за то, что он тоже умел красноречиво молчать, сидя в чайхане и в одиночестве распивая свой единственный чайник чая за три копейки. Уважали Мергена потому, что боялись. Лучше в горах ему в руки не попадайся. Рука у него тяжелая.

Довольство — худший враг радости.  
Роскошь чревата смертью.

Не питал Мерген ни малейшего уважения к волостному. Открыто выражал свою ненависть к нему.

И не боялся.

Волостной управитель для Ахангаранской долины был, примерно, тем, кем являлся генерал-губернатор для Туркестанского края. Волостной управлял и царствовал.

Волостной — слон, лесной объездчик — муравей. Муравей безнаказанно кусал слона. Было чему удивляться завсегда таям чайханы.

Чай существует для спайки речи и соединения рассыпающихся слов. Чай вили в чайхане и скотовод, и лесной объездчик.

Они были соседями. Оба жили у самого неба в горах. Когда в чайхане появлялся волостной, пышный, разодетый в золото и шелк фазан, и усаживался на почетном месте, обязательно находился почтительнейший ляганбардор или хушомадгуй, то есть, попросту подхалим, и начинал ворковать:

— Сегодня Сахиб продал сто баранов.

— Очень хорошо,— благодушествовал волостной. Но почему-то слова с трудом сдавленно вырывались из горла.

— Сахиб уплатил сбор за сто баранов сполна.

— Укороти язык! Взял бы ведро и полил улицу. Вон после копыт коня Сахиба пыль до сих пор колом стоит.

— Мерген опять плохое слово сказал о почтенных людях.

— Укороти язык! А Мерген что? Обыкновенный раб более свободен, чем раб своей глотки... Мерген влез в один кавуш двумя ногами.

Волостной злился, багровел, но ничего не предпринимал.

Нет, не все было тихо и спокойно в кишлаке Тилляу. Не иначе, кое-кто объелся мяса ежа...

## XVII

Увы! Долго ли это тело проживет на земле, отверженное, бесполезное, словно чурбан?

Д ж а м м а' п а д а

Знание — мозг кости.

Кость без мозга — ничего.

А л Ф а р а б и

Слава создается иногда удивительным образом.

В кишлаке Тилляу приходилось лечить самых различных больных: ни у кого не возникало мысли, что доктор Иван Петрович имеет узкую специальность, что он окулист. Раз Иван, дохтур-волшебник, возвращает слепым зрение, делает безнадежно, казалось бы, слепых зрячими, то уж, во всяком случае, он может — и должен — исцелять от любой болезни.

В лечебницу пришло несколько женщин, крайне озабоченных. Они даже не прятали лица за полами наброшенных на голову камзолов. Они дружно бормотали что-то, они выпихнули вперед молоденькую, испуганно тарашившую глаза девушку.

Выяснилось, что у девушки с поэтическим именем Юлдуз — Звезда, по меньшей мере странный недуг, не описанный ни в одном медицинском пособии.

Иван Петрович решил сделать сложную операцию — отъединить скальпелем мышцы правой руки, приросшей от рождения плечевым суставом к тканям грудной клетки.

«Здоровая, красивая девушка обречена была на жизнь калеки, полную несчастий и горя,— не без самодовольства говаривал потом доктор.— Природа сыграла с нею злую шутку. Обрела ни в чем не повинное существо на прозябание. И вот медикус становится художником, ваятелем... Пигмалионом. Берет в руки резец, то есть скальпель и несколькими взмахами... воссоздает красоту, достойную античной Галатеи... нет, скорее, Дианы, так прекрасно она, Юлдуз, сложена».

Необычная операция прошла успешно и без осложнений. А ведь в тилляуской больнице из антисептических препаратов не имелось ничего, кроме настойки йода. О наркозе тогда и думать не приходилось.

Во время операции вопили и рыдали ее мать, тетушки и бабушки, изгнанные за двери операционной палаты. Девушка не издала ни звука. Эти тетушки устроили такой гвалт, что к зданию амбулатории сбежалась толпа кишлачных женщин. Вели они себя беспокойно и даже угрожающе.

Какая-то из кумушек, приведших Юлдуз, обиделась, что ей не разрешили присутствовать в операционной, и пустила слух: «Доктор зарезал девушку вот таким ножом!»

Гасану стоило немалых усилий, чтобы восстановить у дверей порядок. Но он был настолько важен в своем кипенно-белом, отлично накрахмаленном санитарном халате и в белой профессорской шапочке с красным крестом, что даже самые отчаянные женщины вынуждены были ретироваться.

Единственным ассистентом доктора была Ольга Алексеевна, а в сестрах милосердия состояла нянька Гульбика, которая при виде первых же капель крови упала в обморок, и Иван Петрович из-под марлевой маски глухим голосом упрашивал супругу: «Оля, да помоги ей, убери ее, пожалуйста!».

Операция была не такая уж серьезная или опасная, но потрясла всех в кишлаке. Весть о том, что Иван-дохтур «прирастил руку», распространилась традиционным «узункулаком»—«длинным ухом»—мгновенно в горах и долинах по всему Ахангарану. Чудесное исцеление Юлдуз сделалось главной темой всех «миш-миш»—сплетен на женских полонинах. Да и не только на женских!

На прекрасную Юлдуз приезжали поглядеть, водрузившись на ишаков, верблюдов, лошадей, под предлогом поездки к родственникам, и самые почтенные девяностолетние кампыр и молоденькие супруги горных биев из Тяньшаньских джайляу, из виноградного Ходжента, из Ташкента за полтораста, триста верст. Ехали и любопытствующие почтенные баи и даже ишаны. Поистине событие, подобного которому не было от сотворения мира.

Ну, а так как «по случившемуся поводу» отец Юлдуз, беспросветный бедняк сучи Пардабай, надел на нее чачван, то любовннцствующим показывали из-под халата и волея-

ной конской сетки-чиммата только девичью прелестную руку.

После этого дехкане, кто не верил невероятному расказу, покачивали головами и, преисполненные почтения, бормотали: «Истинно великий доктор! Сделал такую прекрасную руку бедной калек!»

По-своему, весьма неожиданно на удачную медицинскую операцию реагировал волостной правитель Кагарбек.

Прибыл он пышной свитой, в своем золотом халате. Спешил возле лечебницы и пожелал лицезреть исцеленную. Когда доктор его не пустил к больной — волостной приехал на второй день после операции, — Кагарбек расшумелся и заявил, что ему «дозволено», ибо он уже заслал в дом Пардабая сватов.

Вторичный отказ доктора он расценил, как неслыханное оскорбление. Тут и выяснилось только, что лесной объездчик Мерген тоже оказался глубоко заинтересованным судьбой Юлдуз.

Он повел себя весьма самостоятельно и, по мнению заведывающего кишлачной чайханы, даже нагло: не считавшись с волостным и его сватовством, прискакал в Тилляу на своем карабаре. На коне, покрытом поверх попоны шелковым сюзане, было еще столько украшений из бирюзы, что рябило в глазах.

Сам Мерген, разряженный, преподнес доктору ферганский атласный халат и камчу с инкрустированной серебром рукояткой. Но говорил он что-то не совсем понятное.

— Мы ничего не знали. Мы не допустили бы резать тело девушки. Не дозволено! Узнай мы в тот день, не сносить бы тебе, хаким-доктор, головы... Но дело сделано. Аллах милостив к тебе. Аллах акбар! Ныне надлежит исправить содеянное.

— Чего же исправлять? — пожал плечами доктор. — Рука Юлдуз теперь на своем законном месте. Функции движения пальцев восстанавливаются, да они и не нарушались полностью. А через полгода и следов операции не останется. Организм молодой, здоровый... Пусть девочка живет и радуется жизни. А свой халат и эту, как ее, камчу, заберите, Мерген. Я за свою работу получаю казенное содержание.

Что доктор — бессребреник, лесной объездчик Мерген знал и про себя называл за это Ивана Петровича «диваной».

Но чтобы урус отказался от почетного халата! Невозможно! И он просто сложил подарки на стоящую у стены тахту, а сам пошел к дверям. У дверей остановился, повернул свое красновато-коричневое лицо, жизнерадостное, энергичное, выражением своим полностью противоречившее тому, что он только что так сурово говорил... И выпалил:

— Хорошо! Бери еел!

— Это еще что?— поразился доктор.

В кишлаке Тилляу он прожил уже не мало времени и пора было, казалось, привыкнуть к обычаям, по которым женщина являлась предметом торга и всяческих сделок. И все же, как понять поведение Мергена, человека умного и честного?

— Теперь все равно!— твердо заявил лесной объездчик.— Девушка из бедной, но честной семьи батрака Пардабая. Он растил дочь, кормил, одевал столько лет... Зачем растят дочерей? Чтобы получить за них калым, когда девочки вырастают и созревают для брака. Сам понимаешь, кто теперь даст калым за девушку, после того, как посторонний мужчина видел ее тело без покровов. Теперь на ней стыд. Батрак Пардабай плюется: «Она опозорена. Все говорят об этом. Но позор можно снять. Пусть доктор заплатит хоть самую малость и уведет с моего двора Юлдуз».

И тут выяснилось, почему лесной объездчик занялся столь необычным делом — выступил посредником (иначе это не назовешь) в деле несчастной Юлдуз.

Оказывается, Мерген первым высватал Юлдуз у Пардабая. Он давно обратил внимание на несчастную маленькую калеку. Он видел, что ей, заморышу, нет жизни в семье, где было семеро детей... Она была лишним ртом.

Мерген пожалел эту девочку с такими печальными, полными безысходного горя глазенками. Необыкновенной души человек, добрый и великодушный, он не нашел другого способа, чтобы помочь несчастному человеческому детенышу, так ужасно обиженному природой, как уговориться с Пардабаем и заплатить ему калым, а впоследствии забрать к себе Юлдуз.

Мерген уже имел жену, и семья его росла. Ну и что же! И для Юлдуз найдется кусок лепешки и местечко на кошке у очага в его хижине — Горном убежище. А Пардабай и избавится от лишнего рта, и дела свои поправит на те, не такие уж большие деньги, которые Мерген начал выплачивать тотчас после сговора в присутствии господина муфтия, и договора, скрепленного подписями и заверенного приложением печати.

Девочка до поры осталась жить в своей семье. Но положение ее сказочно изменилось. Отец и мать теперь смотрели на нее, как на курицу, несущую не золотые яйца, а — что совсем неплохо — серебряные рубли.

Словом, сватовство владельца горной заимки открывало дорогу в жизнь бедной калеке, быть может, не в меньшей мере, чем последовавшая за этим поразительная операция. Случившееся потрясло Мергена.

Теперь, когда Юлдуз не калека, она вполне достойна более счастливой участи!

А потом — ведь именно доктор превратил Юлдуз из урода в человека. И девушка по справедливости должна быть даром мудрому и великому хакиму. Ничем более она не могла заплатить за свое излечение. Ведь, кроме одежды, что на девочке, да бус из урюковых косточек на шейке, у нее ничего не было из собственного имущества. Аллах акбар! Даже пары одеял и одного ястука не мог Пардабай дать в виде «мехра», приданого за своей дочерью, согласно обычаям гор.

И кроме того, существовало еще одно обстоятельство. Жена Мергена из кишлака Алтын-Топкан, что по дороге в Ходжент, вышла замуж за него по любви — что не так уж часто случалось в те времена — и взяла с Мергена слово, что второй жены никогда не будет. К тому же, она исправно рожала ему сыновей и имела решающий голос в Горном убежище. Одно дело, если бы он, Мерген, привез туда жалкую калеку, заморыша, другое — красивую девушку.

А теперь, после операции, Юлдуз превратилась в стройную красавицу. И Мерген, обхватив руками голову, со страхом думал, что произойдет, если прекрасная пери переступит порог его жилища...

И вполне серьезно Мерген решил сосватать Юлдуз за доктора.

Такой поворот событий был для доктора поразительнее, чем сама операция. Пряча улыбку под усы, он принялся разъяснять Мергену:

— Нет спору, Пардабай достойный отец достойной дочери. Но никакого стыда или позора на девушке Юлдуз нет! Даже в древних хадисах записано: уважаемому врачу древности Лукману-хакиму дозволялось переступить порог гарема самого халифа Гаруна-аль-Рашида и лечить от болезни его жен. А тебе известно, что за один мимолетный взгляд на красоту супруг халифа любому мужчине отсекали голову. Но Лукман-хаким являлся врачом, и, значит, врачам дозволено. Таким образом, нет никакого стыда и позора на девочке, на дочке почтенного Пардабая.

Доводы Ивана-хакима, казалось, возымели действие, но ненадолго.

Мерген поднял голову и воскликнул:

— Мудр был Лукман-хаким! Молодец и ты, Иван-хаким! Значит, берешь? Юлдуз — наша горная девушка, честная девушка, красивая! Она будет хорошей женой!

— Честное слово, ты чудак, Мерген! Ты забыл — я женат!

— Очень хорошо! Юлдуз будет второй женой! всю работу по дому будет делать. Лола-атын знай себе сиди, сложа свои белые руки, и приказывай: «Юлдуз — сюда! Юлдуз — туда!»

— Нет, не будет Юлдуз ни второй, ни третьей женой! Я

не мусульманин. Ты знаешь: наш закон запрещает многоженство.

— Скажи: «Нет бога, кроме бога, и Мухаммед — его пророк...» И вот ты такой же мусульманин, как и я, Мерген! И хороший мусульманин... Таких мало.

— Нет!

— Обижаеть меня. Халат не берешь! Камчу не берешь! Девушку Юлдуз не берешь! Или она некрасива? Или она осталась кособокой? Ты сам приделал ей руку! Почему не берешь?

Тогда, сдерживая улыбку, чтобы не обидеть Мергена, доктор подошел к двери и позвал:

— Оля! — и когда жена вошла, ведя за руки сыновей Мергена, Касыма и Баба-Калана, продолжал: — Вот наш почтенный друг возымел мысль — Пардабая, папашу нашей пациентки, той, что с рукой, сделать моим тестем.

— Не понимаю Пардабая? Тестем?

— Да, друг нашего семейства, любезный Мерген предлагает мне руку и сердце девушки Юлдуз, ту самую руку, которую я, видимо, на свою голову, высвободил своими остро-режущими медицинскими инструментами... Парадоксально! Со времен рождения медицинского искусства, я думаю, ни один врач не получал гонорара за свое искусство живой цветущей невестой. Пытался я ему растолковать, что так не годится, не помогло. Разъясни теперь ты нашему другу, что я нахожусь в законном браке. И что, если я отказываюсь от столь высокой чести, то из самых благородных побуждений. Ты воспитываешь его сыновей Баба-Калана и Касыма и, надеюсь, будешь более авторитетна.

Увидев своих сыновей, Мерген забыл о неприятном разговоре, привлек к себе мальчиков, повел их, извинившись перед доктором, во двор к своему коню — покатать их.

После обеда Мерген попытался продолжать сватовство. Он не желал внимать доводам разума и уехал убежденный и недовольный. Впрочем, он все же пришел к заключению:

— Посмотрим! Ничего! Зато девушка здорова.

После его отъезда супруги обсуждали происшедшее.

— Нелепый он человек! — решила Лола-атын. — Нелепый, но... хороший.

— Не просто хороший. Он с красивой душой, — задумчиво проговорил доктор. — Не кажется ли тебе, что Мерген заинтересован больше, чем говорит на словах. Обычай у них — отдай другу самое дорогое, самое любимое. И девушка Юлдуз, очевидно, затронула самые нежные струны в его сердце. А вообще, даже в шутку, это сватовство... Выкинь его, пожалуйста, из головы. И Юлдуз тоже...

## XVIII

Скверное не делается хорошим,  
словно бы его ни почитали.

А х и н а р

Счастье превращает глину в золото.

Возможно, потому, что Ольга Алексеевна была счастлива, она не замечала ни зноя, ни пыли, ни грязи, ни тысяч неудобств жизни.

Из России, из Полоцка, Ольга Алексеевна привезла специально найденную, прожелтевшую книжечку, неведомо где изданную, неведомо каким ориенталистом переведенную: «Амин-и-Бухари. Лирические и философские стихи».

Ольга Алексеевна читала их и перечитывала. В них, в этих набранных старинными литеррами строфах, сквозила странная, иногда непонятная мысль, но она впечатляла, легко запоминалась. Ольга Алексеевна часто после душевного, хлопотного дня придвигала вечером книжечку в круг желтоватого света от керосиновой лампы и, стряхивая со страниц бесчисленных мошек и жучков, залетавших на огонек, читала вслух:

Рок имеет на руке пять пальцев.

Он накладывает два пальца на оба глаза,

Два вкладывает в уши,

Одним же запирает рот: «Молчи!»

Самое удивительное, что стихи переведены не в стихотворном размере и все же звучат проникновенно.

И на все вопросы Ольга Алексеевна отвечала: «Все в Азии прекрасно!»

Так она говорила даже осенью, когда возникали новые заботы и лишения.

Осень... Деревья облетели. Листья лежат на земле, побуревшие, покрытые слоем пыли. Нет уже золотого ковра под ногами, и нет золота на деревьях: уныло, серо, пыльно.

На тусклом небе тусклое солнце с каким-то ожесточением печет сухую землю. Тоскливо.

А скоро зима, дожди, слякоть, бездорожье. Почти прекратится сообщение с Ташкентом, последняя ниточка оборвется... И еще тоскливее на душе. Хоть закрывай глаза, зажимай уши и «запечатывай губы пальцем судьбы».

Но нельзя. Надо видеть и слышать только хорошее, надо говорить только хорошее. Надо поддерживать настроение мужа. У него и так много всяких неприятностей и осложнений. А ведь он тоже счастлив своей работой, своей семьей, своей любовью. А счастье превращает глину в золото.

Но сколько этой глины на каждом шагу. Сейчас еще сухо



и потому полно пыли — на улице, на базаре, в комнатах, в чашках.

Вооружившись тряпкой и шаброй, Ольга Алексеевна пыталась вырваться сама и вырвать семью из этой пыли. Молодая женщина, привыкшая к стерильной чистоте и опрятности, металась. Но везде, на каждом шагу, сталкивалась с пылью. Никакая уборка не помогала.

Уборка... Тоска. Пройтись, что ли?

И семья уходит из кишлака в долину, к протокам реки.

Впереди Ольга, Алексеевна со старшим Алешей. Поотстав, шагают доктор с Мишей и Касымом. Люцерновое поле еще сопротивляется зною и пыли — зеленеет. Камыш встает зеленой стеной. Есть на чем отдохнуть взгляду. Но рис уже убран, и поля близ кишлака посередели. Но дальше долина вся в изумрудном и голубоватом свете, радующем глаз.

Из комьев земли выползает на солнце чудовище — настоящий допотопный ящер!

— Крокодил! — торжествует Алеша.

До крокодила ящеру далеко, но, когда Ольга Алексеевна пытается отогнать его зонтиком, он вдруг растопыривается весь, поднимает угрожающе покрытый роговыми зубьями хвост и шипит очень грозно.

Зубами ящерица вцепилась в кончик зонтика и с силой тянет к себе. Мальчики в восторге. Они визжат. Ящерица тянет зонтик к себе, Ольга Алексеевна — к себе. Вмешивается сам доктор. Он посмеивается и отгоняет ящера.

— Варан! — восклицает он. — Страховиден, но не кусается.

Мальчики требуют поймать варана: «Будем его кормить кашей. Такой умный!»

Долго не может прийти в себя ханум-доктор. Ящерица пребольшущая, длиной в руку, угрожающе шипит, словно змей Адждар Султан.

Миша разочарован:

— Варан маленький и одна голова.

В сказке о трех богатырях, которую рассказывает няня Гульбика на сон грядущий, Адждар Султан совсем как Змей Горыныч. Трехголов и велик.

— Маленький! И огня изо рта нет.

Миша недоволен.

Родители не позволяют детям ворошить комья глины и искать Адждар Султана. А вдруг там настоящая змея? Подул ветер, поднялась пыль, из-за Канджигалы вознеслась к зениту черная туча. Надо спешить домой.

Вечером пошел дождь. Да проливной! Разверзлись хляби небесные после восьмимесячной суши.

И сразу все стало мокро и тоскливо — в тысячу раз тоскливее, чем было вчера.

Семья оказалась в плену слякоти и грязи. Земля во дворе разбухла, улочки кишлака превратились в грязные потоки. Носа не высунешь наружу. А потом как ходить, когда ноги вязнут по щиколотку в желтой липкой жиже.

## XIX

Каким бы ветхим ни было одеяние,  
оно годится от дождя.

Д ж а м и

И вдруг еще новость.

Кап, кап, кап... Капает с ярко расписного потолка мехмонханы. Болоры расцвечены самыми тонкими узорами. Не краски и хитроумный орнамент скрыли прошлогодние подтеки. И кто бы мог подумать, что крыша дома — настоящее решето. Возможно, хозяин мехмонханы знал об этом, возможно, он позаботился бы о такой «мелочи» с осени, если бы жил здесь сам. Но факт налицо: с потолка капает. Подставляется таз — звон капель усиливается. Подставляется корыто — в мехмонхане сплошной угрожающий звон.

Сразу сырость вползает с улицы. Брызги летят во все стороны. В большой мехмонхане идет дождь. Местами струйки непрерывными ниточками льются на кошмы, паласы. Тазы, ведра, посуда не помогают. На полу лужи, запах прелой, мокрой шерсти. Рояль накрывают брезентом. Мебель приходится вынести под айван. Удивительно, там не капает.

На дворе дождь редет, кончается, а в мехмонхане продолжается. Во дворе, на айване — настоящий лагерь «сибирских переселенцев»: мебель, ящики, чемоданы, ковер, узлы, а на узлах пригорюнившись сидят мальчики. Пригорюнились они потому, что их загнали под крышу — не позволяя бегать под дождем, топтать по лужам. С гор к тому же дует пронизывающий ветер. Просто беда.

В воротах появляется мокрая конская морда с удивленными глазами, а затем и вся лошадь. На ней волостной, сам Кагарбек. Мокрый, как курица, вытщенная из хауза. Потемнел золотой халат. Мокрая чалма, мокрая борода.

Батюшки светы! Сколько на нем халатов! Халаты зимние на вате, толстые и тоже мокрые, а сверху — парчовый. Он торчит на спине колом, переливается тысячами дождевых капель. Набух до того, что сними его Кагарбек, халат встанет на землю и будет стоять без своего хозяина. Но Кагарбек не может снять с себя своего парчового золотого одеяния — оно признак высокой должности и могущества.

Во-первых, нельзя — он прибыл с официальным делом, во-вторых, от дождевой влаги господин волостной весь отяжелел и стал похож на монумент Александру III, что стоит на Николаевской площади в Санкт-Петербурге.

Вторгшаяся через ворота во двор грязная мокрая свига окружает его: снимают с коня, несут к айвану на руках. Снимают намокшую чалму — это тоже атрибут власти, и надевают на бритый череп, удивительно гладкий и круглый, великолепный каракулевым треух — целую башню из дорогих смушек — и под руки ведут к мехмонхане.

По случаю неожиданного события обмен приветствиями между Кагарбеком и доктором весьма сокращается. Доктор сердит, волостной расстроен.

Ведь обеспечение волостного врача квартирой и удобствами входит в служебный мехмончилик, и Кагарбеку вовсе не хочется заслужить в представлении генерал-губернатора Туркестанского края репутацию нерадивого.

Едва шевелясь под тяжестью халатов, Кагарбек слабым голосом отдает приказания. Его снова ведут к коню.

Но тут он преображается с молниеносной быстротой. Он отталкивает своих слуг, обретает живость и подвижность и, шлепая по лужам, стремится к айвану. Как он только умудряется отвешивать «куллюки» один почтительнее другого? А лицо его превращается в смесь сахара, халвы и розового масла.

Волостной узрел Лолу-атын. Кагарбек равнодушен к женской красоте. Кагарбек, говорят, уже слагает газели в честь доктор-ханум.

Но ханум очень нелюбезна.

Отнюдь не голосом пери она отчитывает господина волостного. И он пятится неуклюжим золотым кулем к своему коню.

Кагарбек расстроен. Он понимает свою вину и бормочет: — Бандэам! Я раб ваш!

Он наделяет мальчиков госпожи докторши «москавли конфут» — московскими конфетами. Алеша и Миша кричат «салам алейкум! Рахмат сизга!» Они в восторге и от «золотого истукана», и от коня, всего в серебряной сбруе, и от гостинцев.

Токая по лужам в фонтане брызг и грязи, с воплями торжества провожают волостного на улицу, не слушая сердитых окриков ханум-докторши.

Но прежде чем удалиться, едва двигаясь в броне своих бесчисленных одежд, Кагарбек встречает людей. Двор заполняется служащими волостного управления, соседями, базарчанами. Все бегут. Несут шесты, ведра, лестницы. «Содом и Гоморра».

— Боже мой! Что они? И ничего они не сделают, — ужасается ханум. — Да и что можно сделать?

С точки зрения цивилизованной техники, действительно, что можно сделать с мокрой, расплывшейся глиной? Кажется, от ливня глиняная кибитка окончательно расплылась.

Хорошо, что удалось самим выбраться и вытащить имущество и обстановку.

Ханум смотрит на мечущихся тилляусцев, на их озабоченные лица и, безнадежно отмахнувшись, уходит на кухню к Гульбике. Здесь хоть не течет с потолка и относительно тепло и сухо. Мальчишек засаживают за шершавый кое-как сколоченный кухонный стол и кормят кашей.

Они протестуют. Они хотят посмотреть, что делается на крыше их дома. А там настоящий бедлам. Высыпают несколько ведер соли.

Как выдерживают стены и балки-болоры? На плоской, промокшей земляной крыше, подобрав полы своих ватных халатов, с полсотни йигитов топтались, прыгали, танцевали танец северо-американских индейцев.

— В комнатах ливень,— замечает доктор, войдя на кухню.

— Зачем ливень?— важно спросил с полным ртом Миша.

— Аллах знает,— улынулся доктор.

— А кто такой аллах?

Аллах ли, опыт ли Кагарбека, воинственный ли танец кишлачных йигитов, но спустя час дождь под крышей в мехмонхане прекратился. Ханум докторша долго и придирчиво смотрела на узорчатый, цветастый потолок и не могла обнаружить ни единой подозрительной капли на лаковой поверхности болоров.

Юноши попросили разрешения удалиться. Они были очень горды и довольны, что их пригласили помочь достойнейшему целителю недугов — все они в свое время были пациентами доктора. Они отвесили поклоны и пошли к воротам, но на пороге кухни появилась Гульбика с огромным глиняным блюдом машкичири и позвала:

— Келинляр, хашарчи!

И с каким аппетитом, с какой жадностью джигиты уминали эту типично восточную кашу из риса и маша — зеленых мелких бобов! Аппетиту их мог позавидовать сам великан Гаргантюа. И потом — доктор-ханум с жалостью смотрела на юношей, таких худых и истощенных. Народ Ангренской долины и гор Канджигалы жил бедно, очень бедно...

Во двор, скрипя и стелая, въехали арбы с горой голубой глины. Арбакеши и соседи перетаскали глину на крышу, размяли ее и выровняли. К вечеру все было готово. И когда участникам хашара «сервировали» плов, в мехмонхане-столовой было светло, сухо и тепло, хотя к вечеру опять лило как из ведра.

— Вы богатые люди,— говорил доктор бородачам, расположившимся за дастарханом.— У вас настоящая каолиновая глина. Из такой глины можно изготавливать преотличные пиалы и чайники.

Почтенные гости важно кивали головами в величественных чалмах, запивали плов не чаем, а целыми касами ледяной ключевой воды и тщательно вытирали сальные пальцы о голенища сапог и ичигов.

Только лесной объездчик Мерген заметил:

— Испокон века мы в Тилляу посуду не лепим и не обжигаем. Не умеем. Вот в Риштане там много умельцев. Отличные блюда разрисовывают и обжигают в печи. Но у них нет такой голубой глины.

Голубая каолиновая глина сделала свое дело. Крыша в доме доктора больше не протекала, а Лоле-атын больше ни разу не пришлось бегать по мехмонхане и другим комнатам с тазами и корытами.

И когда вдруг предостерегающий гром пронесился и раскатывался по горам грохотом от железных колес по каменистой дороге, он не казался теперь устрашающим и сулящим неприятности домашнего наводнения.

Могучая природа долины вселяла в душу чувство красоты и свободы.

## XX

Ненавидеть делателей зла.

А бди бек Ширази

Остерегайтесь облагодетельствованного.

Саади

Новое столкновение у доктора с его преосвященством муфтием произошло из-за племянницы священнослужителя.

Поистине обыкновенная история. Но на этот раз в ичкари господина муфтия события развертывались не совсем так, как бывает обычно.

Вдруг муфтий с мимбара соборной мечети, приведя с собой закрытую в чачван «племянницу», принялся выкрикивать:

— Махау! Махау!

То есть: «Проказа! Проказа!»

Еще с библейских времен проказа — «бич божий». Болезнь была неизлечима и столь ужасна, что прокаженных люди беспощадно изгоняли из своей среды. Кишлаки прокаженных стяжали мрачную славу. Все дороги, ведущие к большим городам, служили пристанищем для тысяч прокаженных, заживо гниющих, с проваленными носами, с отпадающими суставами, просящих милостыню...

Возглас «Махау!» был предупредительным сигналом: люди бросались бежать. Вопль муфтия «Махау!» перебудора-

жил селение. Все побросали свои занятия и столпились у мечети.

Все было чинно и благопристойно. С головы до пят девушку скрывала паранджа и чиммат из жесткого конского волоса. Из-под подола паранджи стыдливо высывались лишь носки лаковых кавуш, а из свисающих рукавов пальчики с малиновыми накрашенными ноготками. Лицо закрывал непроницаемый для взоров чиммат из конского жесткого волоса, твердый, как картон.

Истерическим голосом муфтий во всеуслышание повелевал

— О, ты, несчастная, покажи почтенным людям свою руку! А вы, о почтенные, зрите! Эта девушка проклята богом! Эта девушка махау, прокаженная! Она — махау! Она отверженная!

Он грубо выпростал из-под паранджи белую, нежную руку ребенка. На запястье виднелись два белых пятна...

Обычно сдержанный, важно державшийся духовный отец раскричался, разнервничался. Он истощно вопил:—«Махау! Махау!» Просто из себя выходил. Тарасил слепые белесые глаза. Окаймленные красными веками, они производили жуткое впечатление.

Тут же перед молчаливой, ошеломленной толпой муфтий повелевал:

— Изгнать из Тилляу! Отвезти в Махау-кишлак!

Отправить в Махау-кишлак значило похоронить заживо. Убитые горем, плачущие родственники увели девушку. Толпа тихонько разбрелась по улочкам и пыльным закоулкам. А спустя какой-нибудь час девочка, заплаканная, перепуганная, прибежала к Лоле-атын с мольбой о заступничестве, волоча за руку мать-старушку.

Доктору не понадобилось и минуты, чтобы поставить диагноз:

— Песы! «Ветилиго». Сравнительно невинная болезнь кожи на почве плохого питания. Никакой проказы. Мы призваны бороться с дикими взглядами. Сколько несчастных попадают благодаря невежеству в колонии прокаженных, сколько жизней загублено, сколько семей разрушено!..

Пришлось пойти против его преосвященства господина муфтия, против всего духовенства.

Борьба была нелегкая, но Иван Петрович одержал верх.

Народ кишлака остался весьма доволен. Только что люди, озлобленные, разъяренные, готовы были по одному слову муфтия гнать несчастную девочку камнями по дороге до самого Махау-кишлака, а теперь восхваляли доктора во весь голос.

«Хаким мудр! Хаким вернул дочку матери-отцу! Доктор — офарин! Доктор — молодец! Слава русскому доктору!»

Нисколько не радовался этому только муфтий. Хоть док-

тор вернул ему юную, красивую наложницу, за которую он заплатил немало, но все пошло вопреки обычаю. А обычай, адат, провозглашал духовного наставника, муфтия, непогрешимым, всеведающим, столпом справедливости, подобным пророку.

В час вечерней молитвы муфтий поднялся на мимбар и сказал слово, разящее и устрашающее. Он не назвал имени доктора. То ли потому, что доктор был кяфир и имя его осквернило бы дом аллаха, то ли потому, что доктор приобрел всеобщую любовь и уважение и в делах милосердия и благодеяния. Но громы небесные он все же на голову Ивана-хакима низринул, правда косвенно, но так, что и глухой услышал бы. Прочитал с мимбара поучение, похожее на приговор казикалана бухарского, и приговор суровый.

Знатоки шариата и священного писания истолковали его как призыв к хакому добровольно покинуть Тилляу и навсегда отказаться от попыток лечить верующих, ибо верующему лучше болеть самыми тяжелыми болезнями, чем принимать лечебную помощь от язычника.

Еще не одну проповедь произнес муфтий в своей мечети, и все проповеди были столь свирепы, что могли повергнуть любого верующего и неверующего в страх и трепет. Но слова гнева и мести возымели очень малый результат. Ибо!..

Не шепчите себе за пазуху:  
Оплюете себе грудь и сердце!

Неверующий «язычник» Иван-хаким сам лично не слышал ни одного из громовых слов, вырывающихся из глотки злобствующего проповедника. Доктор-кяфир не имел права посещать в часы общих молений дом аллаха и пророка его.

— Много я потерял, — посмеивался доктор.

Воистину устрашающее зрелище представляла на мимбаре эта дергающаяся рыхлая туша. В муфтии в момент проповеди проявлялась, казалось, сверхъестественная экзотическая сила.

И все же многое изменилось.

В чайхане волостной правитель сказал во всеуслышание по поводу проповедей:

— Если бы криком строились дома, то ишачий вопль помог бы воздвигнуть дворец Гарун-аль-Рашида.

Хотел бы, очевидно, просто сказать: «Муфтий — болтун», но воздержался. Духовенство надлежит уважать.

Однако слова волостного все повторяли с удовольствием и не без ехидства. А суровый доктор со своей доброй улыбкой и открытой душой одержал верх над «скрежетом зубным» его преосвященства муфтия.

Девочку отобрали у муфтия. Причем доктор добился,

чтобы родители ее, бедняки, не возвращали денег за нее. Муфтию пришлось «прикусить язык» и молчать.

«Работоторговля в Туркестане отменена со времени присоединения края к России, — разъяснил по просьбе доктор пристав Сергей Карлович, — и если станет известным в Ташкенте, что вы торгуете девочками, вам придется предстать перед судом».

Муфтий потерпел большой моральный и материальный ущерб. Правдолюбец же доктор приобрел могущественного и опасного недоброжелателя.

## XXI

Не многие среди людей достигают противоположного берега. Остальные же суетятся на этом берегу.

Джаммапада

Худым плотно набивают мешки —  
Хорошее и на ладони уместится.

Ваханская поговорка

Опытный врач, прославленный в горах и долинах хаким, ученый и мудрец — «алим ва алям», которого ныне поминали в молитвах и дехкане, и горцы, и охотники за архарами, и чабаны с джайляу — горных поднебесных лугов — имел немало недругов.

И ему, когда он начал хорошо понимать местные говоры, приходилось частенько слышать странные слова: «Коварство криводушного времени извечно... Живы будем — на одну вершину взойдем. Умрем — в одну могилу сойдем». Тонко сказано. Двойной смысл в слова вложен: дескать, мы тебя уважаем, но, когда идешь по тропе жизни, оглядывайся!

Горы полны тайн.

Когда растаял снег на далеком перевале, где-то чуть ли не у границы Китая, среди зеленой травы и цветущих эдельвейсов зачернели остовы и гнилые кошмы юрт. И полуразложившиеся трупы... Десятки трупов мужчин, стариков, женщин, детей...

Целый погибший аул. Даже младенцев не пощадили! Всех зверски зарезали. А так как, видимо, тотчас разразился буря, то не успели замести следы. Вьюга засыпала снегом и юрты и тела, похоронила под трехсаженными сугробами.

Все стояли молча.

Молчал и пристав Мерлин. Обычно во всех случаях и при всех обстоятельствах он вел себя крайне экспансивно. Его несдержанность на язык вошла в поговорку. Киргизы прозвали его шайтан-пристав за то, что он кричал и ругался по поводу и без повода. А за руганью следовало непременно



рукоприкладство с применением всем известного офицерского хлыста.

Но в этот раз не было ни ругани, ни шайтанских неистовств. Шайтан-пристав, ко всеобщему недоумению, молчал, как-то странно переглядываясь с волостным Кагарбеком. Молчали долго, с растерянностью поглядывая на трупы, на синие с белыми маковками гряды гор по обе стороны долины, на синий поток где-то внизу пропасти, на мирный табун кобылиц, пасшийся на зеленом лугу вдалеке, на едва видимые в синем тумане крохотные юрты.

Чудесные свежие запахи могучих, выше пояса, трав нетнет и перебивались тошнотворной струей тления. Зрелище смерти всегда тяжело, но погибший аул вызывал содрогание.

Волостной возбужденно дергал кончики своих тюркских иссиня-черных усов. Взгляд его заискивающе искал глаза доктора, сокрытые блеском стекол пенсне в солнечных лучах.

Доктор явно не хотел замечать волостного. В конце концов Кагарбек заговорил первым:

— Вы могущественный хаким. От вас зависит небо и земля! Вы знаете наш язык и вы читаете наши книги. Вам известно, что изрек визирь и мудрец Низам-аль-Мульк в соответствующих обстоятельствах, когда...— тут он кашлянул, словно горло ему перехватила судорога,— когда потребовалось сохранить мир и тайну, то есть тайну ради мира.

— При чем тут мудрец и государственный деятель Низам-аль-Мульк? Насколько известно, он прославился справедливостью и неподкупностью. Не помню, чтобы он рекомендовал прятать концы в воду. И разве он оставил бы так это подлое дело? Взгляните поближе! Подойдите! Посмотрите на трупы грудных младенцев... Личики им обглодали шакалы.

— Да смилуется всевышний аллах над мертвыми! Ничего не поделаешь. Их жизнь прервалась. Ничего не вернешь. А Низам-аль-Мульк сказал умное слово: «Если Сахиб пойдет ко мне в услужение, я окажу ему ласку».

— А другой мудрец сказал: «Судьба ласкает человека — дракон играет с муравьем».

— Кто такой умник?— зло спросил Сергей Карлович. Лицо его, обычно багровое, вдруг позеленело. Он крепился, но ему стало дурно. Да и красивое лицо Кагарбека исказилось гримасой отвращения и подергивалось. Доктору тоже было явно не по себе, но он держался и резко ответил приставу:

— Изречение принадлежит поэту, мало известному европейцам,— Амину Бухари. Но любой узбек знает и любит его.

— А при чем тут Амин Бухари?— нервно спросил волостной.

— Притом же, что и визирь, мудрец Низам-аль-Мульк. Впрочем, все это разговорчики. А перед лицом смерти... такой ужасной смерти я спрашиваю себя: «Увы! Почему я не всемогущий визирь? Почему я не могу сейчас, сию минуту, хлопнуть в ладоши и не призвать: «Палача сюда!» Ужасно жалею! Ужасно!»

— Палача?— сдавленным голосом пробормотал Кагарбек.

— Палача?— без всякого удивления проговорил Сергей Карлович.— Честное слово, мы тут при исполнении служебных обязанностей. И всякие афоризмы и шуточки с палачами... Давайте поскорее закончим.

Доктор приступил к осмотру тел погибших или, вернее, того, что осталось от них.

— Чего смотреть? Надо приказать предать тела земле!— истерически вскрикнул Кагарбек.— Неосторожны они были! Под горой шли. Снежная лавина засыпала!

— Да нет,— проворчал доктор, орудуя инструментами.— Лавина тут ни при чем. Вот этот почтенный старец убит. Смотрите: ужасный удар холодным оружием. Саблей, по-видимому. Кости черепа рассечены.

— Господи Иисусе!— воскликнул вдруг пристав.— Да это Зия бен Кабул! А утверждали, что он уехал в Индию. Чертовщина какая-то.

В растерянности он смотрел на погибшего. Мумиеобразное лицо знаменитого табиба, с обтянутыми пергаментными скулами, провалившимися щеками и глазами, хорошо сохранилось под снегом. Казалось, мертвец шевельнулся, и Кагарбек издал испуганный возглас:

— Ио, худо! О, боже!

Мерлин дернул плечом, будто его холодом обдало. Стражники шарахнулись.

— Колдун!— бормотали они, проводя ладонями по лицу.

Но нет, Зия бен Кабул был мертв. Это шевельнулась на ветру его белая борода, столь знакомая жителям горных долин: ведь слава табиба распространялась от Аральского моря до Кашгара.

Доктор наклонился над мертвым стариком.

— Господи, и нужно же было!— возмутился Сергей Карлович.— Такое важное лицо. Весь Тянь-Шань к нему с дарами и молитвой! Вообще-то беспокойная личность. Изрядно мучил народ своими бреднями. Но кому это понадобилось его укорять? Скандал!.. Вы же знаете, он отец нашего лесного объездчика. М-да! Теперь заварилась каша. Мерген этого так не оставит.

Доктор закончил осмотр.

— Совершенно определенно — старика убили ударом рубящего оружия. Руки связаны за спиной, веревки обуглены.

Кожные покровы обожжены. Старца пытали огнем. Посмотрите на его ноги!..

— Черт знает что такое?.. Дикость!

Осмотрев останки обитателей трех юрт, из которых состоял аул, доктор, расстроенный и взволнованный, вернулся на лужайку. Уже много раз за последние годы Иван Петрович ездил на вскрытия, но все не мог привыкнуть. А тут тем более, картина предстала перед глазами попросту страшная. Кому понадобилось зверски истребить все население чабанского аула от мала до велика, да еще с изощренной жестокостью?

— По-видимому, охотились за Зия бен Кабулом. Возможно, думали, что он путешествует с деньгами. Бедняки, чабаны горных пастбищ, стали случайными жертвами. Разбойники решили замести следы и убили всех возможных свидетелей.

Бесчеловечная жестокость! Убийцы — не киргизы. Со своими они так бы не поступили. Убийц надо искать в долине, — вслух размышлял доктор.

Но пристава меньше всего интересовало, что думает доктор. И вообще не дело врача заниматься следствием. Но сказал пристав другое. Он вдруг заискивающе обратился к доктору:

— Гм, протокольчик? Нельзя ли помягче... Без всяких там подробностей, не сгущая краски... Не хочется, чтобы нахлынули следователи... из прокуратуры. Если написать так, попроще... Ну, заурядный случай, в горах... воровские дела. И опять же причина — горная лавина, так сказать...

— Снежная лавина? Снежные комья, оставившие рубленые раны?

— Зачем же так? Но обиняком, так сказать, в общих чертах.

Серые, довольно выразительные глаза Сергея Карловича потускнели, сделались оловянными, непроницаемыми.

— Есть инструкция... положения об анатомических вскрытиях, — рассердился доктор, — что полагается, то и запишем. А приедут ли следователи из прокуратуры — это меня мало интересует. Приедут — разберутся.

Весь как-то дернувшись, пристав, волоча ноги и цепляясь шпорами за траву, зашагал к Кагарбеку. Красивое, выразительное лицо волостного «ходуном ходило». Длинные, аристократические пальцы, все в серебряных кольцах с самоцветами, бегали по бархатному, тоже в серебре, широкому поясу.

— Вы не в духе? А, господин волостной? — подошел пристав.

Кагарбек многозначительно мотнул головой на следы трагедии

— Это дело кара-киргизов!

— Ничего невозможного, конечно, нет. Но вы сами, Кагарбек, не верите в это.

Волостной испытующе посмотрел на пристава, на далекие вершины и остановил взгляд на одинокой юрте.

— А кара-киргизы убежали в Китай...

— Перерезали своих родичей и сбежали? Ну нет, поищите других преступников... И мы поищем. Да, а чего вы разглядываете ту юрту. Юрта принадлежит Мергену. Он всю зиму искал отца, табиба Зия бен Кабула. Полагаю, вернется из больницы, быстро найдет, а?

— Не найдет.

Волостной скосил глаза на шедшего через луг доктора.

— Значит, гм-гм, кара-киргизы ушли,— продолжал пристав очень настырно.— Ну, ладно... родовая вражда и так далее. А как все-таки быть с этим Зия бен Кабулом? Он не киргиз. А что вы скажете насчет вашей новой... гм-гм... возлюбленной киргизской нимфы? Когда вы ее привезли в Тилляу?

— Сергей Карлович, о чужих женах у нас говорить не принято.

— Итак, киргизку вы привезли осенью! Из какого она аула? Из этого... из бывшего,— поморщившись, он посмотрел на обугленные остовы юрт, ключья кошм, на мертвецов, на подходившего к ним доктора.— Из какого она рода? Из этого? Не правда ли? Любопытно! И кстати, где она? А старика-табиба почему убили?

— Йо, худо! Потом поговорим. Доктор услышит...

— Вот в том-то и беда, что доктор опознал старца и, кажется, лечил эту... вашу киргизку... знает все тайны кагарбековского гарема. Ну не разбойник ли вы? Хэ-хэ! А теперь доктор кое-что сопоставит. На чужой роток не накинешь платок.

Со своей аккуратно подстриженной черной шелковистой бородкой, с резко очерченным благородным ртом, гордо посаженной головой господин Кагарбек ничуть не походил на вульгарного разбойника. Но в нем чувствовалось что-то от трусоватого авантюриста.

Волостной явно боялся. «Его осел застрял по уши в грязи». Волостной оказался в затруднительном положении. Сергей Карлович «загнал волостного в угол» и отлично понимал это. Понимал это и Кагарбек. И весь посерел от бессильной злобы. Но волостной особенно боялся доктора. И доктор это тоже понял очень хорошо. Но он не опустил взгляда под ненавидящим взором могучего, богато и воинственно разодетого красавца. У доктора даже ничего не шевельнулось в груди при виде сабли в золоченых ножнах и офицерского нагана в лаковой кожаной кобуре и отличной охотничьей дувстволки.

Доктор даже мысленно не допускал возможности какой-либо выходки в отношении себя, хотя урочище, где они обнаружили загубленный аул, было глухое и отдаленное, а пристав определенно в одной шайке с волостным.

— Не посмеют...— сказал доктор громко и продолжал:— «Не страшусь я тьмы, даже если на пути мчащейся моей верблюдицы вдруг развернется пропасть». Хорошо сказал поэт по имени Фарис. Не правда ли?

Выслушав с раздражением доктора, Сергей Карлович переглянулся с Кагарбеком: «Видите, кого из себя корчит этот докторишко!» и заметил:

— Вы еще стишки декламируете! Поэзия! Романтика! А здесь же Азия!

Доктор бравировал даже перед прямой опасностью. Но он недоучел размеры этой опасности. Он не знал еще, что сегодня обрел врага в лице Кагарбека — врага, который принесет так много зла ему и его близким.

## XXII

Наука — моя радость, мое утешение, опора и поддержка.

Омар Хайям

В школе слепых под чинарой и в других школах — а их в селении, к ужасу доктора, оказалось еще шесть — было столько ослепших мальчиков! А талантливых, голосистых оказались единицы.

— Что будут делать остальные?— поинтересовался Иван Петрович у весьма уважаемого домоллы, самого главного муфтия Ахангарана, тоже слепого, с глазами, затянутыми желтыми бельмами.

— Что? Их пошлют по дорогам с деревянной мисочкой прославлять милость аллаха и провозглашать: «Подайте во имя пророка сколько-нибудь слепому!» Может быть, они найдут утешение в молитве.

— Один философ посеял «может быть». Всходов не получилось.

— Увы, все в воле божьей. Отступление от привычек — причина бедствий, болезней, всевозможных бед.

Помолчали. Молчание было недолгим. Муфтий терпеливо вздыхал. Он знал, что доктор настойчив, резок, нетерпелив во всем, что касается «алям», то есть знаний. Настоящий укус!

Ему, муфтию, доктор уже сколько раз говорил: «Из тьмы невежества выведет только свет знания и науки. Не темные заклинания, а наука, медицина делают чудеса! Соглашайтесь, домолла. И вы будете видеть!»

У муфтия оказалось достаточно здравого смысла, чтобы дать согласие на операцию. Но он тянул, откладывал. И лишь ужас вечной ночи, в которую его погрузила болезнь глаз, заставил преодолеть сомнения.

— Да, еще хочу спросить,— проговорил доктор, с жалостью поглядывая на стайку притихших, прислушивающихся мальчишек. Похожи они были на несчастных, попискивающих слепых котят.— Где девочки? Где слепые девочки? Разве вы их не учите?

— Нет, зачем? Женщина, слепая ли, зрячая, обречена пребывать во тьме. Зачем учить ее священному писанию?

— Но это страшно — прожить всю жизнь без свега. Вот вы, почтенный учитель юношества, не ужаснулись, когда вас поразил недуг, когда вы ослепли?

— Все от бога.

— И вы не лечились? Не пытались?

— Меня лечил великий таиб в Коканде. Здесь близко, за горами. Увы, снадобья его оказались бессильны. Такова воля всевышнего.

— Но в Ташкенте есть же опытные врачи!

— Если мусульманин, верующий, не смог, что сделает кяфир?

— Позвольте мне посмотреть ваши глаза. Хотите снова видеть?

— Ты, урус, смеешься надо мной.

— Я говорю серьезно. Вам придется перенести операцию, но зато вы снова увидите эту чинару, своих учеников, увидите свой дом, свою семью.

— Что ты возьмешь за лечение, урус?— заколебался муфтий. Соблазн был слишком велик. Но тут же он спохватился:— Всевышний пожелал, чтобы я ослеп, а ты хочешь противиться его воле? Нет!

— Я буду рад и доволен, если вы, домумла, как в молодости, сможете радоваться жизни, видя своими вылеченными глазами творение божье, зеленые сады, синее небо над головой.

К тому времени, когда произошел этот разговор, Иван Петрович сумел создать себе славу исцелителя. В Тилляу у всех мальчиков и девочек глаза перестали гноиться и чесаться. Правда, Ивану Петровичу еще не удалось ни одному взрослому пациенту вернуть зрение — никто не соглашался на операцию.

Муфтий преодолел свои сомнения, и доктор-урус сделал операцию.

Когда Иван Петрович, очень нервничая, снял повязку с первого прооперированного глаза муфтия и с трепетом ждал, раздался вопль домумлы: «Клянусь пророком, я вижу!»

Это было торжество разума, торжество света.

Так прозрел имам-домулла, верховный муфтий и священнослужитель соборной мечети в Тилляу. Так началось прозрение всего кишлака Тилляу. Раньше здесь говорили про трясины с болотными огнями, где поднимался ветхий купол священного мазара Тешикташ: «Где падаль — там собираются шакалы; где горе — там собираются ишаны».

Святой был совсем маленький, а «садака» — жертвы, приносимые ему, большие. Теперь доктор избавил детей Тилляу от болезней. Ишанские доходы поуменьшились. И, быть может, один-единственный муфтий жалел о прошлой неблаговидной славе своего мазара. Да и то все его размышления завершались вздохом: «О боже! Но ведь я прозрел!»

### XXIII

Человек умный, доблестный, деятельный и в делах настойчивый!

Б е р у н и

Тебе нужны все блага мира?  
Будь презренным лицемером!

Л у к м а н Х а к и м

В чайхане, — а в кишлаке чайхана — кузница общественного мнения, — в разговорах имя доктора сопровождалось не иначе как возвышенным, почти религиозным восклицанием: «Халолат бод!» — «Молодец!»

Доктор, несмотря на свою молодость, завоевал глубокое уважение и даже любовь. Доктор был гордостью кишлака Тилляу. Ивана-доктора единодушно считали безгрешным и чуть ли не святым. Но именно поэтому он оказался в болоте хитроумных интриг и всевозможных плутней.

Волостной расточал улыбки и... тайком выживал Ивана-доктура из Тилляу. Прекрасная репутация доктора казалась подозрительной их благородию господину интригану и карьеристу Мерлину Сергею Карловичу. И даже муфтий, объявивший доктора святым ходжой, преисполненный благодарности за свое счастливое исцеление, назвавший его благодетелем рода человеческого, говорил за его спиной: «Увы, у нас мир полон греха. Безгрешному у нас, в Тилляу, трудно. Урус несет на голове ношу из тысяч мучений. Барабанный бой лучше слышать издали...»

Что там говорить! По мнению муфтия, доктор своим идеальным поведением... развращал добрых мусульман. Увы, все необыкновенное поведение доктора — это дело шайтана! Доктор оказался павлином в доме нищего. И все: волостной, пристав, муфтий — делали ставку на кляузы, и им вскоре показалось, что они добились своего.

Однажды доктор долго не возвращался из отпуски, кот-

рый проводил на родной черниговщине. «Друзья» вздохнули было с облегчением. Расползся даже слух, что доктор не вернется.

Но бесплодно крутить голову  
в сторону от истины.

«Сопутствуемый счастливой звездой», доктор возвратился в кишлак Тилляу. Так сказал тилляуский кишлачный народ.

Иван Петрович решил прочно обосноваться в Тилляу. Он привез в кишлак новую мебель. Все в докторе было прекрасно! Все, что было ему близко, тоже было прекрасно! И его молодой жене Ольге Алексеевне говорили: «Против тебя цветок, что трава!»

И если в кишлаке Тилляу доктора называли святым, то в Ташкенте, в канцелярии генерал-губернатора, его считали чудачком. Но и там и тут он слыл опасным вольнодумцем. И от него не прочь были избавиться. Иван Петрович знал, что о нем говорят, но относился к разговорам с полным безразличием. Что ему было до болтовни? Он приехал в Туркестан не заниматься самопожертвованием, а делать доброе, полезное дело. Иван Петрович имел диплом с отличием, знания, опыт. Сначала он учился на естественно-историческом факультете, но вскоре пришел к мысли, что борьба с болезнями нужнее человечеству, чем изучение природы вообще.

Даже когда он за два-три года после университета сделал на военной службе успешную карьеру, он пошел своим путем. Его деятельная натура не могла примириться с благополучным, сытым существованием. С горечью он понимал, что успеха и побед ждать трудно. И тем не менее ринулся в гущу жизни.

Начальство ценило его, но... с сомнением,— доктор не посещал церковных служб. В лучшем случае присутствовал на парадных обедах.

«Присутствовал, но не молился»,— вздыхал полковой «батюшка».

В делах врачебной профессии для него не существовало ни знаний, ни чинов. Он лечил с одинаковым вниманием и полковника и рядового. А офицерам без всяких церемоний при встречах в военном собрании говорил: «Вы, господа, разрушаете основы человеческих отношений, а значит, и империю...»

— Согласитесь,— говаривал «батюшка»,— в устах медика, врача, христианский долг коего смягчать страдания страждущих, такие суждения, ай-яй-яй!— попахивают... гм... крамолой.

В еще более резкой форме, приехав служить в Туркестан, Иван Петрович высказывал свои взгляды губернатору и даже генерал-губернатору Туркестана.



Его не любили, но терпели. В медицине он был «чудодей». А волшебникам прощается и желчный характер.

Во время своих служебных поездок по Ахангаранской долине доктор был очень неприхотлив: кошма на глиняном полу, костер посреди закопченной, каменной хижины, пиала чая — вот все, что ему требовалось.

— Доктор, что? — как-то заметил, хитро подмигнув, Гасан. — Для него, что простокваша, что мед — все одно.

## XXIV

Тощий духом хотя и жирный телом.

Шахаб Раугангар

Испокон веков не было греха, которого они не совершали бы

Ал Джази

Лучше всех охарактеризовал тилляуского волостного управителя вольнолюбивый Мерген, сказав: «Из волка пастух не выйдет». Это в ответ на заявление Кагарбека на кишлачном сходе в чайхане под чинарами: «Я ваш отец, я ваш пастырь».

Вообще имя волостного не произносили. Во всей долине реки Ангрена его называли кратко, но внушительно — *он!* Еще шепотом могли помянуть *он*, волостной.

В нем сочетались бек ханских времен, уездный начальник из чеховского рассказа и самовластный помещик. Помещиком он был богатым: владел и рисовыми полями, и садами с виноградниками, и богарными нивами, и отарами овец на горных джайляу Тянь-Шаня. Батраков, пахарей, чабанов, табунщиков, слуг-малаев у волостного имелись сотни. Сколько точно, он не знал. О нем говорили не иначе, как почтительным шепотом. Должность волостного ввела колониальная администрация, но патриархальные обычаи остались в силе. Боялись его деда и прадеда. Они давно уже покоились на тилляуском кладбище, но имена их заставляли трепетать. Боялись и самого Кагарбека. В Ташкенте власть — в руках губернатора. В горах власть — в руках *его*. За самовольство, самоуправство там, в городе, «взбалтывают мозги», здесь же он оставался безнаказанным. И ждали от него самого ужасного. Особенно боялись его дотошности. Шептались: «Он... пригласил гостей, устроил «гап-тукма». Беседу с угощением вскладчину... Скупец! Сам выложил из мошны рубль — с других сорвал по три рубля. А потом и говорит: соберите на керосин! Сидеть вроде на «гап-тукме» в темноте невозможно». Всех била дрожь. Давайте. Все дали. Господи: муфтий сказал: «Не дам!» Так господин волостной взял бельбаг и

завязал почтенному муфтию глаза — глаза, которые увидели свет после операции доктора-уруса. И — ох-хо! — «пока «гап-тукма» происходил, пока лампа освещала мехмонхану, господин муфтий по капризу волостного сидел, не видя свету».

Однако по-настоящему Кагарбек пугал не простодушными и в то же время жутковатыми историями. Господин волостной подавлял воображение патриархальных тилляусцев своей густейшей бородой. Призвав своего сартароша — парикмахера, — он тыкал пальцем в висевший в мехмонхане портрет Александра III и требовал подстричь бороду по образу и подобию императора Всероссийского. Разглядывая себя в зеркале, он поглаживал себя по животу и спрашивал важно: «Похож?» Он корчил из себя главу племени, чтобы зажать весь Тилляу в своем кулачище.

«В Ташкенте — ярим-падишах. В Тилляу — мы! Мы хозяин. Мы остаемся хозяевами земли, степи, гор. Требую — помогайте нам. Не идите против! Пользы не будет. Вред будет».

Не то, что бы он кричал, угрожал... Он шипел. И шипение это было зменным.

«В сторону Ташкента не смотрите! Сидите тихо. Есть поле, земля. Носом в землю! Не вспотеет лоб — не вскипит котел. Были вы моими рабами и остались рабами. Не задирайте нос! Я добрый. Очень добрый! И совет мой добрый. У доброго отца хорошие дети».

Он вскидывал глаза. На стене его мехмонханы висела большая, сильно увеличенная дагерротипная фотография. Потому все изображенные на ней лица выглядели внушительно, почти величественно.

Величественным был по высокой должности их высокопревосходительство, увешанный орденами господин генерал-губернатор, сам фон Кауфман, ярим-падишах, полуцарь. Не было могущественнее вельможи на Востоке, чем фон Кауфман! Но что самое удивительное, столь же могущественным на фотографии выглядел господин волостной управитель Салихбай, отец Кагарбека.

Его преобладающая бенаресская белая чалма-башня, его бархатный халат, его широченный в две ладони пояс, шитый серебром, его великолепная сабля, вся его фигура, внушительная и массивная, удивительным образом заслоняла своим видом господина генерал-губернатора. А из халата высывалась совсем юная физиономия мальчишки.

Тогда, после нежданной смерти бывшего волостного, на его место по приказу Кауфмана назначили шестнадцатилетнего юнца, его сына Кагарбека: он стал правителем Кураминской волости, равной по территории Бельгии или Нидерландам.

С тех пор любил и хранил Кагарбек дагерротипную фото-

графию. Пожелтела она, поблекла. Но все же волостной правитель восседал в глубоких креслах, затмевая своим величием самого ярым-падишаха и нагоняя страх на ахангаранцев. Спесиво выпятив грудь, сидел он в кресле, спесиво взирал со снимка.

Лицезрение собственной физиономии приводило Кагарбека в умиление. Единственное, что он себе позволил: чернилами грубо, неумело пририсовал на фотографии два креста. Крест, конечно, для мусульманина запрещен, но что поделаешь, если администрация Туркестана имела обыкновение награждать своих верноподданных, даже если они и мусульмане, за верную службу на пользу царя и отечества орденами «Святыя Анны» и «Владимира» разных степеней.

Не столь важно и то, что муфтий, хранитель местной Канджигалинской святыни, неоднократно провозглашал запрет фотографироваться и вывешивать свои портреты на стенах, запрет, шедший со времен еще пророка Мухаммеда и корана.

Простым людям в своей волости господин Кагарбек не разрешал пользоваться услугами бродячих фотографов. На самого себя волостной запрет не распространял. А народ? Народ не посмеет и рта открыть. Народ, по глубокому убеждению Кагарбека, «вложил шею повиновения в ярмо приказанья и продел в уши кольца рабства».

Часть II

ВЗЛЕТ





# I

Влажен, кто одержим: Не различает  
он, где у него тело, где душа. Не  
горестей, ни зла, ни бед не различает.

Баба Тахир-и-Дур

Скрыться легче на базаре.

Бухарская поговорка

Жена доктора старалась всегда сохранять выдержку, спокойствие. Но каждая поездка в Ташкент за покупками или к портнихе или в гости заставляла пережить бездну волнений. А что же говорить о настоящем путешествии на родину в Полоцк к родным, путешествии, которое совершалось ежегодно.

Самая обыкновенная поездка как будто. Обычные хлопоты и заботы — чемоданы, сундуки, экипажи, нахальные кучера, ташишки, арбы, наконец, лошади, к которым тянется Алъша и уже подросший озорник Миша, их надо оттаскивать подалеже от копыт. Лошадь ведь умеют лягаться. Не дай бог! Но несмотря на все, возвращение из России в Тиллу всегда было радостным событием.

Ольга Алексеевна не могла не восторгаться синевой небес, сочной зеленью великолепных садов, варварским изобилием и неистовством красок местных фруктов, живописностью одежд, караванами задумчиво шагающих верблюдов, журчанием арыков, серебристыми тополями, поразительно круглыми кронами карагачей, шумными дорожными чайханами, далекими синими горами и золотистой пылью... Да, даже эта назойливая, терпкая пыль, наконец, не пугала.

Все было интересно. И, конечно, дорожные приключения. В небольших размерах, умеренными порциями они тоже были интересны. Урчащая, мечущаяся необузданным конем река, волнующая переправа через разливы горных рек, встречи с воинственным всадником Мергеном, появление живописного красавца — «золотого болвана», всегда изысканно любезные помощь и содействие «аравитянского» вельможи (обычно и Кагарбек, и Сахиб, и Мерген, заранее предупрежденные, встречали семейство доктора в Куйлюке), езда на арбах с их чудовищными колесами и сумасшедшей тряской на рытвинах и колдобинах дороги, ржущие и дерущиеся полудикие кони, с которыми едва управляются могучие арбакеши, сма-

хрюющие на «рыцарей большой дороги»: с виду свирепые черпобородые, но на самом деле добродушные сучи, буквально на руках вытаскивающие арбы, лошадей, людей из водоворотов и пучины...

И все это волновало, нервировало, но в конце концов любопытство тушило страх. Ольга Алексеевна чувствовала себя подвижницей, приносящей жертву супругу. Но не слишком ли много трудностей, забот и... даже опасностей для молодой женщины с двумя маленькими детьми?

Но и это все пустяки. И это можно спокойно или беспокойно пережить. Хуже, когда что-то или кто-то вызывает настоящее беспокойство, просто страх. Страх возник однажды, когда она почувствовала на лице настойчивый, сверлящий взгляд. Она сразу же увидела лицо человека, смотревшего на нее так странно, пристально.

Лицо среди десятков лиц. Такое же обожженное солнцем, темно-медно-красное. Оно было густого оттенка червонного золота, лоснилось от загара. Худое, изможденное, с провалившимися щеками, острыми скулами, с торчащими желтыми клыками — «зубы-то, наверное, от цинги выпали», — подумала Ольга Алексеевна. А глаза совсем больные, белки желтые от... малярии. Но давно не бритая бородка не черная, а каштановая и такие же каштановые вихры из-под повязки... У него повязка, а не чалма.

Он европеец вроде. А лицо очень выразительное и в то же время... человек безликий. Сливаётся с толпой. Вернее старается слиться.

Сливаётся потому, что одежда на нем — такие же лохмотья, как у всех. Рубище, едва прикрывающее наготу.

Почему-то он с волосами... Голову не бреет... Здесь все бреют. Из тряпок высовываются руки — тощие плети. Ладони протягивает ковшиком.

Так и знала. Он просто бродяга, нахал. Сейчас попросит что-то копейку. А на ногах, страх, не обувь — опорки.

Откуда здесь в Азии, человек в сибирских чунях. В таких ходят на Урале арестанты, в чунях и кандалах.

Глаза искали... на щиколотках, черных, в струпьях и шрамах, железные браслеты цепей. Кандалов не было. Но молодая женщина явственно различала белые кольцом опоясывающие над ступнями шрамы от... Да, она видела в детстве такие ужасные, зажившие шрамы на ногах брата, вернувшегося с каторги домой.

— О! — от нахлынувшего страха она закрыла ладошкой рот, чтобы бродяга с пронизывающим взглядом не понял, о чем она подумала.

Ольга Алексеевна забыла и думать, что на лице у нее густая вуалетка... И вряд ли бродяга или каторжник может различить ее взгляд под вуалеткой.

И, вернее всего, никаких взглядов он не ловил. А простое появление в таком месте барыни в шляпке, в модном костюме «из Парижа», поразило и заинтриговало странного чернорабочего.

Сердце у нее упало. Босьяк не был азиатом. У азиатов нет таких глаз... Каких? Серых, полинялых... Взгляд у него страдальческий, но в то же время повелительный.

Человек работал вместе со всеми, грузил, перетаскивал.

Но работа давалась ему с трудом. Грудь его судорожно вздымалась и опускалась. Человек явно не был приспособлен к физическому труду. Несколько блуждающий взор и приоткрытый рот придавали ему сходство с юродивым.

Он окончательо ошеломил молодую женщину. Поравнявшись с ней, он из-под чемодана, который нес на плече, заговорил. Заговорил чисто по-французски:

— Excusez moi, s'il vous plait.

— Извините! Смотрите, мадам? Снисходительно! Нищий, думаете? Милостыню просит!

Он резко протянул руку, сложенную горсточкой. Она ужаснулась — не пальцы, а усохшие когти хищной птицы.

Заметив, что она брезгливо отшатнулась, бродяга почти воскликнул, хотя все время говорил тихо, не желая привлечь чьего-либо внимания:

— О, мадам, помните у восточного поэта: «Когда приходит человек к тебе, не бросай в него раскаленную золу...» Золу презрения. Поверьте, я не достоин презрения.

И молодая женщина, все еще не преодолев испуга, спросила тоже по-французски:

— Que voulez vous? (Что вам угодно?)

— Вот и договорились. Простите, я пробегу до арбы. На обратном пути... скажу.

Она осталась стоять, держа за руки мальчиков, тарашивших глазенки на всю эту суматоху, крайне встревоженная, смущенная. Она искала глазами мужа, но он руководил погрузкой еще одной арбы.

А странный грузчик, изъясняющийся очень чисто на французском, прошел мимо с толпой мардикеров и тотчас вернулся с небольшим ящиком. Остановившись, он быстро заговорил, преодолевая мучивший его кашель:

— Вопрос, мадам. Ваш супруг — врач?

Она наклонила голову, не в состоянии отвести глаза от его ног. Боже! Как, наверное, ему больно!

— Рад! Вижу пуговицы с орлами. Кокарду. Я, конечно, труженик. Труженик — любимец богов! И при виде казенной кокарды невольно тушуюсь... Не переносу. Простите. Тело мое горит... от малярии. Изнуряющие приступы. Никогда не думал, что Туркестан встретит так негостеприимно... Прошу, умоляю, дайте хины... или чего-нибудь взамен.



Он по-прежнему протягивал жестом нищего свою руку с ужасными пальцами-когтями. Глаза его с мольбой, но по-прежнему требовательно, настойчиво смотрели на молодую женщину.

— Кроме вас, никто не поможет. К местному фельдшеру, что ли, идти? Да не даст. Еще в полицию донесет: заявит; всякие тут шляются. А вы, прекрасная дама... Помните — у Блока... Вы фея... У ваших ног весь мир. Вы добрая, прекрасная фея, и вы испугались? Да не разбойник я... и не за разбой. Вот в таком виде... — Он рукой одернул свою ужасную куртку или вернее то, что от нее осталось. — Не бойтесь, обыкновенный интеллигент, труженик. Умоляю — хины... Нет хины? Не поверю. Доктор не поедет в такие гиблые места, в малярийный край, без хинина.

— Вы не поняли: у меня нет. У мужа...

— Пожалуйста, попросите. Мне нельзя. Все-таки — фуражка с кокардой.

Сипя, кашляя, бросая слова на ходу, он работал с азартом, не хуже остальных мاردикеров. Надо было переставить громоздкий ящик со сломанной арбы на другую. И вместе с десятком рабочих ташил, тянул, не отставая от самых сильных палванов.

Он не хотел выделяться своей слабостью из толпы, он всячески сливался с ней. И только в моменты краткого отдыха, подойдя к молодой женщине, он на ходу с мольбой бросал:

— Порошочек... два... Душу живую избавите от гибели.

Он, видимо, нарочно кривлялся, может быть, даже разыгрывая из себя дивану — юродивого, чтобы его попрошайничество истолковали правильно.

Подошел, поблескивая стеклами пенсне, доктор.

— Ну-с, господин хороший! В чем дело? Что тебе нужно? Или-ка отсюда! Что он присгает, Оля?

— О, нет! — быстро прервала мужа молодая женщина.

Ей почему-то стало очень жаль босяка. Что-то в чертах его печального, страдальческого лица располагало. Бродяга вызывал сочувствие. И она просящим тоном сказала:

— Жан, этот господин болен... Он просит лекарство. Ему нужна, очень нужна хина... «хинини мурьятици». У него приступы малярии.

— А, вы больны... Чем? Почему в таком виде? Что с вашей одеждой? А ну-ка, послушаем легкие. М-да, ребра да кожа...

Бродяга покорно обнажил впалую грудь, бормоча.

— Одежда ветхая да кость крепкая. А худоба откуда? Жаркое из требухи раз в неделю, а вода, редька да сучая корочка каждый день... до отвала. Таково-с меню в ресторане, то есть в чайхане нашего артельщика.

«И разговор... и болтливость, все напускное,— думала Ольга Алексеевна.— Он играет роль бродяги».

— Дышите! Еще раз!

Профессиональное чувство взяло верх, и доктор быстро, но внимательно обследовал больного, бормоча:

— Печень увеличена... Селезенка... гм... Посмотрим веки... У вас, батенька, малярия... Но где я вас видел? Через сколько дней приступы?.. А, терциана... Обычная форма... Ничего страшного, но вот в легких... Хорошо, что здесь солнце...

Он достал из кармана кителя пакетик:

— Прошу принимать порошки... три раза в день. Во время приступа не принимайте... бесполезно. А сразу же после приступа. Не вздумайте принять все сразу. Впрочем, вы, кажется, грамотный. И все-таки мы с вами встречались. Да... А то были случаи. Уже здесь, в Туркестане, в Ташкенте. Получит больной пилюль на неделю, а возьмет и сразу проглотит. Ну, конечно, беда. Э, да вам надо бы полежать... У вас температура. И потом истощение...

— Чтобы плотно кушать, надо плотно набивать карманы. А для того...— Он показал на ящики, которые на арбе увязывали шерстяными арканами мардикеры.

— Эй, Сибирь, работать надо!— окликнул бродягу один из мардикеров. До сих пор он только посматривал сверху. Он боялся слово сказать бродяге — тот разговаривал с большим человеком, а ведь всякий в форменной фуражке и в кителе с серебряными пуговицами — «катта адам», то есть большой человек.

— Видали! В рабочем классе принцип: кто не работает, тот не ест... Исключение, конечно, буржуй, капиталист. Хорошо, что здесь, в Туркестане, работенка есть. И народ хороший! В этом мире человечность — одно из лучших качеств.

— Вы, русский, как могли дойти... докатиться до такого,— Иван Петрович бросил взгляд на его лохмотья.— Вы вроде не алкоголик, но ваша одежда... Или часто болеете...

— Нет, не пью. Просто болен. Сил не хватает.

Судя по нездоровому блеску глаз, бродяга вряд ли сможет работать до вечера. И говорил он лихорадочно быстро.

— Шли бы в город,— прервал его доктор.— Зайдите, я вам сейчас запишу адрес. Там вам помогут, подлечат. Вы, по разговору видно, имеете образование. Грамотные люди в Ташкенте нужны. Вы не можете оставаться здесь. Физический труд не для вас... За ними вы не угонитесь, и держать в артели вас не захотят.

Доктор кивнул в сторону чернорабочих. Многие из них стояли, поглядывая на доктора и его собеседника.

— Идти в Ташкент. подавать кому-то калоши. Рапортовать по-лакейски: «Чего изволите?» Здешние говорят: «Не

имей соседства с богачом, не живи рядом с рекой...» Ну нет! Здесь я имею свободу выбора. Проживу... Если бы только не проклятая малярия... Спасибо за хину. А в город... Там вид требуется на жительство. А здесь люди по-первобытному живут... Паспортов же туземцам не дают. И я за туземца сойду.

Он подставил лицо под ветерок, подувший с разлинованной Ангрена. Протянул трясущиеся руки в свисающих бахромой отрепьях в сторону груди белейших облаков, громоздившейся над сиреневыми горами. И так и замер в позе пророка.

— Едьте тогда в Тилляу. Будете лечиться. Там горный климат, сравнительно сухой. Вам и глаза надо полечить. Видно, вы с севера...

— А у вас там... полицейский есть?

— А где его нет?.. Есть. Только не такая разновидность, как в Ташкенте. А вы очень возбуждены!

В словах доктора звучало что-то такое, что располагало к откровенности.

Бродяга вдруг пробормотал очень тихо: «Ваня-студент...» Доктор вздрогнул. Он всматривался, но так и не мог вспомнить, где он видел этого человека.

— То-то и оно: мудрец танцует и распевает там, где нет полиции. А где есть, там не до танцев и песен. Там паспорт спрашивают. А у меня, кроме извивов души, ничего... Спасибо за добрые слова. Спасибо за лекарство.

Он было пошел к арбе, но вернулся:

— У меня покорнейшая просьба, великая просьба, господин доктор, госпожа докторша. Извините, не имею чести знать, как вас величать. Извините, прошу, ни единым словом... обо мне... и о нашем разговоре, хотя ужасно был рад перемолвиться с русскими людьми. Отвык... Вижу, хорошие люди...

— А они,— спросила молодая женщина и показала глазами на суетившихся возле арбы с ящиками мардикеров и арбакешей.

— Для них я просто нищий... татарин. Я же хорошо говорю по-татарски... в Прииртышье долго бродил. Научился. Для них я немного дивана, так сказать, малость сумасшедший. А здесь сумасшедшие в почете. И к тому же я для них — кладезь знаний. Недаром в университетах обучался... бродяга просвещенный.

У него нервно подергивались щеки, руки непрерывно дергали кончики лохмотьев. Его жестикуляции мог позавидовать клоун столичного цирка.

— Простите,— не удержалась Ольга Алексеевна, которую мучило любопытство:— Вы сами откуда?

— Не спрашивайте... Вот уж этого не скажу. Издалека. Очень издалека. Имя мое однозвучно, и от него тянет могилой. Сидит на веревке... пеньковый гадалок. А вы люди интелли-

гентные и будете, надеюсь, молчать о нашей встрече. А мне не хочется встречаться с кокарами. Вы меня не видели...

— Я еду в Тилляу,— сказал доктор. Он все так же мучительно старался вспомнить... Неужели это...

— Ну что ж, Той-Тюбе — сосед Тилляу. Вы теперь мои соседи. А хороший сосед, что отец, что мать. Дурной сосед — беда на голову. Надеюсь, мадам, будем добрыми соседями.

— Я еду в Тилляу,— еще раз сказал доктор и нечто вроде жалости затеплилось в его глазах. Или это луч солнца коснулся стекла его пенсне...

— И еще... на прощание одну историю. Сам видел. Тут в одном селении полицейские стражники поймали бродягу. Они все допытывались: кто да что? Имя хотели узнать. Искали какого-то политического. Из Сибири пробрался с каторги, впрочем, неважно. В степи, в песках, поймали... Допросили, раздели догола, за руки, за ноги к кольшкам привязали на самом что ни на есть солнцепеке. Человека в уголь сжигают, а сами сидят в теничке и посмеиваются: «Ну, говори!..» Ничего не сказал. Не добились, мерзавцы. Да тут и немой от рождения заговорил бы.

— Я еду в Тилляу,— еще раз повторил доктор, но бродяга уже смешался с толпой рабочих.

— Нет, он не босяк... не попрощайка... Он... кто же он такой?— допытывалась молодая женщина у мужа.

— Он не сказал. И лучше, что не сказал. А то вон тот верховой что-то уж больно смахивает на представителя полицейского сословия. Да это Сергей Карлович! Явись он на пять минут раньше, едва ли он не обратил бы внимания на нашего живописного собеседника.

— Господи, он же не бродяга... Он интеллигент. Ты обратил внимание: он говорит, как образованный человек. Он... он...

— Не забудь, о чем он просил нас. Тсс... Мерлин едет к нам.

Через минуту, звеня шпорами, перед нашей четой вытянулся Сергей Карлович Мерлин, высокий, подтянутый, вылощенный, в своем ослепительно белом полицейском летнем кителе, будто нет в степи и горах пыли и грязи.

— Честь имею!.. С приездом! О, мадам, на вас воздух России действует просто великолепно. Вы похорошели, если можно говорить о совершенной красоте, что она может сделаться еще прекраснее. Доктор! Дорогой Иван Петрович, не смотрите на меня так строго. Я от души! О, Миша!.. А Аляша... розовощекие херувимы! Нет! Воздух Западной Двины истинно целебен.

Он говорит все это скороговоркой, беспорядочно, добродушно. Но глаза его, холодные, колющие, шарят по лицам

доктора и его жены, перепрыгивают на физиономии мечущихся в знойных лучах послеполуденного солнца сучи.

Сердце Ольги Алексеевны неприятно сжимается. Неужели Мерлин ищет этого беднягу?

Но скорее всего, что нет. Сергей Карлович больше не высматривает никого в толпе. Он — весь внимание и предупредительность. Он принимается командовать и распоряжаться. Он хочет сделать все, чтобы Ольга Алексеевна не волновалась и не беспокоилась...

## II

Если есть щель, гадина найдется.

Махабхарата

— Что-то наши ласточки в тревоге,— беспокоилась Ольга Алексеевна.— Весной, когда мы уезжали, они спокойно строили гнездо, а теперь...

Под разрисованными болорами потолка в столовой черными молниями метались птички и отчаянно свистели.

Уже давно, вскоре после приезда докторского семейства в Тилляу, под самым потолком в столовой пара хлопотуний-ласточек слепили из белой глины гнездо. И каждую весну и взрослые и дети радовались их возвращению.

— Уютно! Словно в хате,— говорил Иван Петрович.— Настроение повышают. И комаров исправно кушают. Такой пичужке надо в день штук триста, чтобы червячка заморить. Не меньше. Вот и польза от нашей ласточкиной четы.

Навешавший часто докторское семейство лесной объездчик Мерген выразил удовлетворение:

— Хорошая примета,— сказал он важно, поглаживая бородку.— Жить, доктор, будете долго и благополучно! Худо холоса! Благословение на вас!

Частые посещения Мергена объяснялись естественно: с некоторых пор сыновья Мергена жили в доме доктора. Жена Мергена тяжело болела, а затем умерла, сам Мерген все скитался по горным лесам, и за детьми в Горном убежище некому было присмотреть.

Вздыхал Мерген, извинялся за доставленное Лоле-атын беспокойство. Но ничего не поделаешь. Свеча жизни его лозайки погасла.

А ласточки хлопотливо занимались своими семейными делами с рассвета до ночи, благо окна были всегда распахнуты настежь.

Приходилось только удивляться, сколько могли наделать шума какие-то две крошечные пичужки. И доктор посмеивался:

— Римляне утешали себя: «Уна хирунда нон фацит вер». «Одна ласточка не делает весны». Но мы-то знаем: две ласточки делают много шума.

Домашние беспокойства доктор терпел философски. Уходил к себе в кабинет и плотно притворял дверь в столовую.

Но вот в размеренную, но шумную деятельность ласточек был привнесен элемент суеты и тревоги. Рано утром началась паника. Ласточки разбудили всех на рассвете. Они уже не пищали, не свистели, они «кричали» истошным чириканьем.

— Да проснись же! — будила Ольга Алексеевна доктора. Она держала в руках зажженную керосиновую лампу. Из столовой доносился галдеж. Ребята с криком бегали по столовой.

Около гнезда, под потолком, был настоящий переполох. Ласточки трепыхались, били крылышками по болору, к которому прижалось нечто длинное, похожее на черный с блестящими канат, почти сливаясь с расписными узорами потолка. Это было что-то живое без ног, без головы, но с шевелящимися какими-то отвратительными хвостиками на том конце, который почти соприкасался с глиняным гнездом ласточек. Оттуда доносился страшный писк.

— Какая гадина! — нервно проговорил доктор. — Змея!.. Осторожно!

— Змея! Змей Горыныч! — в восторге визжали мальчишки, прыгая и танцуя в своих белых длинных рубашках.

— Отойдите! — нервничала мать, загоняя ребят в другой конец столовой. — Она может кинуться!

Вооружившись шваброй, доктор неловко наносил удары, попадая не в змею, а в болор.

— Охота! Стреляй!

В руках мальчиков оказались запрещенные рогатки.

— Бей ее!

С треском рассыпались камешки-снаряды. И вдруг змея дернулась, и вниз упал какой-то черный, мокрый комок.

Мальчики стремительно бросаются к нему. Горестный вскрик Ольги Алексеевны:

— Птенчик! Мертвый!

На ладони у нее — бездыханный птенец ласточки.

— Бей змею! — вопят ребята. Град камешков отскакивает от потолка, от болора, рассыпается по полу.

— Отдайте сейчас же рогатки! Сколько раз вам говорили?!

Мальчишки удирают. Змеи не видно.

— Ужасное соседство, — говорит устало Ольга Алексеевна. Она чуть не плачет. — Упустили змею. А кто ей мешает забраться в постели ребят... ночью?.. Ужас!

— Надо ее поймать. Обязательно ее поймаем.

Вносят лестницу. Гасан и доктор по очереди осматривают потолок, болоры. Задельывают, замазывают щели. Возятся все утро. Ласточки мешают, трепыхают крыльями прямо в лицо. Мальчишки, завтракающие на террасе, все время лезут в окно.

— Поймали змею?

В дверях топчется волостной правитель Кагарбек. Он не сводит глаз с Лолы-атын. Ее пышная прическа, нежная белорозовая кожа, китайский шелковый халатик производят на него неизгладимое впечатление. Он вздыхает. Изображает на лице самую любезную улыбку и бубнит тихо под нос в усы, в свою черную бороду:

— Змея — очень плохо. Откуда змея? От другой змеи...

— Что вы хотите сказать, господин Кагарбек? — Голос доктора глухо звучит из-под потолка.

— Змея так не придет, — пытается уверить волостной.

— А зачем вы сдаете нам вашу мехмонхану со змеями, скорпионами?.. — вступает в разговор с волостным Лола-атын. — У вас один-единственный доктор. Можно было бы и позаботиться о нем. А что если произойдет несчастье?

Ольга Алексеевна, обычно выдержанная, вежливая, сейчас неузнаваема. В гневе у нее горят глаза, она повышает голос на Кагарбека. Он ничуть не обижен. Наоборот, в восторге. Такая Лола-атын нравится ему еще больше. А может быть, у него и какой-то расчет?

Он хитро косит глаза на чуть приоткрытую грудь молодой женщины и начинает извиняться. Его слова выдают его хитрость, правда, наивную, но, очевидно, давно и основательно продуманную:

— Вам, госпожа, жить нельзя в такой плохой, старой мехмонхане... Вам мы даем хороший новый дом в саду.

— Не пойдет, — все так же сверху звучит голос доктора. — И не думайте. Лучше пошлите своих людей. Надо змея выловить.

— Почему не пойдет? Зачем не пойдет? — посмеивается волостной. — Очень хороший дом в саду. Достойный дом для божественной красавицы.

Он свергалантен. Он прижимает руки к сердцу.

— До вашего сада восемь верст. Он у черта на куличках, — сердится не на шутку Лола-атын. — Вы лучше бы привели наш дом в порядок... Ремонт бы сделали.

— Ремонт не поможет. Плохие люди кругом.

— Это еще что за плохие люди?

Доктор слезает вниз и, вытирая руки, разглядывает волостного. А он, могучий, широкоплечий, весь в золотой парче, со своей черной бородой, темно-багровым лицом. Белой

бенааресской чалмой являет своей персоной величие власти и могущества. Он не отрывает глаз от прекрасной в своем утреннем дезабилье Лолы-атын и небрежно, сквозь зубы цедит:

— Плохие люди... плохие соседи...

— Кто? Что? Змей от соседей?

— Вы сказали, доктор, не мы сказали. Вы...

— Наши соседи — ишанское подворье... Мечеть... Святое место, — удивляется Ольга Алексеевна.

— Вы сказали — не я сказал.

— Вы что же, хотите сказать, что господин преосвященный сам напускает к нам в дом ядовитых змей?

— И всякую нечисть? — подхватывает Лола-атын. На глазах у нее слезы... И это после того, что Жан вылечил его, вернул зрение... В знак благодарности, что ли? Боже!

— Бойгесь тех, кому вы сделали добро. — Но тут же Кагарбек спохватывается, изображает на лице самую добродушную улыбку и разводит руками. — Ох! — говорит он. — Кто посмеет возвести на такого почтенного человека такую напраслину? Доктор спросил, мы ничего не сказали. Но обиталище уруса-гуяра — в святом месте. И господину ишану многие правоверные выражали неудовольствие. И лечебница построена неосторожно на земле святого вакуфа. Господин ишан в затруднительном положении. И вам, господин доктор, и вам, — низкий поклон в сторону Лола-атын, — лучше жить в другом месте — подальше от ишанского подворья... вот в нашем саду.

— Что за безобразия! Господин муфтий не мог, что ли, подумать об этом раньше? Почему он с нас аккуратно берет аренду? И за квартиру, то есть, за мехмонхану... и за амбулаторию дерет втридорога, а?

— А теперь змее подпускает! — удивляется Гасан.

— Молчи! — рычит Кагарбек. — Теперь у него есть на ком отыграться. Не твоего ума дело? Не смей трогать имени господина муфтия. Не сам муфтий... Но у него много невежественных мюридов. Они...

— Что в лоб, что по лбу, — думает вслух доктор.

— Прикажите выловить змей! Мы и часу здесь не остаемся! — кричит Лола-атын. — Сейчас же! Сию минуту!

Самые отважные трепещут при звуке женского столь мелодичного голоса: в полном своем торжественном одеянии волостной лезет по довольно-таки шаткой лестнице на крышу. Ему помогают два стражника, почему-то в полной амуниции, не сняв с себя даже тяжелых бердавок.

Операция по истреблению змей началась.

Мальчишки в восторге. Снова у них в руках рогатки.

Волостной Кагарбек настроен благодушно. Во-первых, он делает любезность такой красавице, а во-вторых, как это там у древнего мудреца:



Семена сомнения  
сильней ударов урагана.

Всдь только внешнее благоприличие тоненькой скорлупой прикрывают от глаз мусульман старинную вражду и взаимную ненависть меж столпами власти Ахангарана. Всем в кишлаке, в том числе и доктору, известно, что господин муфтий и волостной не терпят друг друга. Печально только, что доктор и его семейство оказались «между Сциллой и Харибдой». Ни доктор, ни его супруга не верили в «подбрасывателей змей и скорпионов», но поведение Кагарбека не могло не вызвать беспокойства.

На крыше мехмонханы охота продолжалась. Змею искали во всех дырах и щелях. Лили кипяток. Выгоняли дымом. Разбирали настил. Поиски ни к чему не привели.

— Умоляю, госпожа, покинуть эту зловредную обитель! Дом мой к услугам доктора,— с этими любезными и гостеприимными словами Кагарбек отправился восвояси.

Вечером долго никто не мог заснуть. Ольге Алексеевнеезде и всюду мерещились змен. Мальчишки белыми привидениями таинственно крались по комнатам. Храбрец Баба-Калан вооружился,— конечно, без спросу,— кухонным ножом и встал за дверью на террасе на страже.

— Итак, змея изгнана!— заключил доктор.— Всем спать!

— Нет, она здесь!— твердила Ольга Алексеевна.

Под утро змея снова приползла к гнезду. Снова началась суматоха. На этот раз доктор был вооружен заранее припасенным длинным багром. Первый же удар достиг цели.

Змея толщиной в руку взрослого человека извивалась с разможенной головой на полу. Из пасти ее вывалился последний птенчик. Змея пыталась еще уползти и чуть не скрылась за плинтусом. Но здесь нашла свой конец.

— Очень ядовитая змея,— заключил доктор.

С пронзительным свистом ласточки все еще продолжали налетать на змею. Утомившись, они садились на карниз, затем вновь кидались на гадину, разорившую их гнездо. И еще целый день они прилетали к гнезду, чтобы жалобным писком рассказать о своем горе. В конце концов они улетели совсем.

У мальчишек отобрали рогатки. Им строго наказали бояться всего, что хоть как-то напоминает змею.

Теперь, когда муфтий появлялся на докторском дворе, мальчишки за спиной показывали ему язык. Они твердо были убеждены, что лишились своего любимого «оружия» по его вине. Язык показывал даже тихий, бледнолицый **Касым**. Это он назвал господина муфтия — Змеинный папаша.

### III

Серьезность — путь к бессмертию.  
Легкомыслие — путь к гибели. Серьезные не умирают. Легкомысленные и при жизни подобны мертвецам.

Д ж а м м а п а д а

Держался доктор на работе строго и сухо. Многие в душе обвиняли его в надменности. Не вступал ни с кем в «бесплодные пререкания», рубил сплеча: «Операционное вмешательство показано. Приступим». Непрошенных советчиков обрывал: «Беда, батенька, коль пироги начнет печи сапожник».

А военное начальство — речь идет о временах, когда доктор еще молодым военным врачом служил в Новогеоргиевской крепости под Варшавой, — просто впадало в ярость. Тогда с вежливой улыбкой Иван Петрович пояснял: «Я же не учу вас стрельбе по мишеням. И меньше всего мне следует слушать некомпетентные советы».

Врачей в Ташкенте — ему приходилось там часто бывать, — своих коллег, он выслушивал терпеливо, если... сам задавал вопрос. Выслушивал ответ, благодарил, но... поступал по своему разумению, беря на себя всю ответственность.

В Ахангаранской долине и в горах Тянь-Шаня, до самой границы с Китаем, других врачей, кроме него, не имелось.

Табибы, «дуахоны» и прочие знахари в счет не шли. К ним доктор приглядывался, иногда даже советовался насчет целебных местных трав, «китайских» и «тибетских» пилюль, волшебного мумиё, некоторых рецептов знаменитого Абу Али ибн Сино — широко известного в средние века в Европе под именем Авиценны. Через год жизни в кишлаке Тилляу доктор читал труд великого врача Востока Авиценны в подлиннике на арабском языке. Он еще в студенческие годы увлекался лингвистикой и изучал семитические языки, а по приезде в Тилляу начал брать уроки арабского языка у местного духовного главы — муфтия, хранителя мазара Тешикташ.

Способности русского врача к языкам вызвали немалую досаду, но в то же время и почтительное удивление у почтенного священного наставника, знавшего священную книгу ислама коран наизусть. Он зазубривал ее с малых лет, с той поры, когда столь обычная для селения Тилляу болезнь привела его к безотрадной, беспросветной ночи. Но упорство, настойчивость преодолели несчастья, и молодой тогда еще человек сумел найти «дело жизни» в изучении священного писания. Он пользовался далеко за пределами Ахангаранской долины непререкаемым авторитетом в религиозных вопросах. Рядовые настоятели мечетей, как правило, коран

читать-то читали, но не понимали и двух строчек. Основной закон «Конун» исламского вероучения написан по-арабски, а арабский во всем Тилляу знал один муфтий.

Занятия арабским языком в какой-то мере сблизили двух людей с противоположными характерами и интересами. Они даже начали проявлять друг к другу взаимный интерес. Муфтий осторожно расспрашивал хакима-дохтура о детях, так успешно излеченных, о медицинских приемах, о лекарствах... Первоначально весьма враждебно относившийся к открытию в Тилляу амбулатории, он постепенно начал сменять гнев на милость. Однако, когда он «лез» с советами, явно знахорскими — а он отличался характером назойливым и настырным, — доктор без церемоний отвергал их.

В хорошем же настроении, в добродушном расположении духа на замечания посторонних доктор отвечал:

— «Как слепой видит бога, так и бог видит слепого». Есть у вас желание, ваше священство, помочь больному в моем лечении, направьте ваши стопы в мечеть и помолитесь за успех операции. Не превращайтесь в муху, не жужжите над ухом больного. Не отбивайте у него веру в медицину. Тогда ему ничего уже не поможет — ни лекарства, ни аллах. Дело серьезное. Возвращаем свет человеку... И какому! Вашей супруге. Красавице! Во всем Ахангаране еще не было случая, чтобы слепая обратилась за помощью к русскому доктору. А какой случай! Мало того, что ваша супруга должна видеть! Но какими глазами? Прекрасными! Идите же, расстелите свой «намазджой» и... вознесите аллаху молитву.

Что оставалось делать господину муфтию? Он сам вверил здоровье своей любимой жены, недавно привезенной из Ходжента, купленной за бешеный калым, уже проверенным на опыте знаниям русского доктора.

Ведь именно Иван-дохтур почти чудом вернул зрение ему самому и недавно единственному сыну господина муфтия, совсем было ослепшему к десяти годам.

Высокомерие повергается в прах.

Пришлось духовному пастырю идти на поклон к доктору и согласиться на то, чтобы он, кяфир, «открыл лицо» его молодой жены, то есть нарушил самый строгий запрет пророка. Он все время надоедал доктору:

— Не надо поднимать чиммат!

— А как же я буду лечить глаза вашей жене, если я их не осматрю?

— А вы, дохтур, дайте лекарство... Она сама помажет им глаза. И все будет по закону.

— Я уже говорил вам, господин муфтий, что так лечить я не могу. Пусть откроет лицо

— Нет, открывать нельзя.

— Тогда умываю руки... Бедная женщина мне рассказала о характере заболевания, болезнь серьезная, за исход ругаться нельзя, но вслепую лечить нельзя. И чего вы упрямитесь? Женщине грозит слепота, а вы мешаєте ее лечить. Смотрите, будет поздно. И вы сами.. Да, что за упрямство, господин муфтий? Третьего дня я был в вашем доме, в ичкари и, с вашего разрешения,— так мне сказали — осматривал вашу старшую жену. Я поставил диагноз. Дал лекарства. Прописал режим. Все пойдет теперь, бог даст, нормально. Думаю, что никаких претензий ни аллах, ни его пророк вам, как мужу, не предъявят.

Пришлось муфтию сдаться. Однако доктор немедленно удалил его из операционной.

Сгорбившись, бормоча что-то, муфтий удалился, ревниво проверив, остались ли в амбулатории на время операции старшая жена — бошхатын — и тетушки.

Зная повадки и нрав «тилляуского Отелло», доктор приказал одеть их в белые халаты и разрешить им посидеть у дверей операционной.

Уж то, что грозный муж, господин муфтий позволил «открыть» доктору лицо супруги, говорило о многом и, прежде всего, о доверии. Готовясь к операции — к счастью, совсем несложной,— доктор шмелем гудел себе в усы:

Струя фонтана

взлетает вверх!

Но...

всегда падает вниз!

Нет уже, кажется, такого человека в селении Тилляу, который не являлся бы пациентом хакима-дохтура. И лучше помолчать, лучше потерпеть, лишь бы глазки любимой жены смотрели весело и лукаво.

Лучше удар кулака друга, нежели поглаживание руки недруга. А муфтий, наподобие змеи из шкурки во время линьки, вылезал из своего темно-зеленого ишанского халата, показывая, какой он мудрый, ученый, знающий! Стремился показать, какой он друг и великодушный покровитель уруса.

Уход муфтия из амбулатории был более похож на парадное религиозное шествие. Почтенного духовного отца на руках подняли и усадили в седло. Все восклицали: «Аллах акбар!» и проводили ладонями по бородам. За конем рысцей побежала толпа имамов, мулл, дервишей, паломников и нищих. А они по кишлакам Ахангаранской долины бродили толпами: слепцы, хромые, горбатые.

Чем многочисленнее толпа, тем значительнее духовное лицо. Муфтий мог быть доволен — за ним всегда волочился хвост из десятков почитателей и мюридов, югурдаков — «мальчиков на побегушках».

Со дня своего «счастливого исцеления» муфтий сделался знаменитым в Туркестане и за далекими рубежами. Правоверные уже много лет и до того знали, что живет некий хранитель святыни Тешикташ, муфтий тилляуский, что он слеп, своей ученостью и знанием шариата превосходит всех, даже свет очей науки Бухары. И слепота не только ему не мешает, но, наоборот, делает все его суждения полными глубины и значительности.

И вдруг, о, чудо! Знаменитый муфтий прозрел! Чему только не поспешествует аллах, когда речь идет о праведнике и хранителе устоев веры?

Успешная операция, выполненная русским врачом в скромной амбулатории, прогремела по горам и долинам Тянь-Шаня. Убедиться в этом приезжали сюда, в Тилляу, со всех концов исламского мира. Каждый должен был лично увериться, что муфтий прозрел.

Духовное подворье не вмещало паломников. Чайханщики и владельцы пекарен и ошхан — столовых, шашлычных — благоденствовали. Волостной отстроил за три месяца караван-сарай, да такой, какого не имелось на всем тракте Ташкент — Коканд. Господин пристав даже собирался «согнать туземцев» и исправить все мосты на дороге.

Слава всегда поблескивает золотом. Все паломники обязательно несли подношения. Ни одно паломничество не обошлось без садака.

До глубокой ночи муфтий пересчитывал жертвенные монеты. Делал он это в полном одиночестве и с мыслями отнюдь не спокойными.

— Доктор!

Да, целитель и избавитель от ужасного недуга его очень обременял. Ведь каждый день у паломников возникал один вопрос: «Как? Как свершилось чудо?»

Что бы теперь муфтий ни дал, чтобы не было доктора. Неловко тогда все получилось. Надо было все лечение принять от доктора скрытно, тайно, в полном секрете. Да, доктор и не настаивал, чтобы все знали, кто вылечил муфтия. О, если бы он послушался доктора! Тогда можно было бы сослаться на вознесенные к трону аллаха молитвы, на милость аллаха, на чудо, которое свершилось по милости аллаха.

И никаких докторов!..

Был слепым почтенный священнослужитель, но вел правдивую, угодную богу жизнь, был истинным правоверным, и вот сподобился — прозрел. Такое событие свершается только со святыми.

Но муфтий сам упустил возможность приобрести при жизни благодатную святость. Побоялся, что лечение вдруг не получится, что... молитвы не помогут.

Чуда не получилось. Торжествовала русская наука.

И как тяжело было теперь водить самому наиболее почетных паломников к амбулатории и спрашивать разрешения у доктора поговорить с ним о методах лечения глазных болезней.

Хорошо еще, что Иван-дохтур терпеть не мог подобных разговоров и никогда не похвалялся своими успехами. Ему претило такое. И он меньше всего выпячивал свои заслуги в деле исцеления муфтия. Он предпочитал лечить паломникам глаза. А размышления почетного хранителя Тешикташа отнюдь не были просты... Неисповедимы пути твои, о пророк!

Как было бы хорошо, если бы вдруг... если бы что-то произошло и... белое, так мозолившее глаз здание амбулатории исчезло бы. И тогда можно было бы на месте ее построить... хотя бы чайхану. А доктор? Доктор уехал бы в Россию и можно было бы посылать ему письма — раз в год — и кулечек куряги!

Особенно заработала мысль муфтия после того, как приезжий иностранец, живший в саду волостного правителя, заинтересовавшись непонятным паломничеством, заметил:

— О, у нас такой доктор стал бы капиталистом!

Но доктор даже не бывал с тех пор в духовном подворье. Он не желал выслушивать «вынужденные благодарности...» А муфтию он прямо сказал:

— Если вы чувствуете желание поблагодарить, есть простой способ, достаньте для дооборудования амбулатории те самые триста пятьдесят рублей, которые до сих пор я не могу выпросить у господ ташкентцев.

Присутствовавшим при разговоре могло показаться, что с таким почетным духовным лицом можно было бы разговаривать помягче. В таком духе выразился и Сергей Карлович. Доктор дал ему решительный отпор главным образом за то, что тот мнил себя всерьез господином губернатором Ахангарана.

Это уже слишком! Эмир в лице волостного! Епископ — муфтий! А тут еще — губернатор кишлачного масштаба. Не слишком ли много для захолустного кишлачишки Тилляу? Запретил приставу Мерлину заходить в лечебницу:

— Ко мне в амбулаторию не соваться! Вы служите в «помойной яме, именуемой полицией». Еще заразу занесете от своих арестантов. У нас в амбулатории чистота стерильная. Понимаете, стерильная.

Сергей Карлович пыхтел, багровел, но... терпеливо сносил все. Однако при случае по секрету шептал волостному:

— Доктор он знающий, но смотри, Кагарбай, у меня не зевать! Кто у кого бывает дома? Кто лечится?.. Смотри у меня!

Пристава доктор лечил не от слишком приятной болез-

ни — от гонорейной подагры. По указанию доктора, Мерлин ездил в Джизак — на целебные грязи озера Тузкан — вернее его туда отвозили, потому что в то время самостоятельно он не мог передвигаться. «И, представьте,— восхищался пристав,— после трех ванн сел в седло и приехал сам верхом за триста верст!»

Потому пристав к доктору испытывал благодарность, а с другой стороны, и неприязнь: доктор мог рассказать всем о его «стыдном» недуге. Пристав не верил во врачебную тайну.

Иван Петрович отлично раскусил пристава и не желал его видеть вообще. А пристав считал своим долгом наносить визиты докторской семье и часами разглагольствовать о высокой миссии русских в Азии.

Особенно доктор не любил, когда пристав вытаскивал его к волостному или муфтию на «масляхаты». Там обязательно резали барана и устраивались обильные возлияния, чего доктор не терпел. Откровенно обсуждались размеры взяток и поборов с населения. Пристав брал больше всех. Волостной старался не отставать. Муфтий благочестиво ограничивался духовной мздой.

Где падаль, туда бегут шакалы,  
Где горе — там муллы.

#### IV

Окно открылось в мечту.

И с ф а г а н и

Увы! звон лиры

не заглушит барабана,

И аромат амбры

уступает запаху чеснока.

С а а д и

Звуки музыки поплыли в ночь внезапно. Человек упал и замер в болотистой жиже. По привычке. Беглый каторжник должен всего бояться, особенно непонятного...

Не окончательно ли он обезумел? Нет. Он явно слышал.

Сияла ночь. Луной был полон сад.

Сидели мы с тобой в гостиной без огней.

Рояль был весь открыт,

И струны в нем дрожали...

Сильное, звучное лирическое сопрано... и аккомпанемент рояля!

Беглец разбирался в музыке. Его слух не обманул его. Прекрасный женский голос пел в ночи прекрасный романс.

Каторжанин слушал, приподнявшись на руках, и не верил. Галлюцинация, что ли! Он продирался весь вечер через

ангренские камыши по колено в тинистой воде, тело сотрясал озноб, жгуче жалили комары, гнус лез в рот, в поздри, в глаза. Хлюпала вода в чунях. Хорошо, что они худые: вода набиралась и выливалась. Иначе ногу не поднять. До того он ослаб от малярии, от недоедания, от лишений.

Продираясь сквозь колючие тугаи, ползя на четвереньках через топи, ступая по колено в пыль, испытывая непрерывную боль в подошвах ног, он брел от Той-Тюбе по дикой долине, днем раскаленной солнцем, ночью пронизывающей холодом. Скорбный, мучительный путь... И теперь услышать в этих дебрях, в пустыне, в скалистых горах салонный романс, пусть прелестный романс, но... изощренно салонный. Было от чего ошалеть!

Нет! Он не может больше валяться в грязи, прятаться в болоте. Подышать тут, когда... Он встает. Машинально отряхивает на коленях намокшие лохмотья брюк, шагает со стоном. Плетется вверх по почти отвесному обрыву. Срывается, падает. Снова карабкается...

Рояль был весь открыт,  
И струны в нем дрожали...

Музыка все плыла. Сейчас не так громко и четко. И в воспаленном мозгу мелькнуло: «Лезу по обрыву... Поют в доме над обрывом. Обрыв приглушает звуки».

И вдруг счастливая мысль:

«А ведь доктор интеллигент... Очевидно, это у него рояль? Господи, какой я болван! Испугался...»

Взобравшись на обрыв, он не может унять сердцебиение.

Темные, глухие, словно сундуки, дома. Резные колонны мечети на звездном небе. В призрачном свете террасы силуэт головы в чалме, молитвенно приподнятых рук.

Беглец прижимается к холодным, шершавым кирпичам стенки. Откуда ему знать, что это муфтий на террасе мечети и что он отлично слышит каждый шорох и может закричать? И муфтий совсем уже собрался крикнуть, но остался стоять с открытым ртом.

«Сияла ночь... Луной был полон сад...» О! Откуда она исходит?

Муфтий широко раскрывает глаза, еще шире разевает рот, прикладывает ладони рупором к ушам. Бойтся потерять малейший звук, даже самый тихий... Аллах акбар!

Мгновенно он забывает о других подозрительных звуках: шорохе, шарканье.

Странные чувства бушуют беглеца. Он, бродяга, претерпевает адовы муки, изнемогает. А те, за кого он принял крест, за кого он пострадал... наслаждаются музыкой.

В гостиной с мягкой мебелью — именно так он представляет себе импровизированный домашний концерт — за роя-



лем дама с декольтированными плечами и обнаженными белыми руками. Тонкие, с ухоженными ноготками пальчики бегают по клавиатуре. Устремив вдаль дивные — обаятельно дивные! — глаза, дама поет... Перед кем?

В гостиной, куда ни глянь, — сытые, холеные лица. Господа слушатели — в мундирах с аксельбантами, серебряными пуговицами, с эполетами в витых колбасках. Усы наглые, нафиксатуаренные. Щелкают каблуки. Звенят шпоры... Гады!

Боже, о чем он думает?

Проклятые камни врезаются в подошвы. Ноги подгибаются. Как низко он пал в своей зависти!.. Пал духом. Довольно!

Бродяга карабкается через дувал, потому что из окна льется свет — единственный в этом ночном, поглощенном тьмой селении. Он шагает по грядкам, по цветнику. В руку впивается колючка — шип розы... Собаки вдруг взрываются лаем. Он забыл про кишлячных собак. Он стонет от боли, но шагает.

А внизу, в темной пойме, крадется с ружьем-мультиком на плече Мерген. Сейчас он чуть не выстрелил из своего ружья-пушки свинцовой полуфунтовой пулей в человека. Мерген по шороху принял его за кабана — большущего, свирепого секача, валившего напролом через камышовую стену. Прицелился... Пуля наверняка раздробила бы череп прохожему. Уже положил палец на спусковой кручок Мерген... И вдруг... пение. Музыка. Необыкновенная. Такой красоты и силы, что прячущиеся во тьме Канджигалинские горы ответили полновзвучным эхом.

Ружье бесильно опустилось к ноге. Мерген слушал, завороженный. Ничего подобного он не слышал здесь, у подножия ледников, на просторах поднебесных джайляу.

Он любил музыку. Звуки песни напоминали ему переливы горной иволги, трели соловья в чашобе ущелий, задушевное «пит-пилик» певчей перепелки. Но эта ночная песнь была лучше. Так могут петь лишь горные пери скал и водопадов! Разве можно прервать такое райское пение? И он не выстрелил. Он даже не поинтересовался, что за кабан... Кто там ломится через болотные камыши и колючие тугаи.

Голос ворвался через открытые резные ставни в белоалбастровую мехмонхану волостного.

Здесь шумело бурное застолье. За дастарханом пировала вся горная знать. Чалмоносцы сидели, развалясь на шелковых — адрасных — курпачах, упираясь локтями в пуховые ястуки. Незаметно распускали поясные шелковые платки на животе. Рыгали. Беседа сникла от сытости.

Склонившись, из-за спины, мирза шептал на ухо Қагарбеку:

— Человек ходит по тугаю, под обрывом. Видели его днем. Одежда в лохмотьях. Лицо заросло... Хромает. Не тот ли?

Рояль был весь открыт, и струны в нем дрожали...

Что это? Откуда такое пение? Все подняли бороды, округлили глаза...

— Рояль? Нима бу? Что такое?

— Такой большой сундук с музыкой... у доктора.— Волостной оживился, забыл про мирзу и подозрительного бродягу. Принялся важно объяснять: захотелось свою ученость показать, похвастаться тем, что повидал в Петербурге, в Стамбуле, в городах Германии. Музыку разную в шантанах слушал. Певиц... Женщины какие!

Гости почтительно восклицали: «Вах-вах!»

Мирза отодвинулся к стенке: нельзя прерывать начальство.

А в гостиной докторского дома у рояля Сергей Карлович Мерлин галантно перелистывал ноты. Он удостоился слушать салонные модные романсы в исполнении артистки Императорской Марининской оперы! Настоящий, подлинный талант! Меццо-сопрано, которое даже в Италии получило лестные отзывы.

Пристав слушал с восторгом. Он знал, что Ольга Алексеевна, выйдя замуж, отказалась от карьеры примадонны и уехала с Иваном Петровичем в Туркестан. Сергей Карлович знал толк в женщинах. Но для него было непостижимо, как могла обворожительная женщина бросить Петербург, Европу, вышший свет и с докторишкой, вахлаком отправиться в азиатские пустыни нянчиться с мужем, воспитывать детей и чахнуть под знойным солнцем.

Да, есть вещи, не поддающиеся объяснению! По крайней мере, с точки зрения самоуверенного полицейского офицера, бывшего гвардейца пристава Мерлина.

И струны в нем дрожали...

Он настороженно переворачивал листы нот именно в нужном месте, потому что он любил хорошую музыку, разбирался в ней и умел испытывать подлинное удовольствие «от божественных звуков, лившихся из серебряного горлышка неземной исполнительницы».

Очарованный, ошеломленный, он мог лишь восторгаться...

Горы, пески, камышовые джунгли, комариные болота.

И вдруг!

Жесткий, черствый немец-полицейский был восхищен. Несколько деревянный по натуре, но в меру мечтательный. И ему некогда было думать ни о чем другом. Он даже не заметил возникшей в дверях растерянной, испуганной Гульби-

ки. Она поманила сидевшего на тахте доктора, наслаждавшегося концертом и успехом жены. Доктор встал и на цыпочках подошел к дверям.

Они пошептались, и доктор вышел.

Пристав и этого не заметил. Все внимание занимала ночная страница, чтобы перевернуть ее в нужный момент,

В черной мгле под террасой стоял сильно ссутулившийся человек. Услышал шаги. С облегчением выдохнул:

— Доктор!.. Наконец я добрался к вам! Вы узнали меня? Я геолог. Георгий.— И, застонав, упал.

Пристав, стоявший в двух шагах у распахнутого настежь окна, ничего не услышал. Он аплодировал.

— Божественно! Bravo! Bis! Умоляю, повторите!

Певица не заставила себя просить. В полированной доске деки она, как в зеркале, видела все происходящее в гостиной: появление няньки, испуганное выражение ее лица, осторожный уход доктора.

Ее мучало любопытство, но она пела:

Стояла ночь... Луной был полон сад...

И еще один слушатель нашелся в ночи.

Всадник скакал нетерпеливо, стремительно по каменистым горным тропам над долиной. Рождавшийся далеко в ущельях ветер ледников охлаждал воспаленный лоб под лисьим мехом шапки, горящие щеки.

Всадник гнал коня. Он готов был сокрушить скалы, переплыть реки, пробиться сквозь чащу, но он не встретил того, кого ждал. Он был в ярости — натура нетерпеливая, не терпящая неудач.

И вдруг:

Рояль был весь открыт,  
И струны в нем дрожали...

Всадник резко сдвинул лисью шапку. Кончики пальцев судорожно коснулись ласкового бархата.

О, он слышал божественные мелодии — в Вене, в Париже, в Александрии! Он бывал в лучших оперных театрах мира! Но такого голоса он не слышал и там. Поразительно-го голоса, заполнившего гигантскую долину и перехлестнувшего горные хребты.

Всадник рванул узду. Конь, обиженно замотав головой, монументом на сером фоне неба замер над обрывом. Где-то внизу зеркала рисовых полей отражали только что взошедшую над вершинами Тянь-Шаня луну. Кишлак темной массой слепых построек лежал под ногами между основанием обрыва и поблескивающими зеркалами рисовых чеков, Один

лишь четырехугольник яркого света выделялся там, внизу. Именно оттуда плыли звуки музыки — нарастающей, звонкой, бравурной...

Тысячи мыслей рождала мелодия:

Любовь.

Мечты.

Счастье.

Борьба.

Опьянение.

И призыв к борьбе!

Призыв к ниспровержению деспотий в сражении на поле боя!

Велика сила музыки над чуткими, экзальтированными душами.

Всадник стремительно извлекает саблю. Над головой его словно вспыхивает молния. И долго еще он слушает, долго смотрит на зеркальную гладь полей. Но взгляд его все ищет, Ищет человека.

## V

От беды не ограждены именитые.  
Опасности не знает дело тех, кто  
лишен ценности.

Н и з а м и Г я н д ж е в и

В тот весенний вечер Ольга Алексеевна шила детский костюмчик: в Тилляу ни портных, ни портних не имелось. С грехом пополам овладевала она портняжным искусством.

Шитье прервал стук копыт. И тут же во двор ворвался на взмыленном коне джигит. Соскочив с коня, он тыкал в руку ханум-дохтур пакет и бормотал: «Сирочно! Сирочно!»

И действительно, на запечатанном сургучными печатями пакете имелась надпись: «Срочно! Секретно!»

Джигит с земным поклоном, пятясь, удалился, а ханум-дохтур вертела со всех сторон пакет, и у нее на сердце кошки скребли.

Не любила, просто ненавидела Ольга Алексеевна эти поездки Ивана Петровича «на вскрытия». Даже мысленно не могла она представить мужа в роли анатомопатолога... Какое ужасное занятие! Ему, призванному лечить, облегчать участь живых, нести счастье... и копать во внутренностях жертв злости, жестокости, зверства! И потом... сколько опасностей подстерегает одиноких всадников в скалистых горах, темных ущельях, на обледенелых перевалах!

Лечить, помогать страждущим — дело благородное. Но, помимо лечения всевозможных, порой невообразимых болезней, на земском враче лежала неприятная обязанность —

производить судебно-медицинские вскрытия. Они случались во все времена года. Но больше всего было «подснежников». Чуть ли не еженедельно весной в ворота стучался джигит с растрепанной, сползшей набок чалмой, с выпученными глазами, разинутым ртом.

— Опять,— спрашивал, хмурясь, доктор.

— Нашли!— заговорщически шептал джигит.— Еще пре-секся жизненный путь одного.

— Гасан, по коням!— по-военному командовал доктор.— Седлаты!

Время тянулось в ожидании прихода Ивана Петровича ужасно медленно. Часовая стрелка приросла к циферблату и ни за что не желала двигаться дальше. Маятник сцепился со стрелками. Рука тянулась к часам — подтолкнуть время.

Снова она села за шитье. Вот и штанишки совсем готовы. Встряхнув ими и полюбовавшись своим искусством, Ольга Алексеевна совсем нечаянно взглянула на часы. Стрелка подвинулась всего на полчаса. Не отстают ли часы? Не сверить ли их с будильником? Но, увы, будильник показывает то же время. Всего десять утра. А доктор возвращается в час. Три часа ждать, и все время думать о злополучном: «Срочно! Секретно!»

Шитье отвлекает, занимает время, но «Срочно! Секретно!» маячат перед глазами. Что такое приключилось?

Наверное, опять вызов на вскрытие. Куда-нибудь за сотню верст... Но почему так важно: «Срочно! Секретно!» А время ползет. Половина двенадцатого. Двенадцать! Чего тут не придумаешь?

Но вот стукнул засов калитки. Шаги. Ольга Алексеевна бросается навстречу.

— Вот, прочти! Опять на вскрытие?

С философским спокойствием доктор берет пакет и уходит переодеваться. Переодевается он, по мнению Ольги Алексеевны, бесконечно долго. Опять нетерпеливый взгляд на часы. Боже! Прошло всего пять минут.

Обед на етоле. Ольга Алексеевна с сыновьями ждет главу семейства. У Леши горят щеки, Миша и Сабир (Баба-Калан) недовольно надули губы и барабанят ложками по краю стола. Они обладают аппетитом Гаргантюа, и ждать не в их привычках. Бледный Касым равнодушен, как всегда.

За обедом напряженная обстановка. Миша и Сабир сосредоточенно уплетают шурпу. Алеша не смолкает ни на минуту. Бесчисленные «почему? отчего?».

Но доктор его не обрывает... Терпеливо отвечает.

После обеда Ольга Алексеевна идет за доктором в его кабинет. Она настроена решительно. За столом при детях, конечно, не полагается разговаривать о служебных делах, но есть предел терпению.

Доктор предупреждает вопрос. Показывает глазами на распечатанный пакет и спокойно говорит:

— Оля, это не вскрытие. Я должен уехать в Ташкент, дня на два. Вызывает сам... Не говори ничего. Я уже обо всем позаботился. Бояться тебе нечего. К нам придет ночевать наш старичок фельдшер. А я, уверяю тебя, вернусь цел и невредим. Уезжаю я сегодня же.

Он решительно вышел, чтобы избежать дальнейших вопросов. Ханум-дохтур побрела уныло за ним. Одно утешение, что муж едет не в дикие дебри, а в Ташкент. Надо браться за сборы. Теперь время летит быстро. Стрелки будильника мчатся как бешеные. Да и вечернее солнце уже заглядывает оранжевым блюдом со стороны террасы в окна.

Едет доктор после ужина. Во-первых, надо было пойти в амбулаторию и заняться больными. Во-вторых, лучше ехать по холодку. Доктор считал себя уже старым туркестанцем, а туркестанцы знают, что подвергаться прямому облучению солнца вредно.

Быстро темнеет.

— В кровать! Ребята, быстро! Спать!

И, конечно, не так уж быстро услышишь от озорников ответное «спокойной ночи!». Еще надо попрыгать, поозоровать. Тем более, что во дворе стучат копыта коней, бегают джигиты, гремят ведра. Все озабочены, все торопятся.

Разве охота забираться в постель, когда столько событий.

Озабоченный Иван Петрович заглядывает в спальню:

— Да, чтобы не забыть. Ночью приезжает Сергей Карлович. Его сынок уже приехал... Остановился у волостного.

— Ну и пусть приезжает,— с досадой говорит Ольга Алексеевна.— Мне-то что...

Она занята укладыванием ребят. Она не может утишить досаду. Отъезд Ивана Петровича ее беспокоит, раздражает.

— Я напишу тут... записку. Прочти. Ты прочтешь и поймешь. Ее передашь... утром.

— Кому передам? Говори пояснее. Этот отъезд... Какие-то записки. А меня бросаешь одну с ребятами.

Она разговоривает по-французски. Детям не обязательно все слушать. У нее на глазах слезы. Губы складываются в плаксивую гримасу.

— Ради бога! Не волнуйся. Укладывай их. Я сейчас.

Он выходит.

— Мама, смотри — веревка,— зовет старший сын. Он тянется к блестящему, полосатому шнуру, перекинутому поперек белоснежной кровати.— Мама, я возьму поиграть в лошадки.

— Не смей трогать! Ради бога! Это гадость!

Инстинктивно Ольга Алексеевна оттаскивает в сторону сынишку и зовет:

— Жан, Жан! Скорее!

В голосе ее ужас. Доктор стремительно с писчей ручкой и листком бумаги появляется на пороге.

— Не отвлекай же меня!

Близоруко наклоняется над кроватью и разглядывает шнур. Холодок ползет по спине. Шнур вдруг приподнимает один конец. На конце — голова. Змеиная. Раздвоенный язычок трепещет в пасти. Раздается шипение.

— Змея!

— Настоящий илон! — весело кричит Сабир. В глазенках его нет и признаков страха.

— Стоп, — говорит доктор и ищет глазами, чем бы ударить. Непроизвольно он взмахивает писчей ручкой. Но змея не ждет. Извиваясь на белоснежной простыне, она исчезает в пространстве между кроватью и глиняной, грубо оштукатуренной алебастром стеной.

Ольга Алексеевна и сам доктор молчат. Надо же пережить такое! Первая мысль: «А сыновья!»

Ведь еще мгновение — и Лешу уложили бы прямо на змею. «А змеи здесь смертельно ядовитые», — думает доктор. Доктор только пытается сказать что-то успокоительное жене, как раздается почти истерический возглас:

— А это еще что такое?!

На стене, рядом с золоченой рамкой картинки, изображающей розоволикого пухленького амура, расположилось на алебастровой резьбе отталкивающее ракообразное насекомое.

— Обыкновенный скорпион! — успокоительно бормочет доктор. Быстро зажигает свечку и пламенем ее трогает насекомое. Скорпион свертывается клубочком, сваливается на полог и ползет.

— Сейчас принесу спирт!

Ольга Алексеевна осталась одна наедине со скорпионом. Ой! Куда ползет эта дрянь? Она отбросила скорпиона от края кровати.

Вот-вот уползет. А доктора нет. Наконец он вбежал. И скорпион оказался в пробирке со спиртом.

— Разве ты... ты человек?.. — с обидой говорит Ольга Алексеевна... — Уезжаешь на ночь, когда...

А во дворе кони уже нетерпеливо грызут удила. Ржание звучит призывно. Мальчишки срываются с постелей и в одних длинных рубашонках выскакивают на террасу. Вперед — Сабир и Миша.

С видом индийского раджи Гасан уже восседает в седле, препоручив докторского коня молодому джигиту. Доктор прощается с сыновьями. И Сабир и Миша обязательно должны посидеть в седле.

Крики, протесты! С трудом их стаскивают на землю.

Целуя жену, Иван Петрович вполголоса говорит ей:

— Успокойся... Немного оторвемся от прозы быта. Запомни очень важное. Завтра надо успеть известить... предупредить Сахиба, чтобы не въезжал в кишлак... с тем... с Георгием Ивановичем. Меня не будет. Приезжает Сергей Карлович. Неспроста... Что-то, видно, пронюхал. Пусть Сахиб увезет Георгия Ивановича к себе в горы. Вернусь — сам поеду к ним. Буду там лечить. Здесь прямо засада какая-то, Все в записке. Не потеряй.

Поцеловав еще раз жену, доктор лихо, по-кавалерийски — чем вызвал восторг джигитов — вскочил в седло, козырнул и по-молодому погнал коня на улицу. А Ольга Алексеевна осталась одна с малышами и с вечно ворчащей Гульбикой.

Ребята, такие же розовые, как амур на картинке, мирно посапывали в постельках. И не снились им никакие змеи и скорпионы. А мать ежеминутно заглядывала в детскую: не пробирается ли к ним какая-нибудь ползучая или прыгучая ядовитая нечисть?..

Но не все же предаваться печалям и страхам. Предстояла масса дел. Прежде всего, надо было пересмотреть и пересчитать цыплят, просмотреть и заделать заграждения, чтобы дикие тилляуские коты не наведались.

Время шло. Удивительно быстро пришла ночь с почти мгновенной сменой яркого сияния дня крошечной темнотой. А с темнотой возникли и страхи. Отважившись, преодолев колебания, Ольга Алексеевна решительно спустилась в сад. Она ходила по дорожкам, проложенным по личному распоряжению волостного в те дни, когда он еще был расположен к доктору, и не просто прогуливалась, а... выбирала место, куда она будет прятаться с детьми на случай...

Молодой женщине мнятся всякие страхи: пустынные ущелья, спящий мертвым сном кишлак на краю света, шемящий собачий лай, беглые каторжники... Вооруженные личности в мохнатых шапках лезут через забор, взламывают окна в мехмонхане, гонятся за ней. А она с Мишей, цепляющимся ручонками за юбку, спешит в конюшню.

От таких мыслей ей хочется кричать, звать на помощь.

И потом — записка Ивана Петровича, спрятанная за корсажем, жжет грудь раскаленным угольком.

Ветви карагачей шумят и поскрипывают. Гудят тучи комаров. За дувалом заливаются трелями лягушки.

Довольно мирная, совсем обычная картина кишлачного вечера. Вот и муэдзин прокричал с минарета призыв к полному намазу. Вдалеке откликнулся другой, потом третий. Этот всегда запаздывает. Гасан утверждает, что третий курит слишком много опиума. Вечно не в себе. И прихожане очень недовольны.



Да, но куда прятаться? Куда? Впрочем, Алеша прятаться не собирается. Он проснулся и требует напоить его чаем и накормить. Мальчик очень серьезный. Темноты не боится и маминых страхов он не понимает.

И тут из темноты выступает странная фигура. Это Матвейч. Он опирается на свою излюбленную трость. А за Матвейчем из тьмы сада — нечто вроде паланкина из индийской сказки — целое непонятное шествие. Только тут удается разглядеть, что это не паланкин, а не что иное, как кровать с пологом. Да, самая настоящая, огромная двуспальная кровать с периной, застланная одеялами. В изголовье водружается целая пирамида пышных подушек. В темноте кровать белеет, и над ней светятся никелированные шишечки и столбики. Роскошная кровать! Удобная. Да, сразу видно, что старик фельдшер ценит удобства и умеет отдыхать по-царски. Отправляясь охранять покой и сон семейства доктора, он не захотел расставаться со своим ложем. Несли кровать служители больницы: санитар, санитарка, повар и уборщица. Важно вышагивая, Матвейч раскланялся с вежливостью вельможи двора хана кокандского.

— Разрешите, мадам?

Беличественное сооружение установили в небольшой застекленной беседке в конце террасы.

— Тронут вашей любезностью! — рассыпался Матвейч. — И прохладно, и комарья поменьше, и скорпионы — не люблю эту тварь — не заберутся. Благодарствую.

## VI

Лечить гниль гнилью. Порок — пороком.

А ш Ша ф и

При одном имени его трясутся от страха поджилки у шахов и самых храбрых из героев.

Ф е р д о у с и

На террасе Гульбика хлопотливо сервирует стол. Сияет начищенными боками семейный, разгоняющий страхи и тревоги, самовар.

Фельдшер Матвейч предается чаепитию.

Над горами вошла луна, а он все еще пьет чай и рассказывает всякие истории про «разбойников» в лисьих меховых шапках, которые всюду мерещатся Ольге Алексеевне.

И снова пробуждаются старые страхи, тем более, что, балансируя блюдечком с чаем на кончиках пальцев, Матвейч принимается озираться на призрачные тени сада, чем очень пугает молодую женщину.

Все еще не осушив блюдечка, Матвейч наклоняется через стол и шепчет загадочно и многозначительно:

— Иван Петрович приказали: господина Сахиба в амбулаторию и через порог не пускать. Сахиб — пациент тароватый. Всякое такое... А тут — не пускать. Сказал мне Иван Петрович по секрету: «Приедут, скажи — не задерживайтесь у нас в Тилляу. Здесь лечения не будет... Уезжайте. Не мешайте! С медикаментами плохо!»

Ворчун Матвейч, а доктора никогда не осуждает. Вот и сейчас он только недоумевает. Доктор всегда приказывал: любому больному, кто бы он ни был, оказать помощь. А тут? Непонятно.

— Господи,— шепчет почти неслышно, пряча лицо за самоваром, Ольга Алексеевна.— Кругом тайны... Заговоры...

С болью в сердце она думает о муже: мало ему его каторжной работы, а тут еще политика!

Слезы вдруг заполняют глаза и скатываются по нежным щекам.

Наслаждаясь самим процессом чаепития, Матвейч не замечает, что молодая женщина расстроена. Он склонен поговорить, а тут такой благодарный слушатель!

Фельдшер очень не любит волостного. В семье доктора в последнее время к Кагарбеку относятся настороженно. Матвейч замечает это. И оттого так скоро «взбирается на любимого конька» и, оставив блюдечко, бросает сердито:

— Верблюд — наш волостной. Хам...— И, растягивая слова, с презрением:— Сте-епно-о-й ба-а-рин...

Отец Матвейча из крепостных, и все, что напоминает о барах, вызывает у фельдшера возмущение.

Продолжает свою речь он очень таинственно и серьезно:

— Охотник, которого Иван Петрович от язвы избавил... объездчик Мерген, в горах живет. Горная жизнь вкус к свободе развивает, самостоятельность. Гордость... Ну, а наш верблюд, волостной то есть, не терпит, ежели кто поперек идет. Хам и деспот. Помещик орловский. У Мергена, знаете, с чего язва образовалась? Не знаете? То-то и оно. А мы с Иваном Петровичем сразу определили: не язва то, а ранение-с. Холодным оружием... Пол-икры долой!

Матвейч переходит на таинственный шепот. Может быть, тем самым он предостерегает Ольгу Алексеевну, что с волостным нужно быть настороже?

— Наш верблюд в золоте, волостной то есть,— жнет, не посяев. У Пардабая забрал прямо с хирмана урожай риса — до последнего зернышка. Знаете Пардабая? Дочка у него та самая, которой Иван Петрович операцию сделал. Отец-то в кабале у золотого верблюда, а тот уже давно хочет дочку к себе в ичкари забрать. Юлдуз ее зовут. Да вы знаете... Дочку

отец не отдал. Верблюды наш, извините-с за выражение,— бабник, жеребец стоялый. Пардабай отослал дочку в горы, спрятал. За то он отнял у Пардабая урожай. Помирай с голуду! Пардабай с поклоном, с мольбой— к Сергею Карловичу. А у пристава с волостным печки-лавочки, он Пардабаю синяков понасажал.

— Не может быть! Сергей Карлович разве позволит себе такое?

— Сергей Карлович — интеллигент, но... отделал Пардабая в самый раз... по всей форме. Пардабай — в горы к Мергену, охотнику. Тот у простого народа вроде в заступниках ходит. Все жаловаться к нему бегут. Он на коне, с берданкой. К тому же губернский служащий.

— Мерген? Он мне очень нравится.

— Мерген — заступник. Где бедняку помочь, он тут как тут. Сел на своего гнедого. Приехал ночью в Тилляу со своей берданкой... И не один. Друзей-чабанов нашел — и прямо к амбару золотохалатника нашего... Ночью? Нет, какое там! Под утро. Светать начало. Подъехал — и камчу под нос сторожу: открывай замок! Забрал зерно — тютелька в тютельку, сколько волостной у Пардабая с тока увез. В большие полосатые мешки засыпал — и на верблюдов. Они с собой верблюдов привели... На! Верблюд в парче и шелке, выкуси! И еще сторожа предупредил: скажи, сам горный джинн рис забрал! Через весь кишлак, через базар проехали. Впереди Мерген на своем гнедом, эдаким полковником с казенной берданкой. За ним чабаны с «тулками». «Вооруженный грабеж» — это Сергей Карлович сказал потом. Ну, а за ними верблюды идут, покачиваются, и свое верблюдиное «аберебеде!» болтают, над верблюдом в золотом халате по своему посмеиваются. И увезли зерно. Весь базар шепчется до сей поры. Пардабай теперь в своей халупе жирует: знает, никто его теперь пальцем не тронет. И дочка Юлдуз ходит нос кверху, глаза-звезды... щечки-гранаты...

— Не знала... Живем рядом. А нравы у нас кавказские! Но все хорошо, что хорошо кончается.

— Мадам, прошу извинения, — продолжал Матвейч. — Вроде только начинается. Значит, история вроде такая...

Он снова понизил голос:

— Язва отсюда идет!

— Как так?

— Вот то-то и оно... Язва, которую Мергену вылечили. А вот так: золотохалатник-то наш до поры до времени приуныл. Пардабая-батрака в покое оставил. Пусть-де «жирует» да ширгуручем — каша такая, рисовая, с молоком да маслом, — объедается. А лесному объездчику, охотнику нашему, не спустил. Поехал со стражниками в его ущелье. Отсюда дым видно на горе... Да смотрите! Вон там огонек. Костер у

Горного убежища — так хижину Мергена все называют. Вон красный огонек подмигивает... Нет, левее...

Где-то в небе, над спящим кишлаком Тилляу, действительно, споря со звездами, чуть теплился красный огонек. Ольге Алексеевне стало почему-то жутко. А Матвейч продолжал тем же таинственным шепотом:

— Поехали. Подстерегли за камнями. Что там было, в подробностях, догадываюсь, а точно неизвестно. Драка, конечно, а вернее, бой. Трое на одного...

— Боже! И значит?..

— Иван Петрович не говорил вам. Покоя лишать не пожелал. Волостному — плечо... Парчовый халат волостному пришлось после штопать да повязку гипсовую на плечо накладывать. Волостной жаловался потом, что об камень стукнулся.

— Что-то Жан рассказывал про... волостного. Ездил к нему в дом.

— А Мурадджану-то... стражнику, извините-с, из того места, откуда ноги растут, пулю муфты — он у нас еще и табиг — вытаскивал. По сию пору стражник Мурад ногой мучается. Не позволил ему волостной к Ивану Петровичу идти, по форме ногу лечить. Побоялся. Пошла бы история с географией по базарам ходить, с ноги на ногу переваливаться, что волостной правитель со своими, втроем, — на человека напали. Да на какого? На государственного... при исполнении службы. Как звери, кинулись!

— Ужасно! На такого замечательного человека! И за что? За то, что помог восстановить справедливость? Что они с ним сделали?

— Сам золотохалатник Мергена саблей зацепил. На то у волостного на боку всегда сабля в бархатных ножнах, соответственно должности и чину. Саблей, конечно, он фехтует плохо. Машет больше. Но опять помнить надо: втроем — на одного. Ранил он в ногу объездчика. Да тот не сплеховал, саблю отобрал и волостного его же оружием по плечу... Герой! Да не доглядел. Стражник его со скалы спихнул в пропасть. На дне — поток, пучина адова... Концы в воду.

— Какая страшная история! А мне Жан ничего не рассказывал! Говорил, как шло лечение язвы. О, значит, им не удалось... Мерген спасся. Как хорошо!.. И ведь теперь совсем здоров. Не правда ли?

— Здоров-то здоров... А язва с чего? От раны. Мерген упал с высоты колокольни. Счастье, не разбился, в воду упал. В самую стремнину. Вода снеговая. Лед! Пока Мерген выплыл, да оклемался, да обсушился, да до людей добрался... Выломал сук. Костыль не костыль, а до юрт добрался. Пять дней полз... Рана-то и загноилась. Разболелся объездчик. Месяца два-три в юрте лежал, айран пил, курт, сыр

такой сушеный, ел. Крови много потерял. Еще на теле ран десять было. Ну там табиб горный раны ему травками залечил. Затянулись они, а вот на ноге... трофическая язва, поученому называется, никак не заживала. Даже Мерген в Коканд, что ли, ездил... Не помогло. К Ивану Петровичу обратился. Ну, а остальное вам известно.

— Значит, волостной... Какой мерзавец! И сюда нос сует. Не оставил своей мысли. Какой мстительный! Жан вернется, обязательно с ним поговорю.

С достоинством перевернув чашку, Матвейч сказал:

— Благодарствую, а золотохалатника остерегаться надо. И Сергей Карлович, пристав наш, с ним заодно. Так-то, мадам. Прощения просим!

...Из беседки уже давно слышится мощное гудение — «во все носовые завертки». Спит сном праведника Матвейч. Железные у него нервы. Пренебрегает он своими страхами. Его мощному храпу вторит тонкий храп из «пашшаханы» около кухни, в которой почивает Гульбика.

Кишлак затих. Пахнет сухой лёссовой пылью. Изредка где-то нет-нет и тявкнет собака.

Но, боже! Что там такое? Меж карагачей скользнула тень...

Промелькнула мысль: «Я в темном платье. Меня не увидят. Но что делать? Бежать в дом, хватать детей, прятать-ся... или будить Матвейча?»

Тень больше не появлялась. Ольга Алексеевна вглядывалась в тьму сада. Выползшая из-за облачка луна лишь усилила страхи: каждый куст мнился теперь притаившимся злодеем, только и выжидающим удобного момента. За каждым стволом дерева притаился кто-то...

И вдруг, как нарочно, над крышами кишлака — вопль... кричит дико, ужасно женщина. Что такое?!

И тут на вопли... Мужские голоса. Топот коней. В небе огненные сполохи. Страшно.

И все тут же затихает. Еще долго лают собаки. Ольга Алексеевна приходит в себя.

Но все тихо... Только что весь кишлак словно с ума сошел, а теперь... Тишина!

Боже, что это было?..

Лягушки издавали громкие трели. А тут еще филин — бай-оглы — заухал, застонал. Жуть! А ветви деревьев шуршат, шепчутся: «Берегись, женщина! Здесь все дико, угрожающе! Остерегайся!»

Ольга Алексеевна оцепенела, застыла. Не могла заставить себя шевельнуться. Так и стояла в отчаянии, вглядываясь до боли в глазах в ночь, вслушиваясь в шепоты сада.

А полная желтая луна равнодушно подмигивала с небес: вредно слушать на ночь страшные истории Матвейча.

## VII

И единый дирхем заставляет спуститься ангелов с небес на землю, а самого Иблиса выбраться из преисподни.

И б н а л Х у д ж а н д и

Память о чести останется в наследство потомству, пока текут века и уходят поколения.

А б у Ф а и з

В самом скверном настроении хаким-дохтур возвращался из города в Тилляу. Причин было много.

И главная из них — прием у генерал-губернатора. Прием походил на фарс. Оказывается, их высокопревосходительство наместник ак-падишаха в Средней Азии, властелин целой колониальной империи, пожелал лично повидать скромного врача сельской больницы, чтобы в длинной и маловразумительной речи, — в которой было много возвышенных словес о долге цивилизованных народов перед «туземцами, погрязшими в темноте и невежестве», о всемилоштивейшем благоволении их императорского величества, — попросту отказать в ассигновании трехсот пятидесяти рублей для тилляуской сельской больницы.

— Видите ли, начинание ваше, Иван Петрович, прекрасное. Но мы хотели бы поощрить местных благотворителей и возместить из казенных средств ту скромную сумму, которой вам недостает, чтобы закончить это, так сказать, доброе дело. Но, знаете ли, вам следовало заблаговременно поставить нас в известность официальным путем о вашем прекрасном начинании. А также сообщить, какие суммы вносят местные богачи, баи, и сколько, по-вашему, понадобится средств сверх пожертвований? Нам доложили, что благодаря проявленной вами энергии и пушенному среди влиятельных лиц подписному листу собрано, — тут генерал-губернатор подошел к столу и взял в руки лист бумаги, — гм... гм... собрано... тэк-с... одна тысяча триста восемьдесят три рубля шестьдесят две копейки. Не правда ли? И если не ошибаюсь, эти суммы уже истрачены? А вы, Иван Петрович, проревизировали расходы? Не возникнут ли нарекания со стороны жертвователей? Это было бы весьма прискорбно. На нашу администрацию и так есть немало нареканий.

Доктор позволил себе перебить их высокопревосходительством:

— Разрешите доложить: все средства пошли на уплату за материалы, как-то: кирпич, цемент, бут, известка... Здание, вернее, пристройка уже возведена. Средства в сумме трехсот пятидесяти рублей требуются для закупки медицин-

ских инструментов и пополнения аптечки необходимыми медикаментами.

— Простите,— проговорил генерал-губернатор,— а рассчитались ли вы с рабочей силой? Было бы очень неприятно, если бы возникли претензии. Вот здесь господин пристав пишет... «Вот в чем дело»,— подумал доктор,— оказывается, недреманое око Сергея Карловича не теряет нас из виду. Что этот мерзавец мог написать в своей подлой бумажонке?»— Да, так вот, господин Мерлин отмечает в своем рапорте, что рабочих на строительство амбулатории привлекали бесплатно. Вам не кажется, что это могло вызвать недовольство, скажем, нежелательные пересуды... волнение умов, так сказать... Не хорошо-с...

— Строили лечебницу по древнему, широко принятому здесь, в Туркестанском крае, обычаю. Он называется «хашар». Это когда все население собирается и выполняет работу скопом. Нечто вроде нашей славянской задруги. Мы тоже применили этот способ. Все расходы ограничились пропитанием строителей. То, что закупалось из продуктов... На все израсходованные суммы в отчете имеются счета и акты.

— Но мы уклоняемся... А люди, туземцы? Ведь ленивый народ! Добровольно? Бесплатно? Работать на эдакой жаре?

— Народ Ахангарана за эти годы понял пользу медицины. Лечиться приезжают из самых далеких аулов и селений... и даже из других областей. Когда мы бросили клич, из всех кишлаков приходили посменно добровольцы, по десять-пятнадцать мардикеров, и работали. Лентяев что-то не замечал. Работа шла живо, споро. Всем хотелось поскорее увидеть новую «шифохану»—«дом здоровья»...

— Мм... не хорошо-с. Что ж, разберутся в нашей канцелярии. Тогда и подумаем о включении в смету испрашиваемых сумм. Но нам хотелось бы просить вас, Иван Петрович, впредь прибегать к подобным мероприятиям, предварительно согласовав их с соответствующими инстанциями. Да, кстати, кто такой у вас в горах... гм... гм...— на сей раз их высокопревосходительство обошелся без заглядывания в листок, лежавший на столе.— Да, вспомнил... Сахиб? Вы его знаете? С кем он водится?

Явно, пристав Мерлин что-то «унюхал». Доктор поспешил заверить, что Сахиб — богатейший скотовод.

— Благотворительность почитает обязанностью правоверного мусульманина. Половину названной вашим высокопревосходительством суммы внес именно он. Половину срока всех работ он пригонял жирных баранов. Наконец, сделал все благодеяния Сахиб из религиозных соображений и в благодарность за то, что лечился. И был вылечен именно в амбулатории кишлака Тилляу.

— Хм... хмм...

Это все, что услышал на прощание доктор в кабинете их высокопревосходительства генерал-губернатора Туркестанского края.

Деньги на достройку амбулатории выделены не были. Зато доктор был удостоен приглашения на обед лично к их высокопревосходительству, что являлось в те времена большой честью.

«Не нравится мне все это,— думал доктор, возвращаясь к себе в Тнлляу.— С чего бы это генерал-губернатор занялся нашей больницей? И зачем понадобилось ему совать свой нос во все мелочи, даже в шестьдесят две копейки? Нет, дело здесь совсем не в медицине... Сахиб... Понадобилось же ему в подписном листе вкатить эдакую сумму, да еще под своей фамилией. Вот оно честолюбие! Всех Сахиб перекрыл. И обратил на себя внимание.

Иван Петрович безостановочно гнал своего коня. Даже возымел намерение проехать все сто верст до полуночи. Он не считал это подвигом. Частенько ему приходилось делать по шестьдесят-восемьдесят верст в день.

Но доктор вдруг понял, что ему надо быть дома, как можно скорее. И что, может быть, даже то, что его оставили на официальный обед, сделано неспроста.

Впрочем, у страха глаза велики.

Не совсем понял доктор и замечание, которым сопроводил их высокопревосходительство крепкое рукопожатие после обеда:

— Да-с, тут мы вас очень хвалили, заверили, что в вашей волости... в долине Ангрена дело санитарии и гигиены поставлено на высоту. И что к вам, в ваши горы, можно ехать, не опасаясь никаких там проказ, желтых лихорадок, черных осп. И прошу, тут один из-за океана... американец к нам собрался. Вы уж, в случае чего, полечите этого «янки», окружите его заботой и, хэ-хэ, медикаментами покрепче, чтобы он потом не развел у себя в газетах... всяких подлостей о нашем крае. Надеюсь на вас.

«Еще не хватало! Американец? Откуда ему взяться? И чего ему понадобилось в наших Канджигалинских кручах и ущельях?»

Настроение у доктора было неважное. «Американец? А не из жандармского ли он ведомства, сей американец?»

Впрочем, очень скоро он убедился в полной необоснованности своих домыслов.

Погруженный в свои мысли, доктор ехал по привычной, разбитой и пыльной дороге довольно долго. Очнулся он от грозного шума. «Опять Ангрэн показывает характер!» Он даже не взглянул на неизменного своего спутника Гасана, едет ли тот за ним, и начал спускаться с крутого обрыва прямо к свирепствовавшей реке.



Солнце стояло уже низко, лучи неслись, даже ласково грели щеки и лоб. Конь, привычный ко всяким передрягам, весело сбегал по тропинке, видимо, мечтая — если кони вообще могут о чем-либо мечтать? — о воде, потряхивая головой, и возбужденно стриг ушами.

Река ревела и рокотала.

Вечер на юге мгновенно сменяется ночью, а в темноте и опытный сучи разве найдет брод? Впрочем, Иван Петрович был весьма самонадеян и в последние годы обходился при таких переправах без посторонней помощи. По цвету струй, по мелкой ряби, по каким-то еле неуловимым признакам он отлично находил дорогу через пучины, омуты и водовороты, часто полагаясь больше, чем на собственную интуицию, на инстинкт своего горного коня. Так и на сей раз...

Но тут он вынужден был у самой воды осадить коня, потому что открывшееся на перевозе зрелище могло поразить и самого бывалого человека.

— Вах! Вах! — воскликнул из-за его спины Гасан. — Какой это дивана вздумал! Смотрите, дохтур Иван! Фэзтон! Да Ангрэн разом съест десять таких!.. Жаль. Много денег стоит.

Действительно, пришлось удивляться и доктору. Ничего подобного в Ангрэнской долине еще не видывали.

Дороги здесь известно какие — из рытвин, гальки, колдобин, промоин. Ездить по ним могли в лучшем случае на арбе с гигантскими колесами. А если таковой не оказывалось, то пutesествовали на своих двоих.

Несколько лет назад божий избранник слепой муфтий завел было себе коляску на «дутиках», но пользовался ею что-то очень недолго. На первом же ухабе лошади испугались и разнесли коляску — рессоры «полетели»... И святой отец по-прежнему ездил в свой Тешикташ на лошади верхом, приказав запрягать отремонтированную коляску в сарай до лучших времен, то есть когда прихожане и паломники в виде богоугодной жертвы «садака» проложат к священному месту булыжное шоссе.

Но годы шли. Дорога продвигалась вперед не быстрее улитки. А коляска муфтия ржавела в сарае.

И понятно, почему великолепный, сверкающий лаком фэзтон, первоклассный, могущий вполне оказать честь петербургским и московским проспектам, фэзтон типа парижского ландо, застрявший в грязной луже Ангрэна, казался зрителям свалившимся чуть ли не с небес.

Изумление вызывали и два шикарных кровных рысака — серых в яблоках, испуганно топтавшихся в той же луже и никак не желавших, несмотря на отчаянные старания кучера в ямщицьем низком, прилепнутом цилиндре с павлиньим пером и в синем, подбитом ватой кафтане.

На конских шеях, держа рысаков под уздцы, висели полуголые сучи, по уши в иле,—пытались смирить коней. Тут же, по колено в грязи, толкались, орали, смеялись с полсотни празднующихся и любопытных.

Правильно говорится: покажи средь пустыни палец небу, и сразу же набезит тысяча зевак.

Не меньшее удивление, чем фэтон, в толпе вызывал его владелец. Он стоял в ландо во весь рост, засунув ладонь за борт темно-зеленого в клеточку сюртука, несколько старомодного — такие носят лютеранские пасторы или американские сектанты. На нем блестящий целлулоидный воротничок с легкомысленной «бабочкой», острые — стрелками — рыжие усы, преогромная сигара с ярким, издали бросающимся в глаза пояском-нащепкой, торговым знаком, лихая ковбойская шляпа с жесткими полями, коричневые краги, подпиравшие брюки. К тому же пугешественник держался возбужденно.

Время от времени он разевал рот — сигара вылетала, он нервно подхватывал ее на лету. Лицо, с жесткими, можно даже сказать, деревянными, грубо вытесанными чертами, покраснело, вернее, пропунцовело до синевы. Владелец фэтона так ярился, что нет-нет да принимался лупить длинным стеклом по ватной спине кучера и по подвернувшимся мальчишкам, что висели, скаля зубы, на всех выступах ландо.

Полюбовавшись с минуту поистине небывалым зрелищем, доктор, не слезая с коня, решительно въехал все в ту же лужу и, стараясь перекричать шум реки и крики толпы, спросил:

— Милостивый государь, куда это вы на таком драндулете? Лучшего способа самоубийства не могли придумать? Что вы лезете прямо в омут?

— О! — закричал в ответ, выпучив глаза, пассажир ландо. — Почему убийство? То есть, само... Почему омут?

«Вот дурак! Утонет еще! Или он никогда не бывал на такой переправе?.. Впрочем, что-то его высокопревосходительство говорил про иностранца...»

Без всяких церемоний доктор приказал поворачивать назад.

Народ его прекрасно знал. Распоряжение было выполнено мгновенно, тем более, что и кучер и лошади, напуганные донельзя, более чем охотно выбрались из опасной передрыги.

— Я им вручил... аванс... десять доллар... Желтый, блестящий, с великим американским орлом. Могуший все орел — доллар... Переправить нас на ту сторону. Кто вы? Почему лезете не в ваше дело?

Посмеиваясь в усы, доктор представился. И добавил:

— Как местный врач, считаю своим долгом не только

беспокоиться о здоровье, но и о сохранении жизни именитых путешественников.

Тщательно вытирая грязные пятна на одежде носовым платком, путешественник еще некоторое время никак не успокаивался. Он кричал об убытках, об опоздании. Проклинал, бранился по-английски. Извинялся. Совал доктору деревянную коробку с сигарами «Файн», вытащенную из грандиозного, более похожего на чемодан, портфеля крокодиловой кожи, и никак не мог поверить, что доктор не курит.

— Наша страна... В нашей великой Америке, в Соединенных американских штатах, каждый доктор имеет выезд. Не правда ли, у меня отличный выезд, а? Прямо из Балтиморы. Личный подарок Джона Пирпонта. Бизнесмен, наш компаньон, любит лошадей. «Его хозяин миллионер Морган?»

Немного подавленный таким открытием, доктор подумал: «Если не напускает дыму... Важная птица. Только за каким дьяволом он полез в наши рисовые болота? Обязательно надо его продемонстрировать сыновьям. Восторгов не оберешься».

Но для этого надо было сначала переправиться на другой берег. Пока шли разговоры, пока искали арбы, чтобы погрузить фаэтон, пока возились с рысаками, так и не пожелавшими ступить в потемневший, похожий на тяжелую лаву, поток, наступила ночь.

Доктор с трудом уговорил иностранца отложить переправу до утра. Сучи вопили. Детвора бегала и кричала. Кучер требовал расчета: «За ваши доллары жизнь терять!»

Местные аксакалы в чайхане оживленно обсуждали событие. Керосиновая лампа раскачивалась под навесом на ветру и ежесекундно мигала, грозя погаснуть. А Ангрэн все ревел и не подпускал к себе.

Распустив подруги и задав корму коням, доктор вместе с Гасаном подсел к аксакалам и принялись за чай.

Ужин был заказан. Одеяд у чайханщика имелось в достаточном количестве. Доктор, очень спешивший, примирился с обстоятельствами.

Напившись вдоволь чаю, он пошел к переправе. Иностранец был еще там.

— Настраивайтесь философски, милостивый государь, устраивайтесь,— пригласил Иван Петрович,— чай, кавардак, лепешки. С голоду не умрете.

— Но... тут есть блохи. Потом эти...— Он пошевелил пальцами.

— Не вольнуйтесь. Хотя у чайханы вид невзрачный, но чистоту узбеки поддерживают. Идите садитесь. А утром переправитесь. Зовите кучера. Он наверняка тоже проголодался?

— Ужинать? Эй, хозяин! Что у вас найдется? Бифштекс с яйцом... Нет? А поросенок с хреном по-русски... Я требую что-нибудь... культурное.

Конечно, чайханщик и разговаривать не стал, сколько ни пыжился иностранец, какую плату ни предлагал.

За долгим чаепитием путешественник разговорился. Он держался заносчиво, самонадеянно. Тревоги доктора оказались напрасными. Никакого отношения к полиции путешественник не имел.

Весь день доктор ехал с ощущением, что он опаздывает, что в Тилляу что-то случилось. Больше всего он тревожился за Георгия Ивановича. Успела ли Ольга Алексеевна предупредить Сахиба?

Теперь он вздохнул с некоторым облегчением. Он был уверен, что его никто не обогнал, что в Ташкенте не торопятся.

«Слава богу, канцелярщина достаточно-таки всех заела. Пока там еще разберутся и решат».

Путешественник же, судя по его словам, попал в долину Ангрена случайно. Ему порекомендовал съездить туда губернатор.

Путешественник сам был из русских. Мать у него уехала из России, когда он еще не вышел из младенческого возраста. Отца родного не знает. Тот остался в России. Отчим — Данниган. «Данниган и К<sup>о</sup>». Доктор должен был слышать. Фирма эта держит в своих руках хлопководство и ирригацию Соединенных Штатов. Строит каналы для орошения степей на Дальнем Западе.

— Смотрю на здешние края, — говорил путешественник, — и слюнки текут. Сколько земли! Сколько воды! Наша фирма уже сделала заявки на концессии для орошения больших площадей, главным образом в Бухарском эмирате. Золотые земли, золотая вода, золотой климат! Золотое будет окно!

Доктор не без удивления обнаружил, что чем дальше Пат Данниган говорил, тем правильнее становился его русский язык.

— Шелк! Только политика у вас дрянная. Разрешают брать концессии только через подставных лиц. Так мы уже создали акционерное общество по реке Сурхан. Еще на Кафириггане... Сегодня ехал и смотрел здешние места. Золотое дно. Проеду, посмотрю — и к господину губернатору. Уговорить надо. Грандиозное дело. Наш шеф Джон Морган ведет переговоры о постройке космополитической железной дороги через Аляску, пролив Беринга — в Сибирь. Морган — деловой, очень деловой! Покупает сибирскую магистраль. Из Сибири построит дорогу в Туркестан, страну богатств и великих возможностей... Клондайк Азии...

— Клондайк? — вырвалось против воли у доктора. — При чем здесь Клондайк?

— В широком смысле слова.

— Вы прекрасно говорите по-русски... Где вы учились?

Пат Данниган воровато глянул на доктора. И, не ответив на этот вопрос, продолжал:

— Джон Морган — опытный делец. Отличная хватка. Уже мы имели разговор с нашим уполномоченным Ковалевским в Самарканде. Мы платим деньги. Он организует концессии. Еще есть Путилов, Андронников. Потом я был в Хиве... Дикая страна. Блестящие возможности. Отличная земля. Берем землю на девяносто девять лет. Копаем каналы. Все вверх ногами. Миллионы долларов...

Он искал у доктора сочувствия. Он даже жаловался. Его, оказывается, смущал вопрос о рабочей силе.

Разговаривая, они дошли до чайханы. В сумерках спустившейся на землю ночи, со слабо теплившейся висячей керосиновой лампой, битком набитая жаждущими чая и еды людьми, чайхана казалась шевелящимся, гудящим гнездом шершей.

— Годдсм! — выругался Пат Данниган. — Сколько бездельников! Сколько рабочих рук! Дешевых. Всюду — в Бухаре, Хиве, Самарканде. Сколько можно прокладывать каналов, орошать земель! К сожалению, лентяй не идет в степь. В Пенсильвании мой отчим Данниган имел бич из кожи буйвола. Хорошее лекарство от лени! Заставим... Господин губернатор в Ташкенте сказал: рабочие руки есть, заставим.

— Не знаю, что думаю о ваших концессиях в Ташкенте, но бичом вы, господа концессионеры, едва ли чего добьетесь! Народ здесь гордый, обидчивый...

— Азия привыкла к жестокости.

— Я не досказал. Народ верит, что тьма — да, да, всякая тьма — отступит перед светом. Вот вы говорите: бичи из буйволовой кожи. А не боитесь? Ведь здесь обычай: каждый носит при себе нож. Вы, вижу, хотите изжарить ячницу, не разбив яиц. Получить концессии, получать шальные доходы, а все хлопоты переложить на других. Вы не подумали, что людям-то до всего, до ваших планов, до ваших концессий, и дела нет! У вас, видите ли, трудности. Какое дело колодцу, если дно ведра дырявое?

Сказал доктор о ведре сгоряча. Но тут же понял, что говорил еще слишком мягко. В двух шагах от помоста чайханы американец остановился и возмущенно спросил любезно проважавшего их чайханщика:

— Куда вы нас ведете?

— Пожалуйста на карават! Плов готов!

— А это что такое? — Он ткнул стеклом в сторону гудящей, скрытой сумраком толпы людей, занятых чаепитием.

— Это чайхана... Пройдемте, пожалуйста,— канэ мархамат! Приглашаем вас, уважаемый гость за дастархан. Пожалуйста! Вместе с вами приглашаем и вас, наш известный и мудрый хаким-дохтур. Прошу! На почетное место.

— И мы здесь должны ужинать?

— Пожалуйста!— продолжал недоумевающе твердить хозяин.

Но Пат Данниган не тронулся с места. В слабом отсвете лампы видно было, что щеки его подергиваются и все лицо исказилось. Он задышался от приступа ярости.

— В чем дело, господин доктор?— выдал он, наконец, из себя.

— Простите, я не понимаю, что вас беспокоит?

Но, кажется, доктор уже понял. Самое неприятное, что поняли и посетили чайханы. На помостах шум стих. Все прислушивались и настороженно молчали.

Хозяин тоже понял и, показав рукой на чайхану, сказал:

— Здесь люди!

С каким достоинством это было сказано!

Но Пат Данниган лез напролом:

— Убрать проклятых черномазых! Белый не станет есть за одним столом с черномазыми. А это еще что?

С помоста по шаткой лесенке, скрипя ступеньками, спускались один за другим аксакалы. Они проходили мимо бесновавшегося американца, отвешивали поклон и уходили.

Их было много, и вереница их медленно растворялась во тьме. Они ничего не сказали, но всем своим видом говорили: мы не желаем находиться в обществе этого человека.

Так понял их поведение доктор.

... Аксакалы пришли, причем многие издалека, чтобы не только из любопытства поглазеть на невиданный, богатый экипаж. Они пришли помочь своим мудрым советом этому странному, шумно ведущему себя ференгу. Многие из них в прошлом были сучи, имели большой опыт и чистосердечно хотели посодействовать переправе.

Но гордость их была уязвлена.

В чем дело? Что с этим ференгом происходит? Откуда в нем неслыханная спесь?

Ни один большой чин из Ташкента и даже из Петербурга никогда не позволял себе такого за дастарханом, на котором стоит блюдо с традиционным пловом. Оскорбить гостей! А все, кто в чайхане,— гости и, притом, почетные. Ибо все они мусафиры, то есть путешественники. Гостеприимство священо и вечно! И не подобает гостю, даже из чужой страны, раздуваться от спеси.

Все помнили, что года три назад то ли губернатор, то ли какой-то царский генерал в мундире с блестящими пуговицами и великолепными золотыми эполетами восседал на этом

самом помосте за дастарханом и, милостиво попивая чай, благосклонно беседовал с аксакалами. И он, этот русский бек, усадил за дастархан не только аксакалов, но и простых сучи и арбакешей и изволил кушать лагман или шурпу, изготовленную чайханщиком.

Нет, обитатели кишлака возле переправы впервые видели в лице американца такого гордеца.

Они не поняли оскорбительного смысла его речей о «черномазых». На Востоке никто не обращает внимания на цвет кожи. Был бы человек достойный!

— Я позволю себе сказать одно, — заметил доктор, когда они позже шли по темной улочке кишлака в дом старейшины, где им предложили ночлег (остаться в чайхане американец отказался). — Боюсь, что вам будет очень трудно в наших краях.

— Это еще почему?

— Вы поставили себя в неудобное положение.

Американец возмутился:

— Я читал и слышал, что вы, русские, разводите в Азии какую-то гуманность с туземцами в своих азиатских колониях! Русские женятся на туземках. Нам, американцам, ваши методы не подходят! И мы будем делать так, как найдем нужным!

— Что делать?

— Концессию! Нам говорили, что Азия привыкла к жестокости. И мы покажем жестокость! Ирригация будет, хлопок будет! Еще кое-что будет. Но тсс!.. Разговор потом...

На обратном пути доктор подошел к обрыву и долго всматривался в темную реку. Вдохнул влажный воздух, послушал грозный ее рев. Нет, переправляться еще нельзя.

Вернулся в чайхану. Уже засыпая, он вдруг вспомнил конец последней фразы господина американского концессионера:

«Еще кое-что будет... Но тсс!.. Разговор потом...»

Доктор даже поднялся и сел на постели.

«Так вот зачем этот брызгающий слюной тип едет к нам в горы! Видите ли — хлопок, каналы. А Клондайк почему помянул? Значит, пронюхали о золоте. Нет, Георгию Ивановичу у нас покоя не будет».

Голодному нищему  
Отрубают на базарной площади руку,  
А богачу, присваивающему мешок золота, —  
«Наше вам почтение!».

К долларам рвется мистер Пат Данничан. А на каждом долларе — ком грязи и пятна крови!

## VIII

Проклятое ее личико — причина  
всех причин ужасных историй.

Омар ул Лайс

Выбирай кусок по своему рту.

Узбекская пословица

Сколько богом ни клянись, от позорной славы не спасешься. Все сильнее Кагарбек испытывал это на себе.

Юлдуз он не оставлял в покое. Он возымел намерение забрать быстроглазую Юлдуз из глиняной хижины бедняка Пардабая, вырвать из нищеты и голода и отвезти к себе в дом, дворец богатства и сытости.

В полночь он вломился в глиняную мазанку Пардабая, переполошил его семейство, всех «мал-мала меньше», ютившихся под одним паласом, и, схватив Юлдуз за руку, сказал:

— Клянусь! Ты машхурду не каждый день видела, а в моей ичкар и мои супруги нос от ханского плова с бараниной воруют! Вместо драной кошмы будешь нежиться на шелковой курпаче!

Но ни ханский плов, ни шелка не прельстили Юлдуз. И когда джигиты Кагарбека в ту ночь при свете факелов вытащили отчаянно отбивавшуюся от них девушку из хижины Пардабая на пыльную улочку, поднялся такой крик и вопль, что весь кишлак возопил: «Вайдод!» Как говорится: «Медный таз грохнулся с крыши!»

Кагарбек тянул Юлдуз к себе на седло. Девушка кричала, вопила, царапалась, кусалась. Факелы дымилась и трещали. Соседи повыскакивали из калиток. Женщины на плоских крышах визжали.

И все равно волостной — на то он и начальство! — забрал бы девушку и объявил бы ее своей четвертой женой, если бы не непредвиденная случайность...

— Кто дал право совершать насилие над мусульманкой?! — прогремел джиннов голос из облака пыли, поднятой копытами коней. — А ну-ка, прочь отсюда!

Кагарбек не успел ничего понять; на него и на его джигитов обрушились из тьмы удары плети-треххвостки. Девушку вырвали из его рук. Самого его в схватке выбили из седла и... Кагарбек отчаянно жажал рукой глаз. От боли он ничего не видел. И даже не различил, кто изо всей силы хлестнул его — самого всемогущего волостного!

Ужасное оскорбление! Ужасная боль! Он и думать забыл о прелестях вырванной из его рук девушки.

Глаз! Что с моим глазом? Я ослеп? Убийца меня ослепил!



Бессонная ночь тянулась в нестерпимых муках. Наступил день... Джигит, посланный в амбулаторию, вернулся скоро.

Иван Петрович был на месте, в своем кабинете. Вовремя принятые меры спасли глаз Кагарбеку, зрение сохранилось. Не такая уж большая беда, если волостной с тех пор начал немного кость и его стали называть не иначе, как Косой-волостной. (Подробнее о лечении Кагарбека мы расскажем позднее). Раны заживают. Боль проходит. Но раны в сердце неизлечимы! Отныне Кагарбек зеленел даже при одном упоминании имени Сахиба.

Да, это Сахиб, проезжавший в ту ночь случайно мимо хижины Пардабая, поспешил на помощь юной девушке. Это он нанес такое неслыханное оскорбление Кагарбеку. Из единомышленника и чуть ли не друга Сахиб мгновенно превратился во врага.

До случая с попыткой увезти Юлдуз волостной не мешал жить в Канджигалинских горах таинственному Сахибу-хаджи, газию, знаменитому воину, врагу губернаторов и чиновников. Живет Сахиб, этот таинственный араб, и пусть живет!

До той ночи волостной считал за честь покровительствовать и укрывать от властей такую важную персону. Конечно, во многом Сахиб и мешал. Имя его порождало в народе легенды. Кагарбек не прочь был бы поумерить восторги преклонения перед этим «дивом».

Но «лишь тот осел настоящий, который побывал в Мекке», — говорят люди. Ни сам волостной, ни муфтий в святую Мекку хаджа не совершали, черный камень — каабу — не целовали... И это чувствовалось.

У Сахиба была слава свирепого воина пророка, вызывавшая священный трепет. Поэтому, даже мучась адовыми муками раненого самолюбия, волостной не решался рукой пошевелить, чтобы отомстить.

Он ждал.

## IX

Душа приходит в ужас от того,  
что она сама выдумала.

Ш а ф и

В ту памятную ночь Ольга Алексеевна так и не сомкнула глаз. Естественно, встав утром, молодая женщина чувствовала себя неважно. О вчерашнем вечере не могла вспоминать без дрожи.

Она решила пойти прогуляться. Конечно, для прогулок время неподходящее: очень рано. Горы еще синие-синие, местами почти черные, окаймленные сиянием. Там, за их вер-

шинами, всходило солнце.., Величаво выкатывалось во всем блеске золота и пурпура.

Не успела Ольга Алексеевна, держа за руку сына, пройти и ста шагов, как пыль на дорожке стала золотистой. Торжествующий свет залил мир.

... Вряд ли тот, письмо которому спрятано за корсажем, тоже спал в эту ночь: он проехал горный перевал и уже приближался к Тилляу. Он уверен в себе, спокоен. Он даже не предполагает, какая встреча ему готовится. Не знает он и того, что доктор вызван в Ташкент. «Боже! А если он истолкует внезапный отъезд мужа по-своему?.. А если я не успею предупредить?.. Что же будет?»

— Мама, а что будет?

Забывшись, Ольга Алексеевна думала вслух. Естественно, вопрос заинтересовал сына.

— Будет много цветов! Много солнца! Много воздуха!

Сжав покрепче руку сына, Ольга Алексеевна почти бежит по пыльной улочке мимо мечети к обрыву над Ангреном.

Белая тропинка среди янтака и чертополоха привела на вершину холма, увенчанного медно-красными от лучей восходящего светила шербатыми зубьями старой крепости — каалы. Оплывшие под зимними дождями, горными ветрами, глиняные стены вросли в землю; валы расплылись; крутыми провалами зияли сухие рвы.

Алеша прыгал по буеракам, охотясь за ящерицами. Он, возможно, был удивлен. Мама не одергивала его. А маме было не до него.

Говорят, что с вершины холма — прекрасный вид на долину. Но дело не в красоте. Дело в том, что с обрыва далеко видно и можно разглядеть всякого, кто по полевым дорогам и дорожкам подъезжает к кишлаку. А Алеша пусть прыгает. Он на глазах матери.

О младшем, не пожелавшем проснуться, Ольга Алексеевна не беспокоилась. Гульбика любит Мишу преданно, как могут любить нянюшки, не имевшие своих детей. «Магазин-кукла» называет она малыша за его голубые глаза, белокурые кудряшки, морковные щеки, пухлые ноги-руки.

И потом дома еще мальчики Касым, Сабир. Тем более — Сабир. За спиной Сабира ребята как за каменной стеной. По словам его отца Мергена, в горах мальчика Сабира прозвали Баба-Калаом — Большим Дедушкой. Он однолетка Миши, а в два раза его больше!

И Ольга Алексеевна бежит по головоломной козьей тропинке к самому краю обрыва. Там, внизу, — дорога для арб.

В розовом, легком, в кружевах платье до пят от варшавской модистки она стоит над долиной. В ее руках легкий розовый зонтик в белых кружевах, похожий на распустившийся цветок. Ее тонкую фигурку видно издали. Ее может не

заметить, пожалуй, только слепой. Рядом с нею — Алеша в белой с синим матроске, в соломенной шляпе с широкими полями, «чтобы на солнце нос не облупился...» Вот он стремительно сбежал вниз — к кромке рисового поля, вызвав приступ сердцебиения у Ольги Алексеевны. В восторге кричит, вспугивая лягушек, кинувшихся в воду.

— Иди сейчас же сюда!.. наверх!.. Там комары покусают!..

Отсюда в самом деле — изумительный вид. Мирная картина — рисовых чеков, поблескивающих зеркалами, голубых массивов камыша, серебряных зарослей джиды, на заднем плане — живописных вершин с мраморными прослойками снега — прогнала страхи прошедшей ночи.

Яркий, ослепительно яркий день поднимается над миром.

И все же Ольге Алексеевне нет-нет и приходит в голову: она здесь, на обрыве, совсем одна. Беззащитна. А кругом далеко не так мирно и спокойно, как ей казалось первое время по приезде в Тилляу. Под покровом темноты творятся, ой-ой, какие дела! Муж скрывает от нее кое-что... Не хочет беспокоить. Но Гульбика не оберегает Ольгу Алексеевну от волнений. И та узнает обо всем, пожалуй, раньше всех в семье. Вот и сейчас. Ей не стоило идти одной на обрыв. Взяла бы с собой Гульбику. Но какой-то ложный стыд помешал и потом... Не обязательно Гульбике, с ее длинным языком, знать, почему она придумала эту прогулку.

Но вот Алеша, пыльный и исцарапанный, наконец, вскаркался наверх. Ему сказано все, что полагается в таких случаях.

Они на самой верхушке холма. Они смотрят на долину, которая заканчивается Тяньшаньскими горами, бесконечно далекими и в то же время — руку протяни — близкими, парящими в небе синими глыбами.

Но что это за розовое облако пыли почти у самого подножия холма? Страшновато становится на душе. Для них вроде рано...

Все ближе! Ближе!

По пыльной дороге едут всадники в халатах, меховых лисьих шапках. Среди них — ни одного в русской одежде. Сердце екнуло.

Не они! Ольга Алексеевна притянула к себе сына.

Облако двигалось. Теперь можно было лучше разглядеть всадников.

О! Да это все же они! Впереди на огневом коне — сам Сахиб, внушительный, живописный в своем полосатом шелковом халате. Таким и подобает быть «вельможному» владельцу курганчи — горного замка, где Жола-атын с супругом не раз бывали в гостях. Дорога туда невероятно трудна. Но

Иван Петрович считал своим долгом устраивать верховые прогулки для жены. Какие еще развлечения здесь, в глуши, он мог придумать?

Хозяина курганчи за сто верст признаешь. Вон какая у него великолепная лисья шапка! Из стольких шкурок она — добавь шкурки три и... манто можно сшить! Все полоцкие знакомые от зависти позеленели бы! Посмотреть на свиту Сахиба — на всех тоже лисьи шапки. И у каждого белобородого старца-аксакала, и вон даже у тех, что во всем белом, по-видимому, ишанов или мулл тоже на голове не чалмы, а лисьи шапки. И хвосты — настоящие хвосты! — колышаются над плечами языками рыжего пламени. А на джигитах помоложе — киргизские тельпеки белого войлока с черной бархатной отделкой: «Боже! Они! Хорошо, что я поспешила. Но почему они остановились? Зачем слезают с лошадей? Сходят с тропинки в зеленый янтак? Кого-то ждут».

Каково было ее недоумение, когда все — и разряженный сказочной птицей Сахиб, и почтеннейшие аксакалы, и молодые джигиты — поклонились ей и Алеше, хором провозгласив:

— Омон булинг! Здоровы будете!

Почтительно выслушав ее приветствие, они сели на коней и столь же почтительно, сторонкой по янтакной целине, чтобы не напылить, уехали.

Лола-атын растерялась. А рядом с Сахибом на вороном коне ехал он... геолог в полосатом халате.

И тут она вспоминает о главном. Манит сына:

— Скорее! Скорее! Алеша! Вот записка... Беги! Догони вон того дядю, что впереди... с черной бородой. Беги!

Алеше только бы бегать. Он пускается во всю прыть и звонко кричит. Всадники останавливаются. Человек в ярком халате — близорукая Ольга Алексеевна догадывается, что это Сахиб, — поднимает с земли мальчику и сажает в седло. По-видимому, происходит веселый разговор. Алеша звонко смеется. Гудит голос Сахиба. А у Лолы-атын сердце замирает. А вдруг он увезет Алешу с собой. Глупо так думать, но...

Алеша уже с визгом мчится обратно. У него в руке великолепная настоящая камча с инкрустированной ручкой.

— Не смей брать подарки! Это неприлично... Сейчас же отдай! Поди и отдай!

Но кому отдать?

Всадники уже пылят по дороге, вниз, под обрывом. Перешли на рысь... Свернули к голубой полосе реки и исчезают за густой стеной тугаев. Золотистое облако пыли медленно оседает в камышах.

«Успела! Предупредила!»

Чувство гордости за мужа, который так много делает для

людей, поднимается в груди. Пережитое волнение вызывает слезы.

— Мама, не плачь! — просит Алеша. — Они хорошие! Они тебя не обидели?

— Что ты? Они хорошие, добрые.

— Я возьму плеточку. В лошадки буду играть.

А плеточка, с налитой свинцом рукояткой, весит фунта полтора.

Встреча у стен старой крепости запомнилась на всю жизнь. Величавый Сахиб. Желтый от малярии, едва держащийся в седле геолог. Серебряные бороды их спутников. Веселое ржание коней, радующихся пришедшему из-за гор утру. Бодрый, свежий, полный запахов душистой полыни ветер.

## Х

На силу найдется сила,

на хитреца — хитрец.

На камень серп наскочит,

на мудреца — мудрец.

Баба Тахир-и-Лур

Почти машинально Лола-атын с сыном идут по старой военной тропе к глиняным оплывшим стенам. Стара крепость. Изборождены трещинами стены. Из трещин выбиваются зеленые колючие кусты каперсов, издающих сладкий аромат. Крепость заброшена. Но стены ее еще грозны, особенно когда их озарят потоки лучей восходящего светила. Глыбы глины словно одеты в бронзовые панцири.

— Решительно сжимая ручку кружевного зонтика, точно рукоятку шпаги, Лола-атын ощущает себя древней воительницей. И разве она сейчас не совершила ничего, близкого к подвигу?

— Ну, Алешенька, — настороженно говорит она, — мы с тобой вестники! Парламентеры!

Естественно, мальчик интересуется, что это такое. Лола-атын начинает объяснять... Спыхватывается: «Ребенок. Он ведь обязательно разболтает».

Из-за башни выходит, опираясь на самодельный костыль, дряхлый Бобо. Он живет в развалинах крепости и требует, чтобы с ним обращались, как с комендантом, и называли кумандан-баши, хотя в крепости ни одной пушки, ни одной винтовки и даже нет уцелевших ворот.

Десятилетия назад, когда в крепости стояли гарнизоном воины Худояр-хана, старик был дарвазабоном-баши, то есть привратником. Он открывал десятипудовые створки ворот и по сигналу громкогласных карнаев выпускал всадников в блестящих кольчугах на резвых скакунах.

А потом привратник бежал по сигналу трубы вниз с башни по глиняным ступеням — открывать ворота и впускать тех же всадников, окровавленных, изнемогающих от ран и усталости.

А сколько раз он, Бобо, налегал плечами на стонущие великим скрипом ворота, чтобы пропустить в крепость верблюдов, почти падающих под тяжестью вьюков, с невероятной добычей?

Он — привратник. Ему одному, может быть, дано было видеть, как ночью какой-нибудь владетельный бек грубо, небрежно сбрасывал с седла наземь у дверки привратницкой спеленатую волосяным арканом несчастную пленницу. И как ее волокли с хохотом по глиняному двору. И сорок черных косичек ее подметали пыль и цеплялись за кустики янтака, растущего здесь и поныне. А дарвазабон, тогда еще молодой, сильный воин, смотрел с замирающим сердцем на мечущуюся в свете факелов обреченную красавицу и ненавидел господина всесильного бека, и завидовал ему:

Резкий звук... будто створки ворот закрипели.

Лола-атын испуганно оборачивается. Бобо-дарвазабон подошел совсем близко и показывает рукой вдаль.

— Ханум! Госпожа! Отсюда совсем хорошо смотреть: вон они поехали... на ту сторону. Вон правее, к подножию горы Бобо-таг. Это гора-богатырь. На голове шлем изо льда... Долину, все дороги Бобо-таг под зорким своим глазом держит. А вот у тебя, госпожа, — поверни-ка головку назад, — другой страж стоит Бобо-аоб! Дедушка воды! Тоже шлем на голове. Зорко смотрит. Никого не пускает. А мы. — хо-хо! — тоже Бобо. Бобо-дарвазабон, посредине стоим... — И он гордо расправил плечи. — Здесь, в крепости, тоже никого не пропустим. Три Бобо! Все видим. Все знаем. Вот и ваши друзья через Ангрэн поехали вброд. Не через карахитайский, а правее... Все отсюда вижу. Хочу — кому надо скажу. Хочу — не скажу. Господин Сахив в Тилляу приезжал. Хи-хи! Не задержался долго. В Тилляу — Кагарбек. В Тилляу — урус пристав. В Тилляу казаки едут... — Он приложил ко лбу ладонь козырьком. — Далеко еще... Через два часа не приедут, не управятся. Все вижу! Все смотрю. Ха, мы Бобо-дарвазабон. Нам всегда за должность мало-мало теньга бросают, когда спрашивают. Нас здесь Кагарбек поставил на башню. Зачем поставил? Смотреть, кто ходит, мимо ходит. Кто едет, кто не едет. Караулить поставил.

Этот старческий хриплый, слабый голос возвращает Лолу-атын из страны мрачных мыслей. Но что это? Дарвазабон подличает...

Седая, мохнатая бровь совсем вдруг прикрывает один его глаз, живой, почти молодой, другой затянут белесой пленкой.

— Дай, госпожа, Бобо теньгу... Ты богатая. Твой хозяин — Дающий свет. Я знаю, у тебя есть Бобо-Калан. Знаю! Знаю! Сын Мергена. Четвертый... ха-ха!.. Бобо. У нас самая высокая гора Бобо-таг! У нас Бобо-дарвазабон! У нас Бобо-Калан! Да попроси своего мужа доктора — пусть Бобо-дарвазабону с глаза пленку снимет. Бобо-дарвазабон век добра не забудет. Другой доктора будет. Ничего про революционера сибирского Кагарбеку не скажет. И теньги не надо. Скажи, хозяйка, доктору.

Он ловит своей корявой, старческой рукой руку перепуганной Лола-атын и пытается поцеловать ее.

Лола-атын быстро бежит по тропинке вниз. Розовый зонтик надувает ветерок. С радостным визгом бежит Алеша. С мамой наперегонки! Как хорошо! Он машет камчой, подгоняя воображаемых коней. Алеша — рыцарь, охраняет принцессу Маму.

На душе Лолы-атын тяжело. Бобо из крепости пострашнее вальтерскоттовских горбунов. Бобо что-то знает. И она, жена мирного врача, будто соучастница заговора, о котором знает этот старец в прозеленевшем камзоле, издали похожем на бронзовую кольчугу.

О! И вооружен: у него ружье... огромный нож. Боже!

Сердце Лолы-атын замирает: «Неужели ее Жан участник какого-то заговора? Опасности подстерегают кругом. Мирные поля, зеленые сады, голубое небо... И зачем вдруг старыку оружие?»

Молодая женщина инстинктивно боится любого оружия. Пугается до сердцебиения при далеком ударе доски о доску: «Выстрел!» Рушится идиллическая, несущая мир и покой, картина.

Эти ночные страхи! Это появление целой кавалькады всадников. Рассказы воинственного Бобо о феодальных бесчинствах кокандских беков!

Лола-атын — мирная, слабая, совсем не воинственная женщина, и ей мерещатся всякие ужасы в этих диких горах.

Нет, лучше не придавать значения всему этому. Лучше глядеть широко открытыми глазами на голубые воды Ангрена, голубые, словно голубизна небес; на небеса, глубокие, бездонные до того, что голова кружится; на белые ватные облака, легко плывущие от синих горных хребтов туда, на запад, в степи; на крошечную точку парящего в синеве орла. На душе делается спокойнее, перестает ныть сердце.

Голубой Ангрэн, зеленый кишлак, белесые развалины крепости, все еще стоящий на холме старик с белой бородой, медленно ползущая по далекому склону противоположного, карахитайского, берега группа конных — все теперь такое спокойное, умиротворяющее.

Но сердце опять сжимается: опять топот копыт.

— Алеша! Алеша, иди сюда! Не смей бегать!

Из-за лёссового обрыва выезжает всадник. Форменная с кокардой фуражка, белый китель с серебряными пуговицами. Погоны. В руке стек. Щегольские лаковые сапоги. Звонкие шпоры... Аксельбанты...

Сергей Карлович! Именно сейчас Лола-атын меньше всего хотела бы встретиться с приставом.

Она робко щурится из-за края зонтика. Всадников на склоне горы почти уже не видно. Но вот один придержал коня. Он ярким пятном выделяется на серо-буrom склоне. У Сахиба великолепное зрение, глаза ястреба. Да, Сахиб, видно, заметил белый китель. Сахиб придержал коня и не спешит уезжать.

Неужели рыцарские чувства Сахиба превозмогли осторожность!

Много позже выяснится, что Сахибу не понравилось появление пристава около прогуливающейся с сыном Алешей слабой, нежной хатын-докторши.

Не утерпел, значит, пристав. Не сидится ему в мехмочхане Кагарбека. Не доверяет даже своим. Поехал сам встретить, проверить.

Глаза Сергея Карловича ловят взгляд огромных, близоруких, таких невинных глаз.

Сергей Карлович мгновенно фиксирует на крутом склоне яркое пятно. Ах, черт возьми! Вечно забываешь свой бинокль!

Но Сергей Карлович замечает и раскосмаченную ветром бороду сторожа Бобо. Пристав подгоняет ореховым стеком своего великолепного «араба». Почему-то Сергей Карлович уже не сомневается: произошло что-то серьезное! Гораздо серьезнее, чем можно предполагать. Надо будет все-таки позаботиться, чтобы вся история не коснулась бы прелестной жены лекаря. Даже если между нею и всадниками произошел разговор. Ну, это можно узнать у старикашки — сторожа крепости. А сначала...

Изящно сложив по-русски два пальца, пристав берет под козырек, рассыпается в любезностях.

Но ни его элегантность, ни комплименты, ни его баронские манеры не обманывают Ольгу Алексеевну.

Он груб, он мужлан. Рисуетя своим положением все-ильного начальника горно-степного уезда. Он самый настоящий хам, каким и надлежит быть представителю колониальной администрации Туркестана. Разговаривает с дамой, не спешившись. И как бы ни хотелось Ольге Алексеевне оборвать разговор, избавиться от присутствия этого глубоко антипатичного ей человека, она иронически морщит губы.

— А вам, Сергей Карлович, удобно так разговаривать? С высоты... своего величия,



Краска приливает к лицу пристава. Мгновенно он оказывается на тропинке и приносит извинения.

Она ненавидит пристава. Ненавидит, как все бестужевки, хотя бы год проучившиеся на знаменитых высших женских курсах.

Он палач... палач в белых перчатках! Боже, как мне избавиться от него? Не проговориться бы про Георгия Ивановича!

Поглядывая снисходительно и не без удовольствия на эту горожанку из России, растерявшуюся в степях и горах, напуганную дикостью края, он сочувствует:

— Да чего вы боитесь, мадам?

«Ловит! Он ничего не знает, но ловит!» Вслух она говорит, мило улыбаясь:

— Разве я говорила, что боюсь? Правда, меня тревожат шалости Алеши. Прикрикните на него! Он скачет по таким откосам! Свалится... Алеша! Да Алеша же! Вот тебе Сергей Карлович уши надерет... Да иди же сюда!

— Здравствуйте,— говорит серьезно Алеша.— Только мне и папа уши не дерет! Мне нельзя уши драть. Я обижаюсь.

Сергею Карловичу надо бы задать пару вопросов. Но никак не получается. Ольга Алексеевна стоит перед ним хрупкая, нежная, в модном летнем платье, совсем неуместном здесь, среди глины и жухлой колючки, на склоне выжженного кирпично-красного холма.

Нагловатые глаза пристава беспокоят ее гораздо больше, чем жгучее солнце, чем суровость крепостных стен, чем воинственный страж крепости, который все еще неподвижно смотрит с холма и никак не желает понять призывных, делаемых приставом тайком за седлом «араба» повелительных знаков: «Да иди же сюда!»

Хоть подергивание плеч и рук Сергея Карловича вроде естественны, но условные знаки Ольга Алексеевна уже давно заприметила и готова крикнуть Бобо: «Не ходи!»

А Бобо стоит на холме и не обращает на господина пристава внимания. «Он не любит Кагарбека. Но еще больше не любит Мерлина. Надо, чтобы Жан обязательно сделал ему операцию. Он добрый старик».

И в волнении, кусая губы, Ольга Алексеевна говорит:

— Мне некого здесь бояться. Здешние горцы такие добродушные, мирные. Здесь так красиво, особенно когда цветут тюльпаны... и маки!

— Бояться следует,— усмехнулся пристав,— мирные-то мирные, но азиаты. Сегодня ночью — знаете, что было? Вооруженные всадники похитили было девушку, дочку батрака. Еле отбили ее. Однако... гм... смею заверить: в моем узде никто вас и пальцем не тронет. Хотя, извините, вы такая слабая, нежная... не по обстановке. Простите-с, красави-

ца — для них добыча. Не пугайтесь! Никто-с! Знают, черти. Если что...

Тут он перестает усмехаться, и лицо его становится еще неприятнее. Разглядывая Ольгу Алексеевну довольно-таки плутовато, он продолжает медленно:

— Если, помани кротость царя Давида... бог мой!.. если с вами что-нибудь случится, от этих развалюх,— он ткнул кнутовищем стека в зеленое пятно садов и желтые плоско-верхие домики селения Тилляу,— уверяю вас, ничегошеньки не останется, камня на камне, даже щепотки пепла. Развалим по кирпичику, распашем, ячменем засеем или просом... ха-ха!

Он вдруг раскатисто захохотал:

— Не бойтесь ничего, мадам. Пока здесь Сергей Карлович, вы за каменной стеной. И они это прекрасно знают.

Его неприятно было слушать. Ольга Алексеевна разнервничалась:

— Я ничего не боюсь. Ничего! Здесь хорошие люди.

— А я на месте любезного доктора, вашего супруга, категорически запретил бы вам гулять... по степям и горкам. И еще дал бы «березовой каши» вашему Алеше.

— Это еще почему?

— А зачем он принимает такие подарки?— Он взял из рук мальчика тяжелую камчу.— Серебро и бирюза! Рубины... настоящие. А выделка! Откуда сие?

— Отдайте,— сердито проворчал мальчик.— Папа обещал купить пони... Вот и нужна погонялка.

Пристав довольно ловко вскочил на коня, и тот весь заплясал под ним. Вытирая лицо носовым платком, Сергей Карлович откланялся:

— Извините-с, служба!

Он смотрел вдаль, на всадника, который казался ярким пятнышком на склоне горы.

— Тут мне господина Сахиба надо было бы встретить!— И вдруг он засмеялся. — Едет кое-кто в амбулаторию вашего супруга лечиться. А вот мы его и полечим, хэ-хэ, полечим...

Такое небо, такая голубизна воздуха, гор, воды! Такое живописное Тилляу! Такое было чудесное настроение! А теперь ночью будут опять те же страхи при малейшем шорохе в кустах.

Прогулку вконец испортил галантный пристав.

И точно в тумане, издали доносились слова:

— Зачем вам все это? Какая несправедливость жить в мире, где самым совершенным созданиям уготована мрачная участь! Ведь роза обречена жить жизнью розы. Только одно утро!

Когда разгневаается злая судьба,  
Гранит плавится подобно воску.

Фердоуси

Словоохотливостью Сахиб не отличался. Даже на чисто врачебные вопросы в лечебнице отвечал лаконично. Ссылаясь на плохое знание языка.

— Русскому не обучен.

— Но говорить надо! Должен же врач знать причины ранений! Ужасные рубцы! Только с вашим могучим телосложением, молодостью можно сохранять бодрость с такими незажившими ранами. Хотите быстро вылечиться, скажите: где, когда?..

Но выяснить удалось мало.

— Знаки доблести, полученные в битвах. В пустыне. Вон там — британская пуля. Здесь — удар копыта бедуина. Тут, повыше локтя, — сабля турецкого офицера. Лечили женщины племени. Чем? Настоями трав. Где это было? О! В тысяче ташей отсюда.

Одно удалось установить: рубцы на спине, уже почти изгладившиеся, — следы палочных ударов в Бухарском зиндане. Раны от копыта и меча получены не то в Индии, не то в Африке. А вот натертости на запястьях и щиколотках ног явно от кандалов: Иван Петрович не мог ошибиться. Но именно об этих белых шрамах Сахиб не пожелал говорить:

— Там не болит... Лечить не надо.

Доктору оставалось строить самые невероятные предположения. Но в истории болезни он о шрамах на руках и ногах не написал.

Совершенно неожиданно, в обстоятельствах почти невероятных, выяснилось происхождение этих шрамов.

Ивану Петровичу пришлось присутствовать при первой же встрече двух людей, судьбы которых, казалось, никогда не могли скреститься. Жили они, выражаясь математическим языком, в разных плоскостях.

Однако линии жизни у обоих, как это ни невероятно, пересеклись в одной точке, и этой точкой была царская каторга.

Профессиональный революционер Георгий Иванович и воин ислама, газий Сахиб были прикованы цепями к одной тачке на руднике в Сибири.

За что сослали на каторгу Георгия Ивановича, доктор знал. Геолог рассказал ему все в ночь после домашнего концерта. Историю своей ссылки в Сибирь Сахиб рассказывал много позже, в своей курганче, куда доктор приезжал лечить его молоденькую жену Юлдуз, из-за которой произошло столько драматических событий в жизни многих людей.

— Мы говорим: длинный язык — причина страданий. Увы, мы узнаем истину в зрелых годах. Молодость болтлива и наивна. В медресе мы упражнялись с муллабачами больше в науке анекдотов, нежели в богословии и философии. Проклятьями и бранью мы выражали свое отвращение к палачам эмира. Нам претила кровь перед воротами Арка. Нас возмущала несправедливость. Эмир опасался наших вольных мыслей. После мы горько раскаивались в своем свободомыслии, расчесывая в кровь укусы клещей в зиндане. И кто знает, что было бы дальше, если бы не один великодушный урус-чиновник. Я переводил, еще будучи учеником медресе, песни дервишей, что звучали на базаре у золотых дел мастеров под куполом Токи-Заргарон. Урус выпросил меня у эмира, поручился за меня и увез — больного, беспомощного — в Самарканд. Благословение аллаха на том кяфире всегда и ныне! Перерезали бы мне горло на площади перед Арком, если бы не он. Но юность не воспринимает уроков жизни. Меня спасли, мне подарили жизнь, а я остался глухим, легкомысленным. Мне, безумному юноше, дали высокую должность в доме губернатора. Я был приближен к его особе, переводил для него все бумаги. Губернатор соблаговолил признать меня своим учителем в моем родном языке, осыпал меня своими милостями. Не было в Самарканде чалмы белее и тоньше, чем у меня. Никого из чиновников не одарили таким дорогим халатом, как меня. Ни на ком не было таких лаковых махсы, как на переводчике господина губернатора, мирзе Джелале. Но, увы, благополучие порождает в незрелых умах смятение и честолюбие. Болтливость довершает зло. Мы, молодые чиновники-мусульмане, вообразили: если нас допустили к управлению, то почему бы нам самим не стать правителями? Среди нас сеяли семена вражды, мятежа, священной войны. Кто сеял? Те, кто сидел на мягких коврах во дворцах Стамбула, Каира, Багдада. Они говорили: «Нет покоя мусульманину, пока его страна под игом неверных». Долго рассказывать. Мы, беспомощная кучка юнцов, влезли в подвал заговора... Смешно вспомнить. У нас не было оружия, денег, соучастников. И нас предали свои же. Губернатор решил дело просто. Слишком скоро наши руки и ноги обременили ржавые тяжелые цепи, они сдирали кожу, от ссадин нас вечно мучала боль. Боль не давала покоя, проникала в сердце, в мозг. Нас с урусом соединили цепи, стопудовая тачка, рогожа, которой мы покрывались в леденящий холод. И мы, — заключил Сахиб, — помогли друг другу сорвать цепи с себя и бежать с каторги.

... Они братски помогли друг другу, но расстались почти тотчас же после побега. И вот встретились в Тилляу через годы...

Их пути были разными. Даже будучи прикованными к од-

ной тачке с рудой, они спорили. В одной каторжной тюрьме, изнемогая в одной упряжке, испытывая одни и те же лишения,— они не могли найти общего языка.

Сахиб не понимал Георгия Ивановича: безумец замахнулся на ак-падишаха! Не такого уж плохого правителя, правителя, не мешавшего народу пользоваться плодами просвещения и прогресса. Не понимал Сахиб, как можно ставить русского царя на одну доску с тираном и деспотом эмиром бухарским.

— Эмир называет себя халифом правоверных. Но первое качество халифов — справедливость. А эмир, когда полицейские по приказу губернатора собрались отвезти меня из Самарканда в Бухару, отказался вмешаться. Сказал: «Пусть его судит царский суд и делает с ним, что хочет!» Но я же мусульманин!— да падет проклятие на его голову!— не пожелал вступить за правоверного. Из-за эмира я погибаю здесь, на руднике!

С точки зрения подлинного революционера Георгия Ивановича, Сахиб был религиозным фанатиком, человеком реакционных взглядов. Он пытался обратить Сахиба в свою веру — сделать его подлинным революционером, но это плохо удавалось. По-разному складывались их идеалы, резко отличались их точки зрения на революцию, свободу, религию, мораль, семью. Они без конца спорили. Георгий Иванович пытался найти точки соприкосновения идеологий и культур Запада и Востока. И все-таки Георгий Иванович сумел привязаться к Сахибу, увидеть в нем могучий ум и незаурядную натуру.

Сахиб так же по-братски привязался к Георгию Ивановичу. Он понимал, что только поразительная жизнестойкость, неугасимая жизненная сила этого русского помогли ему, восточному человеку, южанину, вытерпеть каторгу и физически и морально и не впасть в апатию и уныние, которые привели бы его к гибели.

Человек гордый, обуреваемый страстями, он не переносил грубого слова. Он мог умереть от оскорбления, не говорим уже — от побоев. А на каторге били. Каторжан подвергали телесным наказаниям по поводу и без повода. Надзиратели свирепствовали. Особенно они измывались над «дикарями-туземцами».

Недолго бы выдержал Сахиб. Вернее всего, кинулся бы на надзирателя в первый же день и ударил бы его пудовыми кандалами.

— Конец пришел бы мне,— рассказывал Сахиб,— убил бы я обидчика... И меня расстреляли бы... или повесили. Но рядом был друг, настоящий. Он еще не знал меня, но заслонил. Принял удар на себя. И сказал что-то. Хвала ему на века! Больше никто не посмел поднять на меня плеть.

Георгий Иванович смущенно заметил:

— Могло бы, конечно, случиться несчастье. Но начальству я разъяснил: Сахиб — не уголовник, а политический. Политических, по закону, бить нельзя. И обращаться с ними надо по-другому. С тех пор его и не трогали.

— Тысяча благословений на тебя, брат мой, — проговорил Сахиб. — Ты сохранил для дела газиев воина и героя. И оказал милость правоверному ты, неверный! Велик аллах!

— Невелика заслуга. Мы квиты. Если бы не железные мускулы, не феноменальная сила Сахиба, который ворочал тачку, словно перышко, давно бы ваш покорный слуга, хлипкий интеллигент, упокоился под горой породы на руднике в Сибири. И бежать мы смогли лишь потому, что Сахиб порвал кандалы — в удобное время и в подходящем месте — как фольгу... Ну еще подполз к часовому, по-тигриному бесшумно, и... В общем, с рудника мы ушли вместе. А вот потом тайга, она такая — разлучила нас.

— Лес разъединил — степь соединила. Мы теперь братья.

Торжественно Сахиб поклонился, прижав руку к сердцу, и воскликнул, распахнув дверь своей мехмонханы:

— Мархамат, келин, акаджан! Пожалуйста, заходите, мой старший брат! Моя мехмонхана — ваш родной дом. Живите!

Из всех разговоров, что велись в курганче, ясно стало одно: Сахиб ждал прихода геолога. Якобы какими-то неизвестными путями его предупредили о том, что Георгий Иванович появился в Туркестане. Что он будет тайно жить в горах у него, Сахиба, мусульманского газия, борца с неверными.

Вот почему в день, когда Ольга Алексеевна пела салонные романсы в своей гостиной, Сахиб на резвом коне скакал по дорогам долины, ища встречи со своим названным братом.

Крепкая дружба связывала их — профессионального революционера Георгия Ивановича и воинствующего борца ислама Сахиба Джелила. Доктору во всяком случае из Ташкента сообщили, что человека, пришедшего к нему в Тилляу под кличкой «геолог», надлежит немедленно и в полной тайне переправить в Канджигалинские горы, в курганчу Сахиба.

## ХII

Зависть подобна огню: испепеляет разум и здоровье.

Ш о д и Д а х б и д и

Со страдальческой усмешкой господин волостной в своем кричащем парчовом халате прохаживался по двору и поглядывал одним глазом на Ольгу Алексеевну.

— Загнали слона в глиняный горшок, — стонал он.

И этот тоненький, похожий на всхлипы стон совершенно не шел ни к огромной белой сдвинутой на левый глаз чалме, ни к округлым лоснящимся щекам, ни к окладистой бороде, ни к толстому брюшку, выпиравшему из-под камзола.

— Худо холоса! Богу угодно! Где хаким-дохтур? Почему его нет? Мало ли что могло случиться. Господина большого доктора Ивана тут нет... и слон застревает в глиняном хуме. Нам лечиться надо. Ох!.. Где доктор? Белокожая гурия-жена его дома одна. Урусов вас здесь, в Тилляу, вроде двое. Мало ли что... В горах народ разный... без понимания. Куда пошел доктор?

Он снова жалобно застонал и закрыл лицо ладонями.

Ольга Алексеевна плохо понимала по-узбекски. Иначе волостной своими загадочными речами, шевелением густых бровей и грозными ужимками мог вогнать в панику не только утонченную, слабую женщину, но и кого угодно.

— Ну, мингбаши, раскудахтался,— ворчал фельдшер, старый Матвейч, бережно умелыми пальцами сдвигая вверх край чалмы.— Тебе, волостной, полагается порядок держать в Ангрене. А... ой-ой, где это тебя угораздило? Чем опять огрели? Тебе быть волостным приказал генерал-губернатор, тебе почет и власть, а тебя кто изувечил?.. Подожди, не торопись, примочку сделаю. А там и Иван Петрович придет. В Ташкент уехал... Да не дергайся, сейчас полегчает... А ты прикажи барашка зарезать. Тухлятинку едим...

Во всех кишлаках, даже больших, и в Тилляу в том числе, резали скот и продавали мясо раз в неделю, в базарный день. Баранину приходилось вешать на ветерке вялить. Но в жару она не выдерживала и начинала попахивать. Тилляусцы ничуть не унывали: «Зато в плове мясо помягче. Да и животу полегче».

Привыкнуть к такому мясу ни доктор, ни его семейство, конечно, не могли. А фельдшер Матвейч привык. Фельдшер Матвейч жил в Тилляу испокон веков. Он служил в свое время у Черняева и при совершенно непонятных обстоятельствах из рядового Туркестанского какого-то полка превратился в медицинского деятеля всей Ангреной долины, от Сырдарьи до снежных Чаткальских гор.

Наружность ничем не выдавала его славянской принадлежности. Выдубленная красного дерева, морщинистая кожа лица, белые клочья бровей и азиатских усов, узбекский халат, бельбаг, махсы с зеленозадыми кавушами, привычка закладывать под язык нас — Матвейча ничто не выделяло из обитателей Тилляу. Разве только небритая голова с ежиком жестких волос напоминала, что он не узбек. Да в доме его, помимо одеял и подушек, стояла никелированная кровать с шишечками и ветхий, неведомо откуда попавший сюда

письменный стол с полусотней ящичков, в которые так любили совать нос докторские сыновья — Алеша и Миша.

Вообще Матвейч больше походил не на фельдшера, а на дехканина, тем более, что он говорил с узбеками как узбек, с таджиками как таджик, с киргизами как киргиз и к тому же держал свою сожительницу под чачваном.

— Чем я хуже волостного и нашего ишана? Им можно, а мне нельзя, что ли?

Самое забавное, что все остальные женщины и девушки на выданье в кишлаке Тилляу не знали, что такое паранджа с чачваном. Да дехканам и не по карману было покупать их. В случае чего на людях супруга и дочь полдой накинутаго на голову камзола прикрывали одну щеку и один глаз от взглядов посторонних мужчин. А на базаре и вообще не прятали лиц.

Что касается Маруси-Марьям, подруги жизни фельдшера Матвейча, то она чачван и паранджу надевала по мере надобности.

Из-под чачвана она вещала: «Мусульманка я» — и ехала в Ташкент проводить какие-то весьма загадочные торговые операции. В присутственных же местах она появлялась с открытым лицом — еще молодым, хранившим признаки подлинной красоты. Марьям бросала всем: «Я жена русского фельдшера! При чем тут паранджа?»

Марьям была очень энергичной особой. Именно ей принадлежали слова: «Слона мудрости, такого доктора загнали в наш Тилляу! Заставили лечить всякие там лихорадки и сартовские язвы, будто с этим мой Матвейч не управлялся бы?»

Тут сказывалась чисто профессиональная ревность. Маруся-Марьям попросту боялась, что с появлением русского врача доходы Матвейча сократятся. Но, когда обнаружилось, что доктор бессребреник и принципиально «не берет», она сменила гнев на милость.

Но пользы семейству доктора от нее не было. Мадам фельдшерша, как ее именовал Иван Петрович, постоянно отсутствовала: то она в Ташкенте, то в Коканде, то в Ура-Тюбе, то в Туркестане, то в Перовске. Оказывается, у этой молодой, подвижной женщины были во всех упомянутых городах женатые сыновья, замужние дочери, внуки. А молодая бабушка обязана была присутствовать при всех родах и других семейных событиях. Потому мадам фельдшерша осчастливливала Тилляу своим пребыванием не больше двадцати-тридцати дней в году.

Матвейч оставался невозмутим. Он делал свое дело со знанием и аккуратностью человека, добившегося всего своими руками. Он был уважаемым гражданином Тилляу. Сам кяфир, осмелившийся взять женой мусульманку, он умудрял-



ся держать в узде даже местное почтенное духовенство. Ишан всегда сажал его на самое почетное место.

И было настоящей удачей для Ивана Петровича найти в Матвейче не просто фельдшера, но и помощника и советчика. Вот почему на Ольгу Алексеевну успокоительно действовало присутствие Матвейча:

— Когда Ивана Петровича нет на месте, я взаправду доктор. И кто посмеет твякать на доктора? А наш волостной знает, когда можно лаять, а когда хвостом вилять.

И волостной, при всей своей напыщенности и спеси, жалбно постанывал, полностью отдался в руки Матвейчу, а тот умело делал перевязку. Ничего, до поры до времени... сойдет! А ты не гугни!

Он напирал на пышнотелого, гладкого, в золотой парче волостного, улыбаясь своими редкими, пожелтевшими зубами. Он словно грозил проткнуть выпуклый живот Кагарбека своим пронырливым утиным носом, мрачно мерцая глубоко посаженными серыми глазами, нервно подергивая мышцами скул и подбородка, сухих щек красно-коричневого цвета.

Кагарбек со стоном уехал. А Матвейч говорил Ольге Алексеевне:

— Смотрите, сколько силы и власти, а фонарь ему на глаз поставили. И какой! В глаза на тебя радуется: «Какое счастье для Тилляу-де — такого доктора достали». А на самом деле, и не говорите: волостной — разбойник, всамделишный разбойник. И к тому же на молоденьких баб падкий... Но ничего. Иван Петрович — господин слон. А слон силен и бивни имеет. Наступить надо на разбойника.

### ХІІІ

Трудись! Ибо лучше по природе  
работа и ад, чем безделье и рай.

Н и з а м и Г я н д ж е в и

Высокомерие волостного правителя, его поистине ханская спесь претили доктору.

Едва он по возвращении из Ташкента пришел в амбулаторию, его оглушил крик:

— Эй, дохтур, идем!

Оказывается, Кагарбек прислал в амбулаторию своего стражника, весьма бойкого, развязного джигита. Тот, как был в густо пахнувшем конюшней тулупе и в грязных смазных сапогах, без спросу ввалился в блиставший свежей покраской и стерильной чистотой приемный покой.

Все, даже склянки в шкафчиках, зазвенело от его зычного голоса:

— Их сила и могущество господин Кагарбек приказали

всех, кого я застану в комнате из пришедших, выгнать на двор, чтоб не толпились, не мешали. Господин волостной правитель Кагарбек приедут лично к доктору-урусу лечиться. Сейчас! Выходи, доктор! Встречай господина, их превосходительство, с почетом и уважением.

— Сейчас же убирайся... Не смей затапывать пол. Марш!— не повышая голоса, сказал доктор.— Гасан, щетку и мокрую тряпку! И пусть этот посланец сам вытрет за собой.

Перед докторским гипнотическим взглядом через пенсне устоять не мог даже самый напористый. Бормоча извинения, воинственный джигит вытер пол и исчез. Никого из амбулатории доктор во двор не выпроводил. И сам, когда с улицы донесся топот копыт и голоса, не вышел даже на крыльцо.

Надо сказать наперед, что впоследствии писарь волостного управления, весьма культурный, умный и вежливый татарин Мирза Равиль, прибежал к доктору специально объясняться: «Достопочтенный хаким-доктор, у нас, у мусульман, надлежит выходить или лучше выезжать навстречу знатным: чем выше гость по положению, тем дольше...»

— Кагарбек не гость, а больной, обращающийся за помощью к врачу. Кто кому сохраняет здоровье, а то и жизнь? Медицина — чиновнику или чиновник — медицине? У меня в амбулатории лечатся теми же лекарствами обыкновенный мужик, бек, пусть хоть и сам губернатор!

— Что сказать волостному?— смущенно спросил Равиль.

Смутился он потому, что уважал и почитал хакима-доктора, как и все жители волости.

— Я знаю: подхалимаж, пресмыкательство весьма по душе Кагарбеку. Пусть метущие пол своими бородами, всякие утонченные подхалимы упражняются в льстивых речах и земных поклонах. Это их дело. Может быть, так принято, но от меня господин Кагарбек поклонов не дождется. А вот ездить ему через день в амбулаторию придется! Не хочет ослепнуть на один глаз, не хочет окриветь — придется приезжать.

Доктор был необходим волостному правителю. По его словам, он где-то наткнулся в темноте на сук. Глаз совершенно запух. Доктор опасался осложнений, хотя отлично понимал, что мифический звук тут ни при чем. К тому же досужие сплетники из пациентов успели рассказать о происшествии у дома Пардабая: «Черный джинн головой упирался в небо. Плечи у него — в сажень. Плеть у него с семью хвостами. Он так хлестнул... у господина Кагарбека чуть мозги не выскочили!»

Многие в волости Кагарбека боялись и ненавидели. Не было еще случая, чтобы кто-либо из пациентов доктора отозвался хорошо о Кагарбеке.

Но спесь свою волостной унять не мог: капризничал, пы-

тался сломить упорство доктора. Требовал, чтобы доктор ездил к нему: «Я начальник! Большой начальник! Обязаны явиться ко мне!»

— Я врач. Целитель здоровья людей, а ежели господин волостной не соизволит приезжать в положенные дни лечиться в амбулаторию, где у меня все под рукой — и лекарства, и инструменты, и соответственно полная асептика, — пусть пеняет на себя!

В Туркестан доктор приехал лечить сирых и несчастных. Попав в кишлак Тилляу, он нашел любимое дело, благородное занятие, применение своим знаниям и способностям. Ему казалось, что он близок к своему нравственному идеалу. И он не желал, чтобы ему мешали. А мешали ему все, и всюду, и во всем. Пристав. Муфтий. Сам волостной Кагарбек.

Доктор говорил:

— Две тысячи лет тому назад врач эллинов Гиппократ дал благородную клятву. Мы все, молодые врачи, связываем себя Гиппократовой клятвой при выпуске из университета. Именем благороднейшего человека, жившего в древней Греции, мы и сейчас клянемся лечить больных во имя гуманности и доброты. Следует думать, что за две тысячи лет человечество ушло достаточно далеко вперед в культурном отношении, чтобы врачи, наши современники, свято держали эту клятву. И многие держат.

Но с точки зрения волостного правителя поведение доктора было ни с чем несообразно. «Слаб человек. Вода размывает арык в слабом месте. Молодой врач — семейный... Молодой супруге нужно и платье шелковое, и бусы, и то, и се, и третье, и десятое. А ведь пациент Кагарбек — большой человек, уважаемый, богатый. Доктор должен кланяться: «Соблаговолите полечиться!» А тут приходилось великому господину Кагарбеку ездить самому в амбулаторию, сидеть в приемном покое, проходить все предписанные медициной процедуры. И ничего не поделаешь. Презирал доктор тех, кто использовал медицину в целях наживы.

Он понимал слабости людей, но испытывал отвращение к слову — «нажива». В этом он находил всегда поддержку Ольги Алексеевны. Она была бестужевка. Бестужевские курсы в Петербурге называли — Первый женский университет России. Великий Менделеев говорил, что эти курсы «обеспечивали образованность женщин, подруг и матерей, образованность, опирающуюся на искание простой правды, а потом через нее — истины. Образованность, ведущая к усердному труду, прощающая, а не требовательная; свободная, а не взыскательная; любящая, а не проклинающая».

Именно здесь выработались умственные и душевные качества Ольги Алексеевны. Ей не удалось закончить курс наук,

На одном студенческом концерте она пела. Обратила на себя внимание и была приглашена в Петербургскую консерваторию. Сильный голос, выдающийся талант открыли перед нею путь в Императорский Марининский оперный театр.

А потом... она стала подругой доктора, матерью его детей, верным спутником и помощником в его гуманной миссии — нести здоровье людям в Туркестане. Ольга Алексеевна также, как ее муж, ненавидела алчность и отвергала решительно и бесповоротно «дары» и «подношения». Многих это ставило в тупик, вызывало в них недоумение, а порой и возмущение. Но господин муфтий уважительно отзывался о бескорыстии доктора Ивана. После своего счастливого исцеления назвал доктора почетно «ходжа-хаким».

Это не мешало почтенному священнослужителю и блюстителю законности брать с просителей взятки весьма охотно. Налоги с чайрикеров, работавших на вакуфных землях Тешикташского мазара, он тоже взымал совершенно беспощадно. Он отнюдь не стремился прослыть бессребреником или бескорыстным. При своем мнении остался и волостной правитель Кагарбек.

Вовремя принятые меры спасли глаз Кагарбеку. Зрение в нем сохранилось.

Когда лечение глаза благополучно завершилось, он привел в конюшню доктора прекрасного жеребца — карабаирской породы. Доктор приказал Гасану отвести лошадь обратно. Джигит волостного снова привел коня. И вновь доктор отправил его обратно с запиской: «Ваш конь заблудился. Возвращаю». И снова началась та же игра.

Карабаир уже стал узнавать Лолу-атын и ребят, тайком кормивших его сахаром, но доктор отказывался признавать коня своим и продолжал ездить на собственном коне.

«Иван-дохтур — человек сродни Афанди», — вывел заключение Кагарбек.

## XIV

Прыгнул лев до неба — ногу

вывихнул.

Суданская поговорка

Не хвастай! Ты будешь побежден,  
если вздумашь хвастаться.

Низами Гянджеви

Прояснилось многое.

Едва Кагарбек вернулся после длительного отсутствия — он ездил на свадебный той в лежавший по ту сторону Канджигалинского хребта большой кишлак Алмас, — как тут же узнал, что пропавший без вести лесной объездчик, смутьян

в заступник вдов и сирот, охотник Мерген, оказывается, не утонул в пучине горного потока, не разбился насмерть в бездонной пропасти, а жив-живехонек. Мало того, что жив, но и лечится. И где? В амбулатории, находящейся в вотчине его, всемогущего волостного управителя Кагарбека,— в кишлаке Тилляу. Было отчего прийти в ярость.

Раны Кагарбека, полученные в достопамятной схватке в ушелье, еще ныли и саднили. Рука плохо двигалась. Но главное — душу «свербили» горькие мысли о смертельном оскорблении. Глаз болел нестерпимо. А тут еще горный помещик Сахиб Джелял нанес Кагарбеку смертельное оскорбление, а Мерген, по сведениям базарных людей и горных пастухов, был желанным гостем в глиняном замке и, несомненно, причастен к увозу Юлдуз.

И самое обидное. Юлдуз даже не опустила своих прелестных глаз, когда попалась ему на крутой улочке на каменистом подъеме у вековых ив рядом с амбулаторией сегодня утром. Она ехала на базар на коне Сахиба в сопровождении двух родственниц — тетушек Мергена. Больше того — Кагарбеку померещилось, что Юлдуз глянула на него с ехидцей и насмешкой. «Вот ты, Кагарбек, какой храбрец! С девушками воевать горазд! А настоящие батыры тебе не по плечу!» — говорил взгляд ее огненных очей.

Боль в глазу не давала покоя... а может быть, и в сердце.

Не медля ни минуты, Кагарбек погнал коня, не заезжая в ворота своего дома, прямо в амбулаторию.

Сорвать досаду! Разнести проклятую больницу! Выволочь из палаты проклятого Мергена! Растоптать его копытами коня!

Но пыл его сразу погас. Амбулатория сияла на солнце белыми, заново выкрашенными известкой стенами. Чисто вымытые зеркальные стекла блестели, играя зайчиками на лицах Кагарбека и его стражников. Дежурные санитары в белоснежных халатах решительно преградили волостному правителю вход в палаты. Острый запах карболки и йодоформа ударил в нос. Да так, что кони шарахнулись назад.

Ни Юлдуз, ни тетушек около амбулатории не оказалось. Не было и их лошадей у коновязи. Женщины оказались предусмотрительными. И... предпочли исчезнуть. Они слишком хорошо знали самодура волостного.

И, полный наглой спеси, Кагарбек сразу ослаб, сник. Ему сделалось дурно... Один внешний вид амбулатории, ее белые стены вызвали в нем воспоминания крайне неприятные. Режущие боли в глазу, мучения нестерпимые. Боли в плече...

Воинственная внешность, мужественный облик обманчивы. Увы! Кагарбек не переносил малейшей боли. Он малодушно кричал, едва скальпель касался его кожи.

И сейчас он застонал и белый, как бумага, начал беспомощно сползать с коня, и его подхватили под руки и повели вверх по ступенькам, выложенным жженым кирпичом, к парадному ходу больницы.

Из головы Кагарбека вылетели и Юлдуз и Мерген с его необыкновенным спасением. Сразу же Кагарбек потерял всякое желание встречаться с Мергеном, а уж тем более вступать с ним в какой бы там ни было поединок.

Живой или мертвый! Гордый джинн или обыкновенный человек! Что ему за дело!

Он вдруг почувствовал, что в плече открылась рана, сердце катится куда-то вниз. И он заговорил робко, просительно:

— Молю о милости, доктор! У порога целителя — несчастный больной. Приложите вашей мази к моему бедному, раненому плечу, доктор!

— Заходите! Сейчас мы окажем вам помощь. Опять вы к нам со старой раной. Говорилось вам: дальняя поездка верхом отрицательно скажется... на вашем общем состоянии.

Доктор не особенно признавал в медицинской практике гипноз, но сам сейчас почти уверовал в свои гипнотические способности.

Зачем сюда пожаловал белый от злобы Кагарбек, гадать не приходилось. В одной из палат сельской больницы лежал еще слабый, почти беспомощный лесной объездчик Мерген.

Зачем объявился волостной правитель перед амбулаторией, ясно! В горах уже все слышали о столкновении Мергена с ним. Все знали, что Кагарбек вселил и безнаказан. Кагарбек ничего и никого не боялся. Кагарбек думал, что убил тогда в ущелье Мергена, но он не спрятал достаточно хорошо концы в воду, как в случае со стариком табибом — отцом Мергена.

Кагарбек ехал в амбулаторию, чтобы довершить дело. Он и довершил бы... И вдруг... сам ощутил сильно свои раны и под гипнотическим взглядом доктора, взглядом, которому, очевидно, придавали гипнотическую силу стекла докторского пенсне, волостной окончательно стушевался и только просил:

— Помогите, хаким! Окажите помощь! Боль невыносимая.

Под руки, бережно его повели наверх по ступенькам крыльца.

Свирепые стражники волостного — их недаром Ольга Алексеевна прозвала опричниками — спешились. Коня топтали на месте, ловя губами пожухлые былинки на обочине сухого арыка. Стражники сидели на корточках и уныло чертили по пыли рукоятками своих камчей. Уныние объяснялось просто: «опричникам» не полагалось видеть проявление

слабости своего повелителя. А тут при посторонних Кагарбек смалодушничал. Нехорошо!

Лица стражников набрякли и побледнели...

## XV

О бесстыдный живот,  
Довольствуйся одним хлебом!

Х у д ж а н д и

«Из вороньего гнезда не достанешь куриного яйца», — говорят горцы.

«Когда осел лягает осла, зубы у ослов остаются целы». В случае надобности горцы прибегают и к этой пословице.

Как ни странно, обе эти пословицы ассоциировались в хитроумном мозгу Сергея Карловича с одним-единственным словом: «Золото!»

Когда Сергей Карлович получил против своего желания назначение в Тилляу полицейским приставом, он даже не потрудился узнать, что значит название этого географического пункта. Сергей Карлович считал себя обиженным судьбой, людьми, начальством, всем светом. И ему было наплевать на всякие там «смыслы и значения».

Его, гвардейского офицера из прибалтийских баронов, и к тому же человека, обремененного неприятным, постыдным недугом, требовавшим серьезного лечения, «воткнули» в настоящее воронье гнездо.

Было от чего впасть в хандру и уныние.

И не один год службы в приставах Сергей Карлович пребывал в состоянии модной тогда неврастении и духовного унадка. У него все вызывало отвращение: и люди, и горы, и рисовые комариные поля, и даже кишашие дичью тугаи Ангрена, и степи, заросшие колючкой, и боли, пронизывающие вечно его суставы.

Годы уныния, недугов, зноя, пыли, нудных, скучнейших обязанностей без просвета...

Появление доктора все изменило.

Доктор нашел способ вылечить — или вернее залечить — его болезнь, воскресил его.

А госпожа докторша пробудила его к жизни. И не только потому, что она была обаятельна. Ольга Алексеевна к тому же была умной, образованной, полной интереса к жизни собеседницей.

Вообще Сергей Карлович заехал к доктору совсем не для того, чтобы попить чайку, рассыпаться в комплиментах очаровательной Ольги Алексеевне и пересказать новейшие анекдоты и сплетни генерал-губернаторского двора. Нет, полицейский пристав не забывал, что он находится при исполне-

нии служебных обязанностей. Отдадим должное его тактичности. Он существо вопроса пытался выявить с самыми тонкими уловками.

Он в который раз посетовал, что такая очаровательная дама вынуждена жить в глуши, терпеть пыль, невежество.

— Ваш голос, ваши таланты достойны украшать салоны Петербурга.

— Вы забыли,— из-за самовара проговорила нараспев Ольга Алексеевна,— мы сами с Жаном приехали сюда... по своему желанию.

— Знаю, знаю, Ольга Алексеевна! Лечить, спасти от болезней... увы... всякую шваль... бродяг.

— Они люди! А вы говорите — бродяги. Разве так можно?

Надо сказать, слово «бродяги» было брошено.

Но Ольга Алексеевна все-таки дала маленькую зацепочку. Ее почему-то возмутило слово «бродяги».

— Ваше возмущение делает честь вашей гуманной натуре. Бродяги... мм... бродяга. А вы не побаиваетесь... этих самых бродяг?

— Почему? Мы живем на людях. Кругом у нас друзья. Они очень уважают Ивана Петровича. И опять же...

— Гм... А тут к вам приставал один бродяга.

Он пристально, не отрывая глаз, смотрел мимо блестящего начищенного самовара, и именно это медное сияние мешало его наблюдениям.

И все же он весь напрягся. Ему показалось, что нежнейшее бледно-розовое лицо его собеседницы чуть-чуть порозовело.

— Не понимаю... Где? Когда?

— А на переправе. Помните, вы возвращались из России... из отпуска, так сказать. И мне показалось, что эти мардикеры, то есть бродяги, особенно один осмелился приставать к вам...

— О нет! Никто не приставал. Обыкновенные, добродушные дехкане... Помогали нам.

— Но тот бродяга?

— Какой бродяга?

— Один из них... Он же четверть битых часа приставал к вам с разговорами. Что он вам говорил?

— Фи! Я и забыла уже...

— И все же? Вы же запомнили. Что же он вам говорил?

— И это так важно?.. Впрочем, вы полицейский, и вам все интересно. Вам не налить?

— Налейте, пожалуйста... И все же. Он не узбек, не киргиз.

— Кто же?

— Вот это я и хотел бы знать. Скажите, на каком языке он говорил с вами? Вы слушали его так внимательно,



— Внимательно?

Неужели пристав поймет, что она не отвечает сразу, желая выиграть время, обдумать, сочинить. Нет, ему надо отвечать сразу же.... молниеносно...

— Он говорил на местном языке,— быстро сказала она.. и подумала: «Как мне от него отвязаться?»

— А что он говорил?

— Он приставал... просил лекарство.

— И он получил его?

— Да, я дала ему порошки хинина.

— А ваш супруг говорит, что он дал ему порошки.

— Жан вынул порошки. Я взяла у него из рук. Дала этому, как вы его именуєте, бродяге.

— А как вы его именуєте?

— Он... он просто мардикер... Хотел заработать на переноске вещей.

Сергей Карлович, нарушая правила хорошего тона, раскачивался на задних ножках венского стула. И смотрел теперь уже на потолок.

Вконец растерявшись, Ольга Алексеевна передвигала чашки сервиза, отлично понимая, что надо говорить... о погоде, о горах, о Ташкенте, но не могла выжать из себя ни слова.

— Хорошо,— сказал наконец Мерлин.— Очень хорошо. Но скажите, пожалуйста, после той встречи вы видели этого... мардикера?

Она не могла сказать «нет». Ни разу в жизни с ее уст не срывалось слово неправды. И она молчала, побледнев.

Мерлин с удовольствием сказал:

— Значит, я прав. Этот человек не просто мардикер и не бродяга даже... Кто же он? Вы знаете?

— Нет, не знаю!

Она эти слова просто выкрикнула.

— Не знаю! Не знаю! И не хочу знать!

— А Иван Петрович знает?

— Повторяю вам. Я ничего не знаю. И знать не хочу. И разрешите вам сказать, Сергей Карлович... Вам не кажется, что весь этот разговор... просто недопустимый разговор и... и... неджентльменский.

Мерлин опять долго молчал, прихлебывая чай. Но, вся напрягшись, Ольга Алексеевна ждала новых вопросов:

— Знаете что,— вдруг заговорил пристав,— а вот Кагарбек знает. И Кагарбек сказал: «Доктор знает. Его ханум знает...»

— «Золотой болван» знает? Вот вы его и спрашивайте, дорогой Сергей Карлович.

Но прозвище «золотой болван», вдруг произнесенное в разговоре, породило довольно неожиданные ассоциации.

— А знаете, Сергей Карлович,— сказала Ольга Алексеевна,— мы с вами живем не только под эгидой золотого начальства, но и в окружении золота...

Просто подскочил на своем стуле Сергей Карлович:

— Как?

— Очень просто. А вы задумывались, что значит Тилляу? Вот вы живете здесь... лет восемь. Вы говорили и вы не знаете. А ведь «Тилляу» — это «Золотой».

— Золотой?!

Сергей Карлович буквально поперхнулся малиновым вареньем, которое так вкусно было здесь, в Тилляу. Варила его Ольга Алексеевна в родном Полоцке и везла сюда за четыре тысячи верст.

Слово «Золотой», произнесенное Ольгой Алексеевной, оглушило Сергея Карловича, пробудило в нем такие мысли, интересы, которые перевернули его жизнь.

Надо сказать, что еще раньше произошел переворот в мыслях и настроениях Кагарбека.

До сих пор кем он был? Феодалом, помещиком, вытягивающим из людей и земли все жизненные соки.

Жил, как жили его предки, горные феодалы. Их богатством была земля, крепкие руки горцев-дехан, добывавших им жирную пищу.

Кагарбек пользовался тем, что лежало на поверхности земли. Оно удовлетворяло все его потребности.

То, что лежало под землей, то, что когда-то добывали, еще до Чингисхана, люди, носившие имя ахангаров — кузнецов — не интересовало Кагарбека.

И вдруг прозвучало слово «Золото!»

Пристав вдруг звонко шлепнул себя по лбу:

— О, теперь я понимаю!

— Что вы понимаете?

— О, господи! Вот хитрец, вот интриган! Они тут колготятся, возню затеяли. Они делают свои дела-делишки... А вы знаете, тот бродяга... его прозвище не знаете? Почему у него кличка «геолог»? А? Бродяга... и геолог. То-то и оно. Ах они хитроумы! Что же они думают, тут одни олухи царя небесного? Ну, нет, господин Кагарбек! Ну, нет, муфтий! Недаром у вас околачивается этот янки. Ваше превосходительство пристав Мерлин вам покажет кузькину, извините, мать.

Сергей Карлович не допил чая. Не задал больше ни одного вопроса. Не остался послушать столь любимые романсы. Он даже не извинился. Облобызав нежные пальчики хозяйки, он выбежал из дома и ускакал.

## XVI

До земли пальцем дотронься —  
золото выступит. Но нет такого пальца  
у крестьянина... Увы!

А хикар

Оттого змея жалит пастуха, что  
боится, как бы он не разбил ей го-  
лову камнем.

Персидская поговорка

Волостной Кагарбек вполне оправдывал свое прозвище — «золотой болван».

И вовсе не случай с бедняком Пардабаем и его дочерью Юлдуз, и не сведение личных счетов чуть не привели к гибели лесного объездчика в горном ущелье. Причины вражды Кагарбека и Мергена, как выяснилось позже, оказались гораздо глубже.

Как-то ночью лесной объездчик Мерген постучался в ворота доктора. Но на этот раз он приехал не затем, чтобы проведать своих сыновей... Он просил о помощи: Он был очень серьезно ранен. Пришлось поместить его в больницу.

Пока Мерген лежал на белоснежной койке в палате № 2 тилляуской лечебницы, он был вынужден отвечать на кое-какие вопросы. К примеру говоря, был у Ивана Петровича такой вопрос: «Чем причинены тяжелые ожоги в области грудной клетки и в нижней полости живота?» «Кто и чем причинил ожоги?»

И рукой доктора в историю болезни было записано: «Ожоги первой степени причинены раскаленным железным стерженьем или другим предметом...»

— А жгли меня стражники «золотого болвана», — рассказывал неохотно Мерген. — А сам «золотой болван» приказывал жечь мое тело и все спрашивал: «Где золото?» Хотел, видите ли, узнать, куда прячет золото лесной объездчик Мерген?

— Золото?

— Да, ему понадобилось золото, которое Мерген, то есть мы, копаем из горы. Он сказал, что копаем...

Мерген ждал, что доктор спросит про золото, и смотрел испытующе и даже настороженно. Но Иван Петрович с полным безразличием продолжал писать. Лесной объездчик тоже молчал. Долго и очень внимательно смотрел на потолок. Но потолок алебастровый, сработанный искусно очень умелым мастером, который резал по ганчу во всех мечетях Ахангаранской долины, не имел ни единой царапины или трещины. Значит, на потолке нечего было разглядывать...

Но почему-то взгляд Мергена делался все суровее. Такой взгляд у Мергена доктор заметил лишь однажды, года

два назад, когда они вместе поднялись на седловину Канджигалинского перевала. Так Мерген смотрел тогда на снежного барса, великолепный экземпляр могучего животного, обитавшего только в дебрях Тяньшацских гор.

Барс важно разлегся на плоском, теплом от солнечных лучей камне и бесцеремонно, даже снисходительно, разглядывал путешественников, усевшихся на камнях в десяти шагах от него, чтобы немного отдышаться самим и дать отдохнуть лошадям.

Снежный барс почему-то медлил. Он имел немалый возраст и столь же солидный опыт. По-видимому, барс углядел, что двуногие существа не держат опасных ружей — в тот раз Мерген по просьбе доктора приторочил свою знаменитую и достославную винтовку к седлу. Они ехали в аул джузов, очень воинственных кочевников из Кашгарии, и надо было загодя внушить им, что они, путешественники, не имеют никаких воинственных намерений.

Барс сладко позевывал, показывая бархатный, ярко-малиновый язык.

У лесного объездчика с этим барсом были «личные счета». Барс разорил курятник Мергена. Но охотник бессилен был что-либо сделать.

Нечто подобное переживал, видимо, Мерген сейчас, прикованный к больничной койке. С каким восторгом он вскочил бы, оделся, схватил винтовку и ринулся бы на... охоту. Но он только медленно проворчал:

— Когда они... то есть, когда мы лежали на курпаче из горящих углей и они рассуждали, жечь мне бороду или не жечь... А тогда конец бы пришел нам. У тех, кому жгут бороду, глаза вытекают. В Коканде при ханах так казнили. Так вот, лежу я и вижу... Знаете, доктор, что мы увидели?..

— Но боль ужасная. Что тут можно видеть?

— Там, поодаль, за юртами, внизу, в ложине, — фазтон. И в фазтоне человек с широченным задом, в синем камзоле. На голове шляпа с пером. Запрягал коней... Отличные кони, серые в яблоках.

Доктор удивился:

— Фазтон? Кони в яблоках? Да это же... Но как фазтон мог попасть на джейляу? Что? Его на руках туда заташили? Непонятно. И что понадобилось Даннигану на джейляу? Опишите, пожалуйста, их. Вообще дьявольщина какая-то!

— Дело ибليس, конечно. Вы видели, доктор, что они со мной хотели сделать? И бороду сожгли бы... Только зазевались, и Мерген ушел.

— Молодец! Но расскажите подробнее.

— Фазтон? Арба? И человек в шляпе с пером?

— Кучер?

— Ну... арбакеш... Извозчик, одним словом.

— А американец?

— Кто?

Доктор пояснил, рассказав о встрече на переправе.

— Нет... Такого я ни в ауле, ни на джейляу не встречал, не видел, а то бы...

— Тогда расскажите подробнее, что это за болтовня? Какое золото?

— Не знаем.

— Нет дыма без огня. Там, где дым, там люди, а к золоту у них тяга.

Но лесной объездчик так и не удовлетворил любопытства доктора.

— Мы, Мерген, пережгли ремешки. Изверги связали мне руки, а про ноги забыли. Мерген как даст ногой «золотому болвану»!.. Он за живот. Так, наверно, и ходит, за живот держится. Мы шашку у волостного отняли, порезали Кагарбека малость. Но у Кагарбека прислужников да подхалимов разных много. Пришлось уползти в сай... «Золотой болван» вообразил — лесной объездчик кончился... мертвый на дне потока лежит, рыб кормит своим телом. Нет, Мерген жив! Мерген здоров! Берегись теперь, Кагарбек!

Ясно, Кагарбек начал искать золото. Человек он жадный, алчный. Золотая лихорадка овладела всем его существом — «и головой, и сердцем, и желудком».

Он искал золото вместе с приславом Сергеем Карловичем. Они искали его всюду и везде. Больше всех метался Кагарбек. Даже поехав в селение Алмас, что по ту сторону Канджигалинского перевала, на одном свадебном тое он усиленно расспрашивал про древние рудники, заводил обстоятельные разговоры со старыми охотниками и следопытами... о золоте. И во всех разговорах фигурировал отец Мергена, знаменитый в горах Алмалыка и Карамазара таиб, волшебник-джадугар, столетний дервиш мусафир Зия-бен-Кабул.

Ныне его не было в живых. Многие тайны гор унес он с собой в могилу. Но оставался его сын Мерген, охотник и следопыт.

По легкомыслию, пристекавшему из самонадеянности Кагарбек не склонен был считаться с лесным объездчиком Мергеном.

Волостной управитель был уверен, что не посмеет какой-то «горный бродяга» дать волю мстительным чувствам.

Не желал Кагарбек считаться с очевидными фактами, не говоря уж о том, что называть государственного служащего «бродягой» не было никаких оснований.

Да и вообще он плохо знал лесного объездчика.

— Сделали пса шахом, а он все равно лает, — закончил свой рассказ Мерген. — А собак бьют!

## XVII

Несчастный он! Ждет, что снег  
вспыхнет во мраке, что вода брызнет  
из камня, что роза расцветет в  
руке дьявола!

Джебраи Халил Джебран

Сегодня опять гости. В мехмонхане концерт.

Ночь светла...

Над рекой

тихо светит луна

И блестит серебром

голубая волна.

Но мальчишек музыка не слишком манит. К тому же у них — дела. Важное поручение мамы. И пока она исполняет перед слушателями старинные романсы — а среди слушателей сам дядя Мерлин, — они перелезают на задворках через осыпавшийся, щелястый, со скорпионами дувал.

Но и дувал, и скорпионы им ничем, и они, вообразив себя краснокожими индейцами, уже крадутся позади мечети к окраине кишлака в полной темноте к хижине сучи Пардабая.

Очень темно. Зловеще, предостерегающе кричит сова в листе карагача, что у входа на кладбище. Звуки романса еще доносятся сюда — очень красивые, мелодичные...

Мальчики очень любят, когда поет их мама, но сейчас им не до того. Они спешат. Ольга Алексеевна им сказала: «Сегодня четверг... Дядя Жора придет с гор. Надо отнести ему записку и вот этот сверток».

Дядя Жора в определенные дни приезжает на лошади в кишлак. И всегда останавливается у сучи Пардабая. Он не заходит в дом доктора. Почему? Видно, взрослым лучше знать.

Говорят, он не хочет встречаться с какими-то людьми. Но это его дело. Мальчишки совершают таинственные походы по улочкам кишлака, мимо базарчика. Они осторожно пробираются и через муфтиевы сады. У них и стрелы, и головные украшения с перьями. И в кармане упрятана записка или сверток с лекарствами. Поход «индейцев племени могикан» завершился у полуразвалившейся ограды владений Пардабая филиньим стоном: «У-у! У-у!»

Звонко откликнулась со двора обычно Айниса — жена Пардабая. И тут же следовал многоголосый писк и визг пардабаевского малолетнего племени, нарушая тишину уже погружившегося в сон кишлака. Летели стрелы, стучали дубинки... Но битва «индейцев» сразу же стихала, едва появлялся в

ярко освещенном четырехугольнике двери черный силуэт Пардабая и возгласом: «Эй, койсанчи!» «Эй, оставьте!» — отнавливал битву.

В хижине пахло кунжутным маслом, пережаренным луком, сырыми кошмами. В прочерневшем очаге тлели красными глазками угли арчового дерева, испуская ароматы сандала и смолы. Рядом с очагом, шипя и плюясь искрами, горел фитилек в глиняной плошке. Под черным от копоти потолком белели вычурные линии старинного орнамента растрескавшихся от дряхлости узорных ниш. В одной из ниш, на полочке — токче, — лежала стопка книжек. Книги в доме неграмотного крестьянина навевали на мальчишек мысли о чем-то таинственном и непонятном. Пардабай, прихрамывая, осторожно подходил к полке, благоговейно снимал стопку, всю сразу, дул, и серое облако пыли растворялось во тьме. Он подносил книжки к очагу, приближал их серыми переплетами к плескавшемуся желтому огоньку свечильника — чирага и хрипел — он всегда был простужен: «О медоусый Бедиль! О несравненный Хафиз! «Хафтияк» — слово пророка Мухаммеда! Вы освещаете светом знания бедное жилище раба аллаха Пардабая!»

Он гладил стопку книжек железной по силе и железной по цвету ладонью, вздыхал и произносил: «Бисмилля!»

Затем пальцами левой руки снимал кончик тлеющего фитиля, чтобы пламя чирага разгорелось поярче, и звал:

— Айниса! Где ты? Иди сюда! Разговор есть.

Из густой, дымной тьмы низкой, приземистой комнаты выступала Айниса, приветливая, с добрыми, умными глазами.

— Почитай нам, Айнисахон, про Лукман-хакима... или из «Латифэ» про Насреддина Афанди.

Книги для Пардабая были сплошной абракадаброй. В семье его одна лишь Айниса какими-то неведомыми путями, еще девочкой, овладела арабской грамотой и была единственной, кто листал страницы книг, неведомо когда, может быть, столетие назад попавшие в нишу.

Склонив свое милое лицо с наметившимися морщинками над книгой, Айниса читала:

Куда уходишь ты, о сердце?

Так поспешно уходишь!

Куда?

— И тут же восклицала: — Это Хафиз — царь поэтов!

Она ловко длинными пальцами вытаскивает запрятанную меж страниц, аккуратно сложенную записку и передает ее Мише. Он уже держит наготове другую записку, и тетя Айниса на лету подхватывает ее. Книжка уже захлопнута и открыта другая:

— «Однажды Насреддин Афанди спросил у уважаемого казая, почему в мире такое неустройство: кто много работает, сухой корочки не видит, а кто лежит весь день на одеяле, нос воротит от плова».

Она читает, а хозяин дома, бесконечно уставший, в еще непросохшей после работы на речной переправе нищенской одежде, дрожа у остывающего очага, кутается в рваное одеяло. Темной бронзой маслянисто поблескивают сквозь прорехи в халате его мускулистые руки. Он начинает дрожать мелкой дрожью. Лицо его искажается гримасой. Глаза болезненно поблескивают. У него, видимо, повысилась температура, начался приступ малярии. Но он все просит:

— Читай, Айниса! Книга отдых для тела, умиление души.

Мальчишки сидят замороженные удивительными, веселыми историями про Насреддина Афанди и его осла и дружно смеются. (Они уже сносно говорят по-узбекски и почти все понимают).

Айниса увлечена чтением, глаза ее сияют. Но вот она взглянула на Пардабая, и взгляд ее потух.

— Ох-вох, господин мой, вы совсем больны! Сейчас вскипачу вам чаю... И вам надо лечь.

— Чай кончился,— извиняющимся тоном говорит Пардабай.

Надо сказать, что у них, как во всех кишлачных семьях, чай хранится в сундуке у главы семьи. Чай дорог и не по карману бедняку. Его заваривают только для гостей и на праздничных тоях.

Тогда Алеша спохватывается и протягивает тете Айнисе принесенный из дома сверток:

— Мама прислала. Сказала, для дяди Жоры... Но ведь все равно... и Пардабай-ака тоже пусть пьет.

— Пусть здорова будет твоя матушка! Спасибо.

Айниса-апа выпроваживает «индейцев» в ночь, в темноту, и они, притихшие, полные впечатлений, пробираются опять задворками и садами домой.

Готовящийся к полуночному намазу, муфтий черным дивом, со светящейся седой бородой, ходит по террасе мечети. Он не отвечает на «салом» ребят, а ворчит что-то себе под нос.

Но вот и дом доктора, «могикане» сходят с «военной тропы». Записка доходит до адресата.

Но случается и так, что посланцы застают в доме Пардабая и Георгия Ивановича...

Он сидит, сутулясь под накинутым на плечи халатом, и, зябко протянув к очагу руки, греет их над углями, которые тлеют в ямке и зимой и летом. Угарный запах заставляет морщиться, но что ж поделаешь? Спички дороги, и не по



карману Пардабаю. Пусть горит «вечный огонь», как горел он в пещере первобытного человека. Да и хижина сучи и батрака Пардабая мало отличается от первобытной пещеры. Глина стен, глиняный пол, глиняная на камыше крыша... Да и свету очень мало в таком жилище. И сырость такая, что кости ломит. Никакой мебели, кроме кое-как сколоченного сандала — низкого столика, накрываемого в зимние холода стеганым одеялом, из которого торчат клочки ваты. Сидя вокруг сандала, все засовывают под него ноги и так греются, спасаясь от дуящего со всех сторон сквозняка.

Георгий Иванович тоже сидит за сандалом вместе с Пардабаем и Айнисой. Она опять читает вслух. Лицо ее на этот раз выглядывает из-под накинутаго на голову камзола. Да и Пардабай сегодня принарядился. Он в новом халате. Худощавый, верткий, он не может усидеть на месте: вскакивает, шлепает по циновкам большими черными ступнями, притаскивает из прихожей жаровню с горящими голубым огнем углями. Несет два чайника. Звенит замком, доставая из сундука чай для заварки. Он неумолчно говорит, и видно, что он бодрится. Малярия мучает его худое, жилистое тело. Он восклицает с напускной бодростью (Как же, у него почетный гость!):

— Почитай, Айнисахон, про смешное... про Афанди, как он на дерево залез в кавушах. Кто смеется, толстеет.

Он тяжело опускается на свое место, на ветхое одеяло:

— Раб я! Обугленная душа у меня!..— Он сучковатой палкой ворошит угли в очаге. Глаза у него горят нездоровым блеском и... тихим бешенством. Он рассержен... Айниса рассказывает:

— Волостной на переправе сегодня неистовствовал... Бил сучи за что-то камчой. Пардабай-ака еле дотащился до дому.

Она всхлипывает.

— Молчи! Почитай нам. Но прежде, жена, неси ужин.

Айниса скоро возвращается с большой глиняной миской. В ней дымится вкусным паром каша из маша с самой незначительной примесью риса. Словом, это пища бедняков — машурда. Мальчишки только из вежливости, чтобы не обидеть хозяина, чуть-чуть попробовали ее, а Пардабай жадно набрасывается на еду.

— Еда для пасти,— говорит он с полным ртом,— слава для макушки. Прошу вас, гости дорогие, кушайте. Милость с вами! Ох, я раб хозяина. Я раб пристава и волостного Раб я аллаха.

Пардабай ест как одержимый. Говорит как одержимый. Он никак не может прийти в себя после свершившегося на речной переправе.

Своими резкими словами, проклятьями, жестами он даже

пугает смелых «могиқан», и они поглядывают на двери, за которыми уже ночь, и собираются тихонько исчезнуть.

Но Георгий Иванович делает страшные глаза и жестаи показывает, что у него есть дело к мальчишкам и чтобы они пока не уходили.

Приходится сидеть, скучать. Откуда Алеше и Мише знать, что несчастный, забитый батрак сегодня первый раз в жизни осмелился запротестовать и что он восстал сегодня против хозяина и бога!

Айниса — заботливая жена. Она поит простуженного мужа чаем и укоряет Мишу:

— Почему не принес «дору» — лекарство? Хины просила я у тебя.

Важно, не говоря ни слова, мальчик достает из кармана белый пакетик. Смотрит на надпись и голосом Ивана Петровича возглашает:

— «Хи-ни-ни муриятици». Принимать три раза в день. Запивать чистой кипяченой водой! Чаем нельзя.

Он просто уморителен в своей важности и делает вид, что читает по-латыни... Миша умеет уже читать, но только русский текст и... как это не удивительно, — арабский. Этому его научила добрая тетя Айниса.

Тотчас же Айниса приносит пиалу и спрашивает Пардабая принять лекарство. Сучи суеверен. Он относится к лекарствам настороженно. И Георгий Иванович убедительно — в который раз! — объясняет ему пользу хины при малярии.

Выпив порошок, Пардабай, охая и постанывая, забирается под свое рваное одеяло, спрашивая: «Побольше огня! Побольше...»

Айниса приносит новые чайники с чаем. Беседа ведется вполголоса. За открытой дверью стоит ночь. Изредка доносятся стонущие крики птички байбачча. Шумит далекий полноводный в эти дни Ангрен.

Георгий Иванович подходит к нише и снимает с топки книжки, извлекает из них записки, положенные туда раньше. Он долго читает их и одну за другой бросает на пылающие угли сандала.

— Я сам... Дайте мне! — Миша отбирает прочитанные письма. Любопытно смотреть, как белая бумажка вспыхивает желтым пламенем, сворачивается и превращается в черную сморщенную фигурку то ли собачки, то ли человека, то ли еще чего-то. Айниса-апа тоже смотрит на огонь своими умными таинственными глазами и бормочет, точно колдунья:

— Презратись! Перевернись! В ангела обратись!.. Единственная! Несравненна! Диковинная! Появись!

С философским спокойствием Георгий Иванович что-то

пашет на согнутом колене. Это записка, которую наши «индейцы» доставят тайно в докторский дом.

— Сейчас пойдете домой, скажете папе, что я ночую на мазаре.

То ли проснувшись, то ли в полубреду заговорил своим хриплым голосом, не высовывая голову из-под одеяла, сучи Пардабай:

— Георгий-ака! Зачем ты, человек просвещенный, имешь дело с ничтожным рабом, руки которого покрыты грязью байской конюшни и хлева? Руки в коросте и мозолях... Ох, жарко мне! Айниса, дай напиток. Я не знаю, Георгий-ака, кто тебя гонит? Зачем тебе бродить... ходить... по мазарам? Берегись! Муфтий все видит. Язык у него — стрела, зубы — дубина. Святой отец ошиплет курицу так, что она и не закудахтает. Он закричит: «Кяфир оскверняет могилы!» Тебя увидят на мазаре... Зачем тебе уходить отсюда? Спи у меня. Всегда, когда нужно, приходи к Пардабаю, к сучи и батраку, к рабу аллаха. Порог моей мехмонханы — не высокий, забор с колючками наверху. Всегда тепло, зола в очаге не остывает. И хоть плова мы не готовим — машхурда всегда в котле бурчит.

Слова его, напряженные, болезненные, тоже переходят в невнятное бурчание.

— Ну теперь больной заснет,— важно докторским тоном говорит Миша. Он тащит из ниши ватное одеяло, накрывает Пардабая и продолжает авторитетно:— Теперь придет испарина, то есть больной вспотеет. Завтра утром повторите прием порошка. Больному — покой!

Никто не смеется над маленьким «доктором». Айниса с нежностью смотрит на Мишу.

Дописав письмо и вручив его «индейцам», Георгий Иванович вместе с мальчишками выходит из мазанки. Ребята ящерками ускользают под покровом темноты.

## XVIII

Огненный рубин, украшающий корону шахов,— лишь черный уголь, разжигающий в голове пустые мечтания.

А л и ш е р Н а в о и

Зорко следил своими прозревшими глазами исцеленный доктором господин муфтий за всем, что творилось в кишлаке и во всей долине Ахангарана. Не пропускал ничего. В его распоряжении были толпы босоногих мюридов и у него в доме, и во дворе, и около мечети, и на мазаре, готовые на все.

Иначе не заслуживал бы он своего звания мюршида — духовного пастыря. Но вот проникновение в Тилляу самого

опасного врага — носителя идей революции — господин муфтий преглядел. Просто потому, что, как говорил сам Георгий Иванович:

— Мы с его священством из разных миров. Муфтий — из недр арабского Востока. Я — из европейского двадцатого века. Господин муфтий не читал Карла Маркса. Да если бы и читал? Для него «Капитал» — кяфирские бредни. А если бы он унюхал своим длинным пронырливым носом кое-что против христианской религии, — то он приветствовал бы «Капитал». Ведь ислам — известный враг христианства. Вот муфтия и не насторожил приезд в его духовную епархию нашей персоны.

Студент Горного института в Санкт-Петербурге Георгий Иванович был профессиональным революционером. На пути, который он проделал до кишлака Тилляу, его ожидали на каждом шагу опасности и лишения. С колымской каторги он прошел в Туркестан... пешком.

Это путешествие продолжалось около двух лет. Через Семиреченские степи и Чимкент он шел «бродягой» и вполне сходил за нищего киргиза. За годы страданий он научился говорить по-казахски, по-татарски, по-кара-киргизски, усвоил привычки кочевников. В Ташкенте на базарах и в чайханах не вызывал ни малейших подозрений. Тысячи таких нищих — факиров, камбагалов — бродили тогда по улицам туркестанских городов.

Нищему безопасно и просто. Но мог ли интеллигентный человек, революционно настроенный, прозябать «на дне», умирая от болезней, заполученных в снегах Сибири, в расклеванных песках Бекпадала?

В Ташкенте у него не было явок: он начал искать их. Нашел знакомых, живших в ссылке в Ташкенте, сразу же привлек внимание сыского отделения. Друзья не успели ничего сделать для Георгия Ивановича, если не считать записки: «Селение Тилляу. Хаким».

Чего только не претерпел Георгий Иванович — с его кавернами в легких, с обмороженными, распухшими ногами, с его ревматизмом и пороком сердца, — пока добрал по щебнистой раскаленной Куйлюкской дороге, по комариным болотам Курамы, по выжженным степным просторам до Той-Тюбе. Он брел изможденный, страшный, в лохмотьях, похожий на Кашея из русской сказки. Он ничем не напоминал блестящего студента, вылощенного, упитанного «белоподкладочника», какими были тогда студенты единственного в Российской Империи высшего учебного заведения, готовившего квалифицированных инженеров горного дела. И никто в этом оборванце не заподозрил бы опытного геолога, владеющего целой «хазина» — казной знаний.

В том, что Сахиб и Георгий Иванович встретились, было

много случайного и почти невероятного. Но встреча состоялась — встреча друзей, вместе отбывавших каторгу.

Пронырливость — неперемнное качество агентов царской полиции. Пронырлив был и Сергей Карлович. Со свойственной его прусским предкам аккуратностью и дотошностью он докопался до скромно и незаметно проживающего в окрестностях Тилляу Георгия Ивановича.

Не все сумел вынюхать сразу пристав, но довольно много. Даже то, что этот весьма подозрительный бродяга имеет отношение к геологии.

Едва пристав распознал в страннике, больном и сиром, политического, старик фельдшер Матвейч «переправил» каторжанина, как было решено на совещании в доме доктора раньше, не через арбяной перевал в Коканд к железнодорожникам, а в курганчу к Сахибу. Георгий Иванович в то время «был совсем плох» и везти его через горы в Коканд было просто неблагоприятно. Здесь же в курганче, на воздухе альпийских лугов, на козьем молоке и киргизском кумысе, да еще под врачебным наблюдением — Иван Петрович наведовался в курганчу довольно часто — Георгий Иванович скоро окреп физически и воспрял духом.

Когда Георгий Иванович поправился настолько, что начал бродить по горам, Сахиб Джелял, вспомнив, что его друг — геолог, попросил:

— У нас здесь есть много всяких названий урочищ: «Алтын-Топкан», «Алтын-Казган», «Тилляу», «Заравшан», «Консай» и много других, которые звенят золотом... А золота никто не копает со времен Чингисхана, когда он истребил мугов-рудокопов Ахангарана. Вы же интересуетесь тем, что в горах и под землей и под скалами. Сделайте одолжение, посмотрите, нет ли там кое-чего. Станете мугом наших дней.

Благородный, бескорыстный Сахиб Джелял не был лишен человеческих слабостей. При всем своем бескорыстии, когда дело касалось дел войны и милосердия, готовый отдать последний динар бедной вдове, он любил золото и не скрывал этого.

Золото ему нужно было не только для того, чтобы жить на широкую ногу. Даже юрта, стоящая во дворе курганчи, была выстлана «Шол-и-намод» — войлоком из козьего пуха. Иное дело в походе. Там может спать и на жесткой земле. Но воин ислама отдыхает в неге и роскоши... В мирное время он «судопараст» — раб своих страстей!

Но сила золота не только в этом. На золото можно купить отличный меч дамасской стали, скорострельные винтовки Спрингфильда. Золотом можно привлечь на свою сторону отчаянно храбрых воинов.

«Без золота ослабевают пылы воинский, охлаждается пре-

данность самых воинственных газиев». Без золота нет священной войны, нет победы!

Геолог с горячностью взялся за дело: надоело бездействие.

— Почтенный гость нашел в горах то, что искал,— сказал Сахиб однажды доктору,— и вполне справедливо, если вы, уважаемый каким, узнаете об этом. Дело получилось с большой пользой. Золотой пользой.

Лицо доктора сразу же сделалось пасмурным. Он долго не отвечал. Потом сказал:

— Великий ваш соотечественник Абу Райхан ибн Беруни, известный во всем мире, говорил мудро: «Польза от наук — в получении посредством них необходимых вещей, а не стяжание с их помощью золота и серебра».

Тут же доктор выразил опасение, что открытие геолога принесет не столько пользы, сколько осложнений и самому Георгию Ивановичу и Сахибу.

— Если позволите, я дам вам совет: храните открытие в тайне. Презренный металл — слишком большая приманка. Не дай бог узнают в Ташкенте, а там разнюхают про политического, скрывающегося в горах... Не понимаю, зачем вам это нужно?

— Мы собираем силы, легион... Мусульмане горят жадой борьбы. Руки воинов сжимают мечи. Но, увы, давно известно, что мечи с позолоченными рукоятками секут и разят сильнее... Золото подогревает храбрость.

Предостережения Ивана Петровича прозвучали пророчески. Геологические изыскания Георгия Ивановича вскоре перестали быть секретом, а когда под руководством Мергена начали собираться довольно многолюдные партии старателей и дело было поставлено на довольно широкую ногу, забеспокоились тилляуские шавандагон — власть имущие.

Ни пристав, ни волостной, ни муфтий не захотели предавать дело огласке. Делиться с кем бы то ни было они не желали. Они отлично знали, что царская администрация приберет месторождение к рукам, и им достанутся крохи.

Но события не заставили себя ждать. Сахиб посетил дом доктора. На этот раз хозяйина курганчи сопровождала вся его свита. Он, оказывается, приехал выпить чашечку чая из белоснежных ручек Ольги Алексеевны.

— Мы хотим в дальних странах сохранить прекрасное воспоминание о вашем гостеприимном дастархане,— несколько загадочно говорил Сахиб.— Мы будем возносить молитвы всевышнему о здоровье доктора и семьи.

— Разве вы уезжаете?— удивилась Ольга Алексеевна.

— Да.

— Но почему? Разве вам здесь наскучило? У вас столько друзей!

— И дела идут неплохо,— вставил доктор.— Ваша деятельность приносит людям много пользы.

— Обстоятельства! И потом вспомнились слова поэта Дакики:

В пруду, застоявшись,  
вода становится затхлой...

## ХІХ

Женщина — наказание божье;  
Ласки ее — яд змеи.

К а б у с

Руки и искусство доктора сделали свое дело. Глаз Кагарбека видел. Даже на ярком солнце глаз не слезился. Если косил, то чуть заметно.

Доктор гордился операцией, проведенной по всем правилам науки. Излечение волостного стоило ему немалых усилий. Нервный, капризный пациент не переносил боли. Мешал при перевязках, хватал доктора за руки, орал, проклинал, грозил. Он не желал соблюдать режим. Два раза срывал бинты и внес в рану инфекцию. Доктор даже собирался везти больного в Ташкент.

Лишь через два месяца наметилось выздоровление. Боли исчезли, появилась твердая надежда, что глаз удалось спасти.

Но Кагарбек не успокаивался. Боль в сердце, по его словам, не унималась. Даже в своем ичкари, предаваясь супружеским утехам, Кагарбек видел в воображении только одну Юлдуз, мысленно ласкал ее, внимал дивным звукам ее гортанного, низкого голоса...

Он бешено ревновал. Ревность его была страшна.

Страшиться следовало Сахибу-газию, дважды хаджи, возмутителю покоя Ахангарана.

Опасность назревала нешуточная. Темные тучи злобы сгущались над горной курганной долине Тешикташ. По ночам заунывный вопль сыча — байоглы часто будил обитателей дома. Привратник без разрешения хозяина даже два стрелял в ни в чем не повинную птичку, такую смешную, круглоглазую.

А вот сам Сахиб ничуть не тревожился. Он не верил, что появление байоглы близ дома предвещает разорение и смерть его обитателям.

Юлдуз жила за высокими глинобитными стенами кургана Сахиба. Добыча, захваченная в бою,— скорее в драке — она стала собственностью победителя, и никто не смел теперь слова сказать. Сахиб заступился за девушку, которой

угрожало насилие, спас ее честь и сам... сделал Юлдуз вначале наложницей — затем женой.

На базаре шушукались и судачили, однако никто не осуждал соперников. Слишком могущественные личности спорили из-за девушки. А девушка? О, она, кажется, ничуть не протестовала.

Из уст в уста передавали, что теперь вечный батрак Пардабай зажил настоящим баем, сменил свои жалкие лохмотья на добротный, зеленого шелка, подбитый ватой халат, какого отродясь не носил. Говорили еще, что этот трясшийся вечно над каждым грошем Пардабай уже приценивался на скотном базаре в Буке к паре волов и новенькому карагачевому омачу. И что в кошельке его побрякивали денюжки, но что в последнюю минуту сделка не состоялась, потому что кто-то, сидевший на помосте чайханы, крикнул озорно и дурашливо: «Не покупай быков, Пардабай! Отберет у тебя их волостной за долги!»

Пардабай спохватился, одумался и не купил волов.

Пардабай попал в батраки к Кагарбеку «по наследству»: и отец, и дед, и прадед Пардабая были в кабале у отца, деда и прадеда Кагарбека. Долговые расписки переписывались уже целый век. Семья Пардабая не владела и одной жердью из крыши их мазанки. Единственная рубаха Пардабая была куплена на деньги, взятые в долг у Кагарбека. А ведь никто не мог бы сказать, что батрак Пардабай нерадив, или ленив, или немощен. Не разгибая спины от зари до зари, Пардабай обливался горьким потом, трудясь на Кагарбека, — пахал, окучивал, собирал урожай хлопка, карабкался по фруктовым деревьям, пилил, строгал, копал арыки, кормил коней, месил глину. Да еще хозяин заставлял Пардабая в полводье работать на переправе сучи. Никто и никогда не видел Пардабая сидящим в чайхане и пьющим чай. Да и выпили на своем веку Пардабай хоть один чайник настоящего индийского чая?

Ноги Пардабая, толстокожие, черные, покрытые сеткой трещин, не знали обуви. Да, Пардабай за всю жизнь — а ему уже было под сорок — ни разу не стал обладателем сапога! Не было у него двадцати рублей, чтобы купить себе обыкновенные смазные сапоги. Весной, летом, осенью своя кожа заменяла ему обувь. Зимой он носил на ногах опорки, дарованные из милости Кагарбеком.

Хоть русские и отменили рабство законом, оно осталось. Пардабай был раб. Очутившись в курганче богача Сахиба, дочь раба Юлдуз ничуть не огорчилась. Она и не пыталась — и не намеревалась — жаловаться ни отцу, ни властям.

Своей жене Айнисе батрак Пардабай сказал:

— Тсс! Пуганому кажется, что у барана две головы... Я был у горного дива в курганче. Никакого волшебства! Деву-



шек там не терзают. Кровь человечью не пьют. Дом полон баб. Дети смеются. Очаг полон хворосту... Увидев нас,— Пардабай с достоинством ткнул себя большим корявым пальцем в грудь,— господин со всей вежливостью приказал развернуть перед нами дастархан. Чего там только не было из жареного и вареного! Посмотри, Айнисахон, в узле, покорми детишек. Господин изволил пить с нами чай, настоящий зеленый, горячий. А после намаза хуфтон — молились мы вместе — повелел лечь на шелковое одеяло. В разговорах проявил благорасположение великого к низкому.

— А Юлдуз? Доченька?— всхлипывала Айниса.— Она что? Жива? Здорова? Про дастархан говорите, про одеяло... шелковое? А как дочь?

— Тсс! Улыбается. Проявляет благосклонность. Положила з узел сверху белую лепешку-ширмой. Она там белую лепешку кушает.

— А он... горный див? Не очень бьет бедняжку? У него, говорят, на стене висит афганская плеть-семихвостка. Для непокорных жен и...

— Плеть? Не видел!.. На стенах сюзана шелковые видел. Ковры туркменские видел... Плеть не видел.

— А дочь? Слез не вытирает, а?

— Какое там! Смеется, бесстыдница! Глаз не опускает. В платье из хан-атласа ко мне пришла. Иштон тоже из атласа, лаковые кавуши. Тсс!.. Золотые серьги. Кругом — на шее, на груди — серебро... Глаза слепит!..

Но Айнису волновало другое.

— Ох! Приедет во двор Кагарбек. Начнет нас камчай: «Где Юлдуз? Отдавай обратно калым, Пардабай!» Разъярится! Изобьет, изувечит... Выйдод!

Пардабай поморщился, на его худощавом красивом лице выразилось почти высокомерие.

— Калым?.. Паршивых два барашка — калым? А Сахиб... тсс!.. обещает... Но я сказал, заявил господину Сахибу: «Мы — бедный человек... Мы — факир! У нас из домашней живности и кошки бесхвостой нет. У нас крошки хлеба не остается на дастархане. Но мы — гордый человек: знаем имена своих предков до седьмого колена. И наша дочь — честная девушка! И мы не позволим... Я не позволю!..»

От своей дерзости бедный, но гордый Пардабай вдруг потерял дар слова, онемел. Язык его прилип к гортани. И долго он не мог прийти в себя, поглядывая с ужасом на дверь: вот-вот свет в проеме заслонит широкоплечий великан и прогремит джиннов глас: «Что такое?»

Отдышавшись, бедняк чуть слышно заговорил снова:

— Пиалу воды на коране выпью! Клятву дам! Сахиб никакой не див, не волшебник. Болтовня кумушек! Сахиб — сама мудрость и справедливость.

Он с важностью прислонился к черной от дыма очага и отполированной спинами семи поколений батраков стене и надул щеки от самодовольства.

— Он благородный! Он знатный. Он нам, Пардабаю, сказал: «Господин Пардабай!» Он так и сказал! Это мы-то господин! Судьба совершает непредвиденное... Он сказал: «Дочь ваша — достойная особа. Дочь ваша заслужила лучшей участи. В жизни многое происходит. Пусть тревоги и черные мысли уйдут в черную землю. С женщиной можно спать и без подушки, но без молитвы нельзя. Знайте, дочь ваша за занавеской сказала «да», и имам, настоятель карахитайской мечети, достопочтенный Абду Саям прочитал брачную молитву. Дело сделано, разлучить нас можно, только совершив развод. А то, что с нас причитается — приношу извинения за промедление и опоздание, — привезут и доставят мои люди...»

Что привезли батраку Пардабаю из горного замка на двенадцати верблюдах, в селении Тилляу не знали, но, что в нищей жизни батрака произошло «еркимырляш» — «землетрясение», все скоро поняли.

Пардабай осмелел до того, что отправился в новом халате к байским воротам своего хозяина Кагарбека и, кланяясь ему в ноги, прижимая руки к груди, стараясь сдержать бурно колотящееся сердце, заикнулся:

— Мудрейший господин Кагарбек! За ваши тысячи милостей, за вашу доброту и благодеяния дозвольте нам рассчитаться с вами, милостивым господином... Долги вернуть... А вы нам расписки отдайте.

Что произошло потом, Пардабай старается не вспоминать. Рад был, что унес ноги со двора волостного правителя.

Он остался батраком Кагарбека, хоть и не нуждался в этом нисколько. Теперь он служил баю «из благодарности». И, поистине, сколько благодеяний совершил для рода батраков род баев Кагарбеков за многие десятки лет. Не счесть!

## XX

Идти с ним по жизни рука об руку, стыдясь себя и счастья, от которого хотела отречься, боясь чего-то, что может быть страшно лишь женщине.

Максудн

... Романтическая история имела весьма прозаическую подоплеку и по существу оказалась торгашеской сделкой. Кагарбек просто купил у Пардабая красавицу дочку. И теперь она — рабыня. Задеты не только и не столько чувства волостного, сколько карман, что пострашнее.

И кто формально утвердил сделку? Духовный глава — господин муфтий. Он имеет еще звание казия.

Когда Абдукагарбек предъявил по всем установлениям шариатского закона иск Сахибу за похищенную Юлдуз, вся история и вывернулась наизнанку. Сахиб не пожелал тягаться с Кагарбеком, а поступил просто — отослал ему сумму, которую тот уплатил под видом выкупа Пардабау, да еще кое-что накинул.

А чтобы закрыть Кагарбеку все пути для склок и тяжб, поспешил оформить по шариату освобождение рабыни Юлдуз и женился на ней.

Любопытный документ об освобождении невольницы доктор у него выпросил для своей коллекции. И прочел своим близким вслух, тут же переводя:

— «Такого-то года хиджры, месяца Джумади-эль-сани. Знающий законы шариата, превосходный достоинствами домулла Сахиб Мирзо Джелял бен Файзи Хаджи Газий, владетель курганчи Айна Булак и угодий земельных и луговых в урочище Тешикташ чистосердечно заявляю, что непорочную и чистую, со здоровыми членами и глазами свою рабыню, дочь обитателя селения Тилляу батрака и сучи Пардабау Юлдашева, по имени Юлдуз-ой, на которую никто из прочих посторонних и родственников прав не имеет, имеющую средний рост, тонкий и гибкий стан, цвет кожи зрелой пшеницы, брови, подобные дугам луков, ресницы копьеподобные, нос изящный, прямой, бараньи глаза, губы пухлые, цвета абрикоса, грудь высокую, живот впалый, бедра тяжелые, широкие, приблизительно лет от роду пятнадцать, беременную на седьмом месяце, освободил от рабства, вместе с должностующим родиться ребенком — мальчиком или девочкой, без всяких прочих условий за пятьдесят николаевских червонцев петербургской чеканки, с причислением Юлдуз-ой с ее сыном или дочерью к разряду свободных людей без перехода к его Сахиба Мирзы Джеляла бен Файхи Хаджи Газий прямым или косвенным наследникам.

Совершив освобождение рабыни, Сахиб Мирза Джелял бен Файзи Газий в угоду всевышнего и, питая надежду на завет величайшего из пророков пророка Мухаммеда, который сказал, что тело человека, освободившего единого правоверного мужчину, женщину ли из неволи, будет свободно и избавлено от огня в будущей загробной жизни.

А если кто-либо, а особенно некий Кагарбек, позволит себе заявить какие-либо права на ту рабыню по имени Юлдуз-ой и захочет причинить насилие и притеснения ей и ее детям, буде они у нее родятся, то да падет на тех лиц проклятие, как клятвopеступников и нарушителей веры истинной и законов шариата».

Закончив читать, доктор заметил:

— После свадьбы Сахиб не забыл передать этот документ Юлдуз и посоветовал ей спрятать его получше и никому не давать в руки. А она показала его нам. Документ написан по старинной, бытующей и поныне форме. На нем печати и подписи свидетелей.

... Казию Сахиб не предоставил ни времени, ни возможности даже поколебаться, а предложил: «Или — или! Или вы составляете такое «Рухсат-наме», или у вас будут неприятности!»

Достаточно благоразумный, имеющий опыт в такого рода сделках, муфтий безропотно засел за сочинение документа и выполнил это быстро со знанием дела.

Итак, под эгидой просвещенной царской администрации рядом с Ташкентом, резиденцией генерал-губернатора, у нас торгуют тонкостанными, бараньеглазыми невольницами!

## XXI

Сидеть у чистого родина и не  
напиться... Так не бывает.

Калян Вазиз

Как прочная скала не сдвинется  
ветром, так и мудрец непоколебим  
среди хулы и несчастья.

Джаммапада

Доктора все интересовало. Он обо всем расспрашивал своего сурового спутника Сахиба.

— Вы — хаджи. Вы сами сказали, что вы хаджи. Значит, совершили паломничество к святым местам Мекки. Вы были в Мекке?

Говорил доктор еще не очень свободно, подбирая узбекские слова. Но говорил он всегда быстро, не стесняясь и не конфузясь, если его в чем-либо поправляли собеседники. Или даже когда смеялись над его еще несовершенным произношением. Он не считал, что это роняет его авторитет. Но зато ему легко общаться с пациентами.

С суровым хаджи он быстро нашел общий язык во время совместной поездки по горам.

— Хаким, — сказал Сахиб, — не обращайтесь к таким маленьким людям, как я, на «вы».

— Почему? Узбекский язык вообще не терпит обращения на «ты». Даже родители говорят детям «сыз» — вы.

— Вам, знаменитому врачу, надлежит говорить больному «ты». Больной — ребенок, а доктор — отец. И вы не совсем правы: отец говорит сыну «ты»... если любит его.

Знал доктор, что в семье Сахиба неладно. Многочислен-

ные дети умирали в младенческом возрасте. И потому Сахиб часто вытаскивал доктора в свою живописную курганчу в горах лечить свое семейство.

На сей раз доктор ехал вместе с Сахибом, чтобы принять все меры для спасения двухлетнего сына.

Курганча находилась в высокогорной долине Тешикташ, у самых снеговых вершин. А волостной Кагарбек как раз в то время устроил на всю волость «суннат той» своему очередному отпрыску Абуали, с пиром чуть ни не на три недели, и доктор почетным гостем должен был восседать за парадным дастарханом каждый день.

Кагарбек во всеуслышание заявил:

— Доктур Иван — наш служащий. И наше дело позволить ему ехать за десять ташей к ничтожному землевладельцу, забравшемуся в самые недра скал и ущелий. Доктор — большой, важный и почетный человек. Пусть Сахиб этот сам приедет и привезет своих волчат.

С тревогой доктор обнаружил, что вражда Кагарбека к горному джину неугасима, а так как он глубоко симпатизировал Сахибу, то решил выбраться в горы при первом удобном случае. Как нельзя более кстати Сахиб в нетерпении и волнении приехал за доктором сам. Отъезд их в горы пришлось обставить так, чтобы в кишлаке не знали, куда они уехали.

Волостной заподозрил его по меньшей мере в заговоре против своей персоны и начал уделять пристальное внимание горной курганче и всем, кто там жил...

Доктор не жалел, что поехал, хотя дорога оказалась трудной. Они поехали, что называется, «напрямки» через хребет: крутые перевалы, подъемы, спуски, внезапно развешивающиеся под копытами коня пропасти, то вдруг захлестывающие глаза холодным дождем черные тучи.

Но все дорожные заботы искупались великолепием природы, сочной зеленью лугов, ледяными звенящими родниками, оргией самых ярких красок.

Доктор радовался словно ребенок открывавшимся за каждым поворотом волшебным видам. Он соскакивал с лошади и карабкался по осыпям и кручам, чтобы обнять ствол какой-нибудь вековой арчи, восторгался и кричал сверху терпеливо дожидавшемуся его Сахибу:

— Ага, я говорил... два обхвата! Два с половиной! Да ей добрых лет семьсот!.. А какая старушка свежая да зеленая! А какой смолистый, божественный запах! Мальчишкам надо обязательно показать!

А мрачный Сахиб все более мрачнел. Он поглядывал на так знакомую ему вершину, и сердце его сжималось. Что ждет его дома? Когда он уезжал из дома, его сынишка был совсем слаб. Огорчения не мешали Сахибу поминать недоб-

рым словом волостного. Этот Кагарбек — зловредный. И он думал вслух:

— Добрые в нашем мире имеют походку льва. Злые семенят лапами шакалов.

Когда они слезли с коней, чтобы попить воды из буйно выбивавшегося из-под зеленой скалы прямо на тропу ключа, он снова заговорил:

— Сгори его отец в могиле! Воображает, что блага земные лишь для беков и губернаторов, для банкиров и волостных. Он хвастал перед гостями: «Урус-доктора мы взяли из Ташкента для себя, Издавна повелось, что шахи и бски держат при себе врача, чтобы лечить царственные недуги. Мы соблаговляем, когда доктор урус просит разрешения полечить кого-либо из тилляусцев. А они все — падаль. Уж давно мертвы. Никакой доктор им не поможет. Мы — бек, пусть нас лечит урус-доктор».

И так как доктор ничего не сказал в ответ — о взглядах волостного он знал не хуже Сахиба, — он, думая, что тот просто не расслышал, зло добавил:

— Этому выродку губернатор дал шепотку власти, а он заносится стервятником. Этот выродок еще сказал: доктор не должен возиться со стадом.

Молчание доктора объяснялось просто. Он, зная характер волостного, его положение, не усматривал в его поступках ничего из ряда вон выходящего.

**То, что добродетель в богатом,  
Худший порок в бедняке!**

И ни к чему было портить по пустякам отношения с волостным. Стараниями доктора амбулатория недавно превратилась в больницу, и Кагарбек по крайней мере не мешал. Ему было лестно, что колониальная администрация, насаждая среди туземного населения культуру и цивилизацию, сделала его, волостного правителя Кагарбека, проводником сей цивилизации. Он даже утверждал, что именно он, Кагарбек, настоял, чтобы именно Тилляу был выбран среди многочисленных волостей Сырдарьинской области пунктом, где необходимо учредить должность сельского врача.

Нет, волостной из искренних побуждений не мешал «оздоровительным мероприятиям» в своей волости.

Хорошо беседовать в пути. Особенно когда под тобой отличный, послушный конь, когда свежий ветер с далеких вершин наполняет грудь чистым воздухом. Сахиб сбросил поводья на шею своего «араба», соскочил на тропинку, решив поразмяться.

И когда доктор смотрел на шагавшего перед своим коном влечистого гиганта, стройного, с узкой талией, с лицом, обрамленным каштановой бородой, ниспадавшей волнами на

грудь, с глазами мрачно-дерзкими, он вдруг подумал: «Да, с таким, как Сахиб, тирану Кагарбеку управиться нелегко». И еще доктору показалось, что лучше господину волостному не встречаться на узкой тропинке с мрачным газием и фило-софом.

Несмотря на семейные беды, Сахиб не выглядел подавленным.

— Людей калама и кагаза — пера и бумаги, — а под такими людьми он явно подразумевал Кагарбека и муфтия, — надо бичами, нагайками учить! Надо каблуками топтать!

— За что? — удивился доктор.

— Они знают за что! Они забыли о справедливости. Они никакие не мусульмане!

Но разговор оборвался. Мрачный Сахиб остановил коня и в несколько прыжков оказался у длинной плиты, служившей порогом высоких ворот курганчи, словно привалившейся своей глинобитной громадой к высокой, почти отвесной скале.

Выбежавшего навстречу одетого в ватный халат человечка, по-видимому привратника, он, напирая конем, резко оттолкнул в сторону.

— Где сын? Что с сыном? А ты что тут сидишь? Открой-вай ворота хозяину.

Не дожидаясь ни секунды, он сам распахнул ворота, добротнo сколоченные из толстенных арчовых досок с резьбой, и исчез.

Неторопливо, но легко доктор соскочил с коня. Сделал несколько легких гимнастических упражнений, чтобы поразмяться, чем очень удивил привратника. Тот, очевидно, решил, что доктор молится. Но кому?

Не раз бывал доктор в замке Сахиба и каждый раз не мог сдержать вздоха восхищения. Так живописно было место, избранное мрачным отшельником Сахибом для своего жилища. Голубые, изумрудные, зеленые склоны гор, фиолетовые утесы до небес, бирюзовая вода далеко внизу, в долине. И самым привлекательным, самым приятным в знойный полдень был родниковый ручей, выбивавшийся из-под могучей глинобитной стены курганчи, суля прохладу и утоление жажды.

Недаром курганча Сахиба носила поэтическое название Кайнар-Кала — крепость «Кипящая вода»!

— Живописно! Очень живописно! — сказал вслух доктор. Но жить, конечно, здесь только отшельникам. Отшельник с тремя женами, с полсотней чад и домочадцев, с соколиной охотой... Отшельник? Нет, самый настоящий средневековый рыцарь. Да, здесь замок рыцаря!

Единственный слушатель, привратник, жалобно моргая, старался заглянуть в глаза, закрытые поблескивающим пенсне, ничего не понимал и жалобно поддакивал:

— Ляббай!

— Хаким Иван, пройдем к сыну.— Они прошли через обширный двор и поднялись в мехмонхану, где на курпачах лежал ребенок.— Когда судьба смилостивится над нами? Посмотри, хаким Иван, сынок совсем слабенький. Помоги, ты — доктор, ученый! Ты знаешь все лекарства. И почему, какую жену я ни возьму, рождает мне слабосильных?

В словах его звучало неподдельное отчаяние. Он бережно поднес доктору двухлетнего ребенка с бледным, словно обсыпанным мукой личиком.

«Краше в гроб кладут... Не лечат вовремя,— думал доктор с досадой.— Воздух здесь санаторный. Вода великолепная. Инфекций вроде не должно быть. Расти! Крепни! Ан нет».

А Сахиб бормотал проклятия. Проклинал он судьбу, бога... и волостного.

## XXII

Они начинали свое слово ложью  
и войными бреднями.

А л - В е р у н и

Я дервиш, я нищий, но свою войлочную шапку не сменяю на сотню шахских венцов.

К а с ы м Д а х б и д и

Необыкновенная процессия — целый «крестный ход», по выражению Лолы-атын, — удивила весь докторский двор. Ребята повыскакивали на террасу. Гульбика в облаке пара высунулась из окна. Даже Гасан оторвался от партии шахмат с Матвеем, хотя предстоял очень важный ход. А Мерген, оставив пиалу, взглянул на хозяйку и успокоительно хмыкнул, хотя, видимо, и сам был поражен.

Толпа человек в двадцать ввалилась с шумом и криком во двор. Молодые белочалменные муллабачи вели под уздцы коня в дорогой сбруе. Арба с крытым расписным верхом, в зеленых и малиновых разводах, грохоча железом, вкатилась за толпой.

— Что сие означает?— Доктор встал из-за стола.

— Вас, уважаемый хаким, приглашают в гости,— сказал Мерген.— Их священство господин муфтий... С почетом и уважением.

— Легок на помине,— проговорила Ольга Алексеевна.

Действительно, только что за столом, застланном бело-ежевой скатертью и увенчанным блистающим медью самоваром и севрским фарфором, шла совсем не мирная беседа.



предметом которой были дела местного духовенства и, в частности, господина муфтия.

Мерген за завтраком философствовал. Ни для кого не было секретом, что лесной объездчик имел давнишние счёты с хранителем Тешикташского мазара. И ни доктора, ни его супругу не удивляли те весьма ехидные и злые слова, на которые не скупился вольнодумец-охотник:

— Очень плохой святой. Кричит: «Мы защищаем воду колодца божественной благодати от попыток злых духов-джиннов засыпать его камнями». А сам что делает? Бросает в воду яд. Что с нами, горцами, делает? Мы мирно живем, трудимся на пользу потомкам, растим детей.— Он замолк, прислушался к детским голосам из окна, где кто-то читал вслух.— Вот Сабир и Алеша, Қасым и Миша играют, учатся. Для них сажаем деревья и виноградники, добываем ценности из земли, открываем новые дороги в жизни... А какая польза от таких муфтиев? От их дел несет могильным запахом. Их дела — прах и черви, саваны и надгробия. Такие они люди. Отрастают бороду и уже мнят себя святыми. Озорные они, муллы, похотливые. И вся их святость идет от махсы из казанской кожи и от чалмы из индийской кисеи.

Независимость и гордость Мергена были хорошо всем известны. Он ни перед кем никогда не гнул шею. Но, чтобы так ниспровергать устои религии и нападать на муфтия? Это было что-то новое.

— Простой человек — мы. Но простой человек — основа государства. Дехканин, земледелец — основа государства. Не взойдет хлеб — все помрут с голода. Подохнут и муфтий, и его мюрид — волостной правитель Кагарбек. Не посеяв, не соберешь жатвы. А кто сеет? Муфтий? Его бездельники мюриды и жадные глотки — дервиши? Нет. Сеют, работают, закрывают на зиму виноград, открывают весной земледельцы, такие, как мы, — ветви ствола дерева тюрок... Мы — сила народа! Они — дармоеды, слабость.

И нужно же, чтобы именно в этот момент появилась толпа бездельников и дармоедов, пахнувшего могилкой подворья господина муфтия.

Прав оказался Мерген. Муфтий прислал приглашение пожаловать к нему на той. Почти невероятно — приглашалась и «почтеннейшая, блистающая всеми достоинствами и целомудрием супруга великого и достославного доктора!»

В самых цветистых выражениях приглашение это, со всеми придворными церемониями, какие уместны только в каком-нибудь шахском дворце, передал михмандор — дворецкий господина муфтия.

Такое случилось впервые, и доктору пришлось принять приглашение.

Он пригласил с собой Мергена, но тот, выпрямившись во

весь свой саженный рост и выпятив могучую грудь, заявил: «У нас — своя борода, свое достоинство». Сел на своего могучего коня и, простившись, довольно надменно, уехал. Судя по всему, он остался явно недоволен. Он, видимо, считал, что ходить и ездить доктору в ишанское подворье незачем.

Торжественная процессия, теперь уже возглавляемая доктором, ехавшим на богато убранном коне рядом с крытой арбой, в которой находилась Лола-атын с сыновьями, проследовала не прямо в подворье — здесь расстояние можно было измерить сотней сажен, а через базарную площадь, мимо многолюдной чайханы под чинарами по всем главным улицам селения Тилляу.

И доктор понял, что муфтий желает показать всему кишлаку, какое великое уважение он оказывает урусу-дохтуру.

Когда процессия прибыла в парадно обставленный дом муфтия, оказалось, что он полон гостей из самого Ташкента. Поражало обилие великолепных бород, чалм, шелковых халатов. На праздничный той прибыл даже сам Шейхантаурский аглям — законовед — со своей свитой. Поводом для приезда был не кто иной, как доктор.

Ивана Петровича усадили на почетное место среди высокопоставленных лиц, предварительно надев на него богатый халат, ташкентскую расшитую тюбетейку и перепоясав шелковым, так же искусно вышитым бельбагом.

Секретарь агляма, суетливый, розовощекий, с великолепной черной бородой молодой еще человек, извлек из саквояжа свиток, развернул его и гнусаво, нарочито медленно объявил: «Фетва!»

Помолчав, он приступил к чтению. Так как документ был написан по-арабски, едва ли кто из присутствующих понимал, о чем этот документ. Возможно, поэтому, дочитав до середины, он вдруг провозгласил по-узбекски:

— И содержится в сем священном документе разрешение святых отцов ислама обладателю врачебных знаний, искусством лечения многих и многих, пользоваться больных женщины и девушек, которые отныне для означенного в сем документе хакима-доктора не «махрум» — не запретны, а напротив, разрешены и могут открывать перед хакимом-дохтуром свое лицо... А посему...

И он продолжал читать тем же гнусавым голосом, не обращая внимания на пронесшееся по мехмонхане возбужденное гудение.

А за дверью послышались оживленные женские возгласы и хихиканье.

Ольга Алексеевна потом рассказывала, что в ичкари муфтия это объявление было воспринято восторженно. Лолу-атын обнимали. Ей говорили комплименты. Совали в руки подарки. Впервые в истории кишлака Тилляу постороннему

мужчине было даровано право смотреть на лица представительниц слабой половины рода человеческого. Поистине это было событие...

Чтение продолжалось столь же монотонно. Оживление в мехмонхане усилилось, когда чтец-секретарь начал оглашать фамилии, подписавших фетву. Их было много — все самые выдающиеся духовные лица, имевшие местопребывание в важнейшем религиозном центре тогдашнего Туркестана — в Шейхантауре, в Ташкенте, — маулао Фахреддин, маулао Имад ад-Дин, Ата Мираб, маулао Юсуф Чубфуруш, Мухаммад Тархан, Саид Мухамад Ислам, маулао Касым Ихтияр и другие.

Только дома в ночной тиши доктор с помощью словаря перевел текст фетвы, даровавшей ему право беспрепятственно лечить глаза женщинам и девушкам — без паранджи и чачвана.

Вот эта фетва:

«Во имя аллаха милостивого, милосердного! Устроители закона и путей познания религии и веры, обладатели высоких степеней и санов, опоры мудрости, прибежища святости, возводя хвалу всемогущему, признательность и безграничную благодарность за неисчислимые милости, установили при неопровержимых доказательствах, как это принято согласно шариату, неуклонно и законно, в благородном присутствии его высочества, достохвального избранника великих и славных господина верховного агляма, образца мудрости эпохи и верховного казия и хакима Ташкента, украсившего в заключение настоящей фетвы своей драгоценной печатью — да продлится величие его! — что хакиму Ивану-дохтуру, проживающему в селении Тилляу и известному по прозвищу отца своего Шахверды, дозволяется и разрешается, вследствие его умения и врачевного искусства и великих его знаний в науке, лечить женщин и девушек с тем, что означенным женщинам и девушкам разрешено не закрывать от взгляда доктора Ивана лицо, тело и волосы, а если хакиму Ивану понадобится осмотреть больную, дозволено ей разрешить доктору смотреть на тело даже там, где это «махрум» — запрещено, и смотреть не через зеркало, а прямо. И в том не усматривается нарушений установленных шариата, и ни доктор, ни больная да не подвергнутся каким-либо гонениям и проклятиям со стороны правоверных! Сказано об источнике истоков пророчества, в котором есть слова: «Был я пророком, а Адам еще пребывал между водой и твердью». Да благословит пророка господь и семейство его и сведет живых его! А настоящая фетва составлена и начертана на основании свидетельских показаний почтенных и благородных маулао святых мест селения Тилляу и мазара Теникташа, ко-

торые являются безупречными и приемлемыми как свидетели.

После дачи ими свидетельских показаний, с соблюдением трактуемых условий и приведения к присяге, Фетва вручена какиму-доктору Ивану для беспрепятственного пользования, как ему, так и потомкам мужского пола из рода в род, из поколения в поколение. Фетва окончательная, нерасторжимая, законная, не подлежит отмене. Да хранит вас всевышний!»

Масляный светильник тихо потрескивал. Маленький коптящий огонек бойко постреливал искорками, распространяя густой запах пережженного кунжутного масла. Лампу Иван Петрович зажигал, лишь когда работал над своими таблицами для «Военно-медицинского журнала». Домашний запас керосина подходил к концу, а на тилляуский базар привозили его редко. Бочки в лавчонке «Нобель и К<sup>о</sup>» стояли пустыми.

Доктор смотрел на робкое пламя, на пергаментный лист фетвы, лежащий в тускло, скупо освещенном кружке. Фетва выглядела старинной грамотой древнего, таинственного Востока. Такими изящно и вычурно написанными старинными письменами, уснащенными десятками синих оттисков личных печатей, наверное, еще во времена Улугбека награждали достойных людей.

Глаза доктора были устремлены в кромешную темноту. Он смотрел прямо перед собой, и перед ним чредой проходили события его жизни, его деятельности. И гордое чувство согревало его. Не честолюбие,— а он был по-своему честолюбив, как все люди, обуреваемые высокой идеей. Он гордился своим делом.

Эта фетва, этот поразительный своей наивностью и мудростью документ, составленный, написанный и подписанный самыми враждебными передовой, прогрессивной науке сколастами, был признанием величия дела, которое совершал он, русский интеллигент, в глуши горного края.

Фетва, этот пергаментный лист, пробивала брешь в, казалось бы, незыблемой каменной стене склепа предрассудков, в котором томилась вся женская половина рода человеческого на Востоке:

Пусть первую брешь, но какую!..

Отнесем же снисходительно к чувствам Ивана Петровича, солидного, украшенного бородой почтенного доктора... Он вдруг вскочил, выбежал на террасу, едва освещенную лалекими звездами. Он запел во тьму, повернувшись к черному небу, к серевшим в сумраке глиняным кубам домов Тилляу, к силуэтам гор:

Гаудеамус игитур!  
Ювенес дум сумус...  
(Будем радоваться!  
Будем же молоды!)

Он радовался необыкновенной награде — фетве как мальчик, как юный студент. Он пел, рискуя разбудить семью, дом, весь кишлак Тилляу.

### XXIII

Снарядность всего мира заключена  
в нем.

Б и р б а л

Во время торжества по поводу вручения доктору фетвы произошел разговор, наводивший на серьезные размышления.

После столь обязательного на всех тоях плова, муфтий как бы невзначай заговорил о скитальцах и странниках:

— Несправедлив наш мир. Есть люди, от рождения наделенные от бога мудростью, храбрым сердцем, разными талантами, способностью видеть на земле и в недрах ее. И они не могут найти применения своим талантам, бродят неприкаянными по степи и горам, в то время, как подлые и ленивые, низкие и недостойные восседают на мягких курпачах и наслаждаются жирной пищей.

Так впервые иносказательно муфтий повел речь о Георгии Ивановиче, политическом каторжанине. От хорошего настроения у доктора сразу же не осталось и следа. «Оказывается, муфтий знает гораздо больше, чем следует. Только этого не хватало!»

И хотя почтенный хранитель мазара и в дальнейшем не называл по имени Георгия Ивановича и излагал свои мысли в иносказательной форме, все яснее было, что интерес его отнюдь не бескорыстный.

— Скиталец, гонимый судьбой, ни от бога, ни от людей не спрячется! Весь как на ладони... На виду! Неужели некоторые думают, что конюшня в их доме — это шахская конюшня, где каждый преступник может найти убежище от полицейских? И разве цепь от ворот курганчи дает такое убежище, уносящему свои ноги? Такой закон есть в Персии, у нас такого закона нет. Господин Сахиб — чтоб ему бездетным быть! — слишком самонадеян.

«Чего ради он затеял этот разговор именно со мной? — думал доктор. — Он знает, что с Сахибом у меня хорошие отношения... И дело совсем даже не в Сахибе. Господину муфтию зачем-то понадобился геолог, муфтий что-то затевает.

Недаром он превратил священное торжество в попойку: В чайниках-то не чай, а кое-что покрепче! У всех почтенных гостей физиономии раскраснелись и глаза блестят. Как они стараются показать, что не заметили подмены чая запретными напитками! А муфтий! Хорош непогрешимый блюститель шариата!».

Весьма довольный собой, муфтий поглядывал вокруг, оглаживая реденькую бородку, подергивая ее, словно надеялся, что она сделается гуще, пышнее.

Когда гости зашумели и начали говорить в полный голос, не слушая своих собеседников, муфтий доверительно склонился к доктору и зажужжал, совсем как жук-носорог, с шумом прилетевший на свет лампы:

— Человек из курганчи ходит в шелку, а нутро его — саман. Вызывает сомнение. И мы сомневаемся, и господин губернатор. Кто такой? Нехорошо... А великий табиб ездит к Сахибу в курганчу. На плов? Так говорят. Мы хотим вас предупредить, потому что любим и уважаем. Вы такой большой человек! Зачем принимаете у себя этого Сахиба? И не остерегаетесь его. А он всегда ездит с оружием. И слуги его вооружены. И вы привечаете этого скитальца... бродягу. Пусть он знающий, нужный человек, но почему не живет в Ташкенте, не служит? Чего ради он бродит по горам? Если он такой ученый, зачем спит в пещерах, под камнями? Почему убежал от стражников Кагарбека, когда они встретили его на Сангинском перевале?

И, по необъяснимой логике, муфтий вдруг перескочил совсем на другое:

— Ты вылечил меня, урус. Мои глаза! Аллах акбар! Бог велик! Он сподобил тебя великим искусством. Благодеяний тебе! Мы надели на тебя почетный халат. Не говори, что мы неблагодарное животное... Мы понимаем. Мы раньше от боли стонали, от темноты вечной степным волком были. Сколько больные глаза кунжутным маслом ни натирали, боль успокоить не могли. О, аллах! Теперь, милостью божьей, глаза видят.

Снизив голос до шепота, он прямо в ухо доктору бормотал:

— Мы знаем правило жизни: лошади не доверяй, собаке не доверяй, ружью не доверяй, женщине не доверяй! Никому! Мы твой друг, добра тебе хотим. Кагарбек плохой. Кагарбек что-то замышляет... против тебя.— И, сделав многозначительную паузу, щекоча ухо доктору своей бородавкой, зашептал:— Кагар двойной... Днем — волостной правитель. Ночью — разбойник. Господин доктор, друг, твое высокое имя выше высокой крыши, остерегайся! Кагарбек хочет поймать скитальца того... уруса.

— Зачем?

— Он хочет поймать его, бросить в холодную комнату. Там будет держать его. Выспрашивать тайну!

— Какую тайну?

— Тсс!.. Скиталец много знает про горы. Скиталец чего-то в горах нашел. Кагарбек такой: заставит развязать язык. Ловкий человек, жестокий, свирепее тигра. Зачем он поселил этого ференга-американца у себя в саду? Почему никого к нему не пускает? А? Хитрый человек Кагарбек...

Откровенно говоря, доктору очень не нравилось, что американец Пат Данниган со времени своего приезда живет в саду, за чертой кишлака, и не показывается ни на улицах, ни на базаре. Возможно, ничего такого в этом нет. Может быть, скандальная сцена на переправе через Ангрэн задела гонор самонадеянного янки, и он решил переждать, пока утихнет молва. Возможно, по той же причине американец не нанес визита доктору: неприятно встречаться со свидетелем такой скандальной сцены.

Великолепное лакированное ландо все еще отремонтировалось. Арба, на которой коляску перевезли через стремительный поток, опрокинулась в омут. Экипаж пострадал так сильно, что местные кузнецы не взялись поправить дело. Пришлось посылать за мастером в Ташкент.

Выиграли от всей этой истории серые в яблоках рысаки. Они пребывали в прекрасной конюшне во дворе волостного управителя и жирели на отличном богарном ячмене и горном душистом сене.

Всевидящий, всезнающий Гасан заверял, что ференгамериканец не умеет ездить верхом: «У него одно место, хэ-хэ, болит — и поэтому не ездит никуда из кишлака Тилляу».

— Ожидает, когда ему арбу его четырехколесную починят. Да никакой мастер не сделает так, чтобы в такой арбе можно было по камням кататься. Пропало ландо. Совсем пропало.

До этого торжественного тоя доктор почти не вспоминал про американца. Теперь же начал сопоставлять: муфтий определенно связывал Георгия Ивановича с Кагарбеком, Сахибом, даже с американцем... Тем более, что муфтий приплетал сюда и себя.

Он высказал мнение, что доктору необходимо избавиться себя от хлопот: сделать так, чтобы скиталец-путешественник ушел из курганчи Сахиба. Ему опасно там оставаться.

Куда уйти?

В мазар Тешикташ. Муфтий уже предупредил мюршида, чтобы скитальцу выделили худжру и чтобы никто и словом не обмолвился, если тот появится на мазаре. Дворник мазара, он же ошпаз — повар, тоже имеет указание кормить скитальца ежевечерне пловом с бараниной, а также кипятить

для него кумган, заваривать ежедневно десять чайников чаю и давать лепешки, испеченные в тандыре женой ошпаза.

— Там наш друг будет спокойно жить в тишине и покое! И ничья рука не достанет его.

— Чья рука?

— Рука Гога и Магога...

Большого доктор не сумел добиться от муфтия. Он усиленно опустошал чайники, подливал доктору, агляму и умилению поглядывал на гостей.

Одно стало ясно: Георгию Ивановичу угрожает серьезная опасность.

## XXIV

Кто смел и решителен, тому покровительствуют демоны и ведут его к усеху.

Н а с и м и

Вороненок хитроумнее самого черного ворона.

В и р б а л

Позже Лола-атын признается, что она поступила опрометчиво. А Сергей Карлович пшютовато процедит, галантно целуя ее белую ручку: «Вы не находите, мадам, что... гм-гм... ваше поведение легкомысленно. Иначе сказать, оно граничит с политическим, как вам сказать, проступком. Вы извините, даже с преступлением».

Пусть даже так... Пусть политическое преступление. Но сейчас в ночи, в полной темноте, в страшной тревоге Лола-атын единственно о чем думала: «Скорее! Скорее! Чтобы мальчик уехал. Чтобы никто в доме и во дворе не проснулся... Чтобы, самое главное — мальчики в детской не проснулись, не хватились Сабира, не вскочили с кроваток, не подняли шум на весь кишлак: «Почему он? Почему не я? Почему Баба-Калан поедет на коне?»

Как им объяснишь? Баба-Калан — Сабир — знает дорогу в горах, он лучше ездит верхом на лошади, он один сможет найти в темноте дорогу в Горное убежище к Мергену. А они не найдут...

Неумелые руки дрожали. Ремень, толстый, заскорузлый, негнущийся, никак не попадал в пряжку на теплому боку фыркающей лошади. Буланая кобылка в темноте со сна тыкала бархатными мокрыми губами в шею. Наконец лошадь заседлана. Еле шевеля губами, Лола-атын наставляла:

— Поезжай низом. Не спеши. А то поскачешь — шум копыт кого-нибудь разбудит. Доедешь до реки, а там гоии! Ты уже умешь гонять.



— Я маленький, а езжу лучше всех. Лучше Қасыма, лучше Алеши...

— Вот именно. Ты молодец, сынок! Настоящий джигит. Вот тебе на дорогу лепешка, конфеты. Солнце взойдет — поешь. Да бумагу не потеряй. Письмо... отцу Мергену отдашь. Скажешь: казаки днями должны приехать в Тилляу... Пусть Мерген скорее сообщит Сахибу. Сейчас ворота открою. С богом!

В темноте чуть серели громадой глинобитные столбы ворот. Створки их пронзительно громко заскрипели, завизжали в ржавых петлях.

Во двор с улицы донесся удаляющийся топот копыт.

Тихий топот! К счастью, улица одета толстым, пухлым одеялом пыли. Кишлак еще спит. Даже собаки под утро умолкли. Да и что им лаять? Всадник выехал из своих кишлачных ворот.

Всадник!

Да только в шутку можно назвать мальчонку Сабира на лошади всадником. Ему без малого семь, а он уже всадник. На лошади по горам, по скалам! У Лолы-атын сжалось сердце. Но недаром Сабира прозвали Баба-Каланом — он не по годам рослый, выносливый, в нем сила медвежонка. Он чуть ли не с младенчества на джейляу пас стада. Да и сейчас в летние месяцы живет в юрте, спит на траве альпийских лугов, купается в ледяной воде потоков.

Сабир — Баба-Калан — уехал в горную тьму. Сердце щемит. Там, среди гор, среди утесов, над потоками во тьме скачет на лошади юный джигит, мальчик.

Лола-атын вздыхает. Поездка Сабира, ох, как ей не нравится. Но что поделать? Ночью приехал Гасан, привез ужасные новости: на Сахиба и Георгия Ивановича устроена настоящая охота. Их надо немедленно предупредить... Предупредить во что бы то ни стало сегодня же!

Это должен был сделать Гасан. Но он свалился с высокой температурой... Приступ малярии.

Ждать до утра?.. Ехать самой? Но, увы, Лола-атын отнюдь не амазонка. Она металась. Не могла заснуть.

С вечера из кишлака доносились голоса, цокот подков. Тилляу жил в тревоге. Вероятно, Кагарбек получил уведомление и собирал своих стражников.

А Баба-Калан поступил как истый джигит. Он поехал не к отцу, лесному объездчику Мергену в его Горное убежище, а напрямую через перевал в курганчу к дяде Сахибу. Он понял, что опасность угрожает дяде Сахибу и дяде Георгию. Какая? Не в том суть! Надо скорее предупредить.

Солнце еще задсвало вершины гор, а уже рукоятка камчи Баба-Калана отбивала тревожную дробь по карагачевым доскам могучих ворот глиняной курганчи.

Того, кто важничает и твердит «я-я!», не любят ни люди, ни бог.

Болтуны болтают или потому, что стараются скрыть свои мысли, или потому, что не знают, что сказать.

Али ибн Зейд

Восторгам не было конца. И зеленые скалы, и фиалковых оттенков утесы, и черные провалы ущелий, и головоломно глубокие долины, на дне которых чуть видны сверху крошечные, совсем игрушечные юрты! По выпуклому боку горы лепятся домишки с плоскими крышами, а над ними — увенчанная снеговой шапкой вершина.

На перевале богатый выезд оказался выше свинцовой, снежной тучи!

— Альпы! Кордильеры! — восклицал Пат Данниган, поднося свой полупудовый бинокль к глазам и восторженно любуясь, как он выражался, «несравненными пейзажами». О, для туриста он выглядел великолепно: клетчатый костюм, клетчатые швейцарские шерстяные гетры, обтягивающие жилистые икры, на толстой подошве американские ботинки.

Как это ни поразительно — на перевал Ханака — Горное убежище — американец Пат Данниган въехал в своей великолепной коляске, запряженной серыми в яблоках рысакими, со своим великолепным, широкозадым кучером в плосковерхом цилиндре с павлиньим перышком.

Кони отлично справились с крутизной перевала. Коляска, вопреки предсказаниям Гасана, выдержала головоломный подъем без видимого урона. Иное дело кучер: выпученные глаза, посиневшие скулы, открытый рот, свистящее дыхание — все признаки «тутека» — горной болезни.

Неважно чувствовал себя и американец, но он невероятными усилиями поддерживал престиж делового человека из Соединенных Штатов, которому не страшны никакие трудности. Бодрился он отчаянно, но ноги не шли. Бессильно опустив бинокль, он пробормотал, задохнувшись:

— Где бы тут расположиться? Подытожить, заметки сделать? Говорили отель «Ханака». Превосходное место, полный отдых...

Он брел к хижине, сложенной из плоских глыб древнего гранита, с глиняной на камыше крышей, и все продолжал:

— Пьянящий воздух, вулканические вершины, голубые туманы! Поэтично. Неужели это отель! Совсем непоэтично...

И все-таки, сидя на изрядно потрепанной кошме, прислонясь спиной к стене, охлаждающей даже сквозь добротное сухоно пиджака, кашляя от дыма костра, он не уставал восхищаться:

— Тысяча и одна ночь! Не хватает нескольких пери. Сюда бы старика Моргаана или папашу Рокфеллера — повосторгаться горами, тюльпановыми лужайками и... О! Бесподобные здесь, хоть и очень смуглые, красавицы. Вам, конечно, доктор, нечего удивляться. Ваша супруга — бесподобный экземпляр... тюльпана.

Пиала горячего чая вернула зарубежному гостю болтливость. Но очень скоро его речи перестали быть пустой болтовней.

— Сам папаша Морган восторгался бы вдвойне: опытный глаз! Зеленая скала — медь. Черная полоса по склону — выход каменного угля. Радужные пятна на воде — признаки нефти. Вон тот черный осколок, с блестящими прожилками — колчедан с... Ну, пока воздержимся...

— О! — Полицейский пристав Мерлин, прибывший с американцем на перевал Ханака, не поленился, вскочил по-молодому и, бряцая шпорами, выдергивая их зубчатыми колечками ключья шерсти из кошмы, подошел к нише и начал разглядывать камень:

— Ого, и тяжелый! Свинец?

— Отсюда не вижу, дайте поближе посмотреть. Да... Трудно сказать без лаборатории. Но любопытно! Очень! Скажите, а хозяин сего отеля собирает образцы пород? Он кто? Тоже геолог?

— Нет, конечно, но горы знает. В горных породах разбирается, — сказал доктор. — Отличную коллекцию, видите, составил.

В дверях в облаке дыма появилась юная румяная физиономия Юлдуз. Звонким голосом она объявила:

— Хозяин на охоте! Пожалуйте, дорогие гости! Сейчас расстелем дастархан... Пожалуйте.

— Кто она? Этот тюльпан всех превзошел! — пришел в восторг Данниган. — Нельзя ли познакомиться?

— Извините, мы в мусульманской стране, — развел руками пристав.

— А что касается меди, серебра, свинца и... прочего — все это ждет своего хозяина. Кто протянет руку, тот и пан! — доктор говорит сердито. — Мы здесь, в нашем кишлачном захолустье, видели уже и дипломатов из Америки, и военных, и искателей приключений. Каким их ветром сюда гонит? Что они ищут в десятке тысяч верст от своего Нью-Йорка?..

— Да, интересно... — пробормотал пристав. — А ваше мнение, Иван Петрович?

— Пожалуй, вы лучше знаете! Стали бы вы ни с того ни с сего сюда дорогу строить?

Доктор имел в виду колесную дорогу, проходившую у самых дверей Горного убежища Мергена. Когда-то здесь про-

езжали сотни арб из Ташкента в Коканд через Канджигалинский перевал.

Землетрясение — а они бывают здесь часто — обрушило на дорогу целую гору обломков скал и грунта. Только недавно, после приезда в Тилляу мистера Пата Даннигана, волостной правитель Кагарбек согнал из Тилляу и из соседних горных кишлаков и аулов тысяч восемь дехкан и скотоводов, чтобы расчистить завал и сделать дорогу проезжей.

Пат Данниган теперь имел возможность проезжать на горные пастбища с комфортом в своем ландо. И это почему-то раздражало доктора. На языке у него вертелись очень злые слова. Он очень жалел полуголодных, плохо одетых местных жителей, которым пришлось почти две недели работать в ущелье под пронизывающим до костей ветром, в дождь, а временами и в снегопад, без горячей пищи, без крыши на время вылета.

Доктор уже высказывал свое возмущение Сергею Карловичу по поводу нагаек и камчей, которые пускали в ход стражники, нещадно избивая протестовавших против принудительных работ...

Внезапный приход хозяина Горного убежища Мергена прервал беседу. Мерген сразу же принялся заботиться о гостях. А мехмончилик — первый закон узбеков!

Сидевший близко от доктора американец при виде хозяина странно передернулся. Как-то сник, завял. Иссаяк и его словесный поток.

Шепотом он спросил у доктора:

— Кто это такой? Я его видел...

— Мерген — хозяин дома сего, как вы его назвали — отеля «Горное убежище».

— Очень выразительное лицо. Я был в одном ауле. Очень интересные обстоятельства... — и настороженно замолк.

Спавший под тулупом у стены человек зашевелился, громко зевнул и сел. С тревогой доктор узнал в этом загорелом здоровяке еще недавно изможденного, больного политического ссыльного Георгия Ивановича.

Настоящий провал! Встретиться с полицейским приставам!

Мерлин сразу же насторожился.

«Русский? Здесь, в горах? Откуда? И почему Мерген не сообщил? Хоть одет по-киргизски, сразу видно, что русский. Из интеллигентов, борода под Чехова... Уж не этот ли? Определенно, он!»

«Что делать? — мучительно думал доктор. — Что с ним делать? Неужели он не понимает, не видит, кто такой Мерлин? Молчать ему надо!»

Но Георгий Иванович заговорил. Причем очень откровенно и резко. Как будто он находился не в сырой, продымлен-

ной хижине, да еще в присутствии полицейского пристава, а где-то в просвещенной аудитории или на какой-нибудь международной конференции. Упрямо, словно он ждал возражений, геолог сказал:

— Мистеры концессионеры, колонизаторы, империалисты, современные рыцари большой дороги!

Звучал его голос надсадно, потому что Георгий Иванович был раздражен. Несколько удивленный, Пат Данниган принял вызов:

— Мы, американцы, не имею чести быть представленным вам, вдохнем жизнь в этот край! Поднимем его культуру! Мы высоко понимаем миссию белого человека в Азии!

Надменный тон благотворителя вполне подходил этому самодовольному, здоровому, сытому янки. Он был благодушно настроен, приступ «тутека» оказался слабым, а еще в коляске они успели с Мерлиным подкрепиться и согреться парой стаканчиков виски «Белая лошадь».

А Георгий Ивановича уже никто не мог остановить:

— Вам и дела нет до народа, до его культуры! У вас — бизнес, голый расчет, алчность. Что такое ваши концесии? Жирные куски, которые плохо лежат. Орошать пустыни, степи? Для кого? Для народа? Ну уж нет — для своего кармана. Железные дороги строить? Вывозить хлопок, семена люцерны, солодковый корень, редкие металлы, вино, сырец... Все подряд. Что там? Веребочка? И веревочка пригодится. Да и эта дорога? Из гуманных соображений? Путь для проникновения цивилизации в дикие районы? Чепуха! Знаю, куда метить... в Коканд! Сократить путь из Ташкента: Фергана хлопковая, богатейшая. Очаг американских интересов — Коканд. Вас, деловитых хапунов-янки, пруд пруди. И Русско-Китайский банк, и нефтяники из «Вакуум Ойл К<sup>о</sup>», и так называемое «Русское товарищество «Нефть», и «Электрическое общество»! И кожи к рукам прибрали, и даже кишки. Хлопкоочистительные машины американские — фирма «Стукен и К<sup>о</sup>». И подъемные машины завода Блока...

Добродушно расхохотавшись, Пат Данниган вдруг вскочил и, сорвав платок со швейной машины «Зингер», стоявшей у стены, воскликнул:

— Вы правы! Вот это цивилизация каждого дня, каждого дома! Оглянитесь: полная дикость кругом, нищета, грязь. И... блестящее орудие техники, ставшее доступным каждой дикарке. Вот он, гуманизм!

Что-то вроде рычания послышалось у дверей. Янки невольно обернулся и пожал плечами: его испугал взгляд Мергена.

— Вы что-то сказали, сударь? — спросил Пат Данниган.

— Нет, — буркнул охотник. — Но одно слово. Мы вас видели, господин, в одном месте. Нехорошо видели. Но у нас

есть привычка, у горных жителей... Гость для хозяина — сын родной. Хозяин для гостя — отец родной.

Без сомнения, янки почувствовал себя неловко. И пристав это понял, еще не зная, чем вызваны враждебные взгляды, которыми обмениваются Мерген и Данниган.

— Господин Данниган, я вам уже говорил про Мергена, лесного объездчика. Вот он, Мерген, владелец хижины.

— Вы говорили, что имеет смысл...

— Да, именно, речь шла о нашем почтенном Мергене.

— Отлично. Есть предложение, господин охотник. Поступайте к нам на работу.

— Мы уже имеем работу. Мы служим.

— Неважно. Мы, то есть концессия, берем вас к себе. Мы будем платить хорошо. Вы сможете выбросить к черту все барахло вместе с этой развалиной. Построим вам отличный дом. Да...— обратился он к Георгию Ивановичу.— И вас возьмем! Я вижу, вы знаете горы. Вы кто? Инженер? Геолог? Беру в компаньоны. Ваше знание местных гор — наши деньги. Отличный доход, высокие цены на акции. Что ж, по рукам!

Ни Мерген, ни Георгий Иванович ничего не ответили. Искоса геолог следил за выражением лица пристава. Мерлин слушал внимательно, покручивая ус. И ничем не показал, как он относится к напористому предложению американца.

Лицо Мергена оставалось мрачным, напряженным.

Настороже держался и доктор. Поведение Георгия Ивановича его просто пугало. К тому же он видел, что Мерлин отлично понимает, с кем он имеет дело, и, очевидно, строит свои планы.

Так или иначе, но Георгия Ивановича надо вызволить во что бы то ни стало.

Из раздумий доктора вывел шепот за спиной. Он повернул голову, и у него сжалось сердце. В его плечо упиралась подбородком круглолицая, добродушно улыбающаяся физиономия Баба-Калана.

Первое, что мелькнуло в голове: дома что-то случилось.

Ведь когда доктор уезжал вчера из Тилляу, мальчишки мирно завтракали под командой Гульбики, вооруженной деревянной ложкой, для не имеющих аппетита. К их разряду, конечно, Баба-Калан не относился, он всегда просил добавку.

После завтрака обычно предстояли занятия с Ольгой Алексеевной, ну а потом обыкновенные игры в «казаки-разбойники».

Ничто не предвещало появления мальчика в пещере Мергена.

— Что случилось, сынок?— спросил тихо доктор.— Как ты сюда попал?

— На сером... Вот вам от Лолы-ханум...— Доктор почув-

ствовал в ладони конверт.— Лола-ханум сказала: отвези и отдай доктору. Вот отвез и отдал.

Как просто. Проскакать мальчишке добрых тридцать верст по горным ущельям. Письмо, видно, спешное. Как прочитать его здесь при всех? А впрочем... Он разорвал конверт и, придвинувшись к чирагу, начал читать.

— Что-нибудь случилось, Иван Петрович?— подал голос Мерлин.— Письмо из Тилляу.

Но вопрос его перебил вошедший Мерген:

— Эй, Сабир... Сколько раз тебе говорил: ехал быстро.. Прежде чем садиться за дастархан, распусти подпругу. Поводи взопревшего коня, а то сядет на ноги. Иди же!

Он выпроводил мальчишку.

Доктор читал по-французски: «Жан, не волнуйся... В кишлаке днями будет нашествие пик... и меховых шапок... приедут охотники. В горах будут полевать зверя. Время не терпит. Дома все хорошо».

— Что-нибудь случилось?— повторил напористо Сергей Карлович.— Вести из дома?

— Нет, господин начальник, господина доктора вызывают в горы... Заболел бий Сарымсак.

— Да, да, заболел, серьезно заболел. Придется вас оставить, господа. Мерген, пойдем со мной... Надо посмотреть лошадей.

Направляясь к выходу, он бросил:

— Сейчас вернусь.

Попытавшись встать, Мерлин плюхнулся на свое место.

## XXVI

Лучше быть соломой у пшеницы,  
чем семенем у сорной травы.  
Лучше быть дурным у хорошего,  
чем хорошим у дурного.

Сенусерт

Пройдя по дворику несколько шагов, доктор остановился. Услышав за спиной шаги Мергена, доктор тихо сказал:

— Приготовьте лошадь... нет, две. Пусть стоят заседланные. Геолога надо выручать. В Тилляу пребывают казаки. Баба-Калан Сахиба не застал. Сюда прискакал. Что здесь делает девушка?.. Ну, я говорю о Юлдуз.

— Приехала взять для курганчи мясо.

— Что, у Сахиба нет слуг? Он посылает жену... одну ездить по горам?

— Юлдузхан — вроде наша родственница. Ничего такого, если она приедет раз-другой к моей жене, позаботится...

— Я не об этом. Это дело ваше. Даже хорошо, что она здесь. Скоро ночь. Вон уже Бобо-таг весь красный в отсвете

заката. Через полчаса стемнеет. Георгий Иванович может в горах сбиться с пути. Пусть Юлдуз берет мясо, кладет в хурджун и будет наготове. Проводит Георгия Ивановича не по большой дороге (там могут быть казаки), а через гору, по архаровой тропе, в курганчу. До завтра казаки туда не доедут.

Мерген вернулся в хижину, уселся на свое место, стараясь не смотреть на Мерлина и Даннигана. Поднял глаза к потолку. Да, этот янки знал, на чем играть. Бедна хижина Мергена. Комната, или как ее с достоинством назвал Мерген, мехмонхана — гостиная — представляла поистине странное зрелище. Потолок из кривых суковатых балок, почерневших от вечного дыма костра, который разжигался прямо на неровном каменном, состоявшем из огромной природной глыбы полу. С потолка свисают камышинки. Дверной проем едва закрывает грубая, плохо пригнанная дверка. Притолока так низка, что приходится, входя, сгибаться. В противоположной стене-скале — расщелина. Это дверь в пещеру, в которой живет семейство Мергена. В пещере, пожалуй, лучше. Там и летом и зимой стоит почти ровная температура. Однако в мехмонхане убранство не такое уж нищенское. В нишах, на алебастровых полочках, китайские пиалы, фарфоровые чайники — первое свидетельство зажиточности. В большой, вырубленной в породе нише, — гора шелковых и ситцевых одеял, валикообразных подушек-ястук. На других стенах развешено старинное оружие и даже великолепный кожаный с тиснением сагайдак-колчан, набитый густо оперенными стрелами.

Мерген, оказывается, предпочитал охотиться дедовским способом на горных баранов и дудаков. Среди мултуков и сабель выделялся прекрасный карабин, как говорили, подарок самого губернатора.

Мерген, побеспокоив гостей, разостлал отличный текинский темно-малиновый ковер и несколько ярких паласов. Видимо, сделал он это в пику самонадеянному янки, слишком много болтавшему про нищету и дикость горцев.

С гордостью Мерген показал на несколько богато отделанных серебром и бирюзой седел со сбруей.

— Про нас говорят: греется под двумя солнцами, — без малейшей скромности сказал Мерген, расстилая шелково-адрасовый дастархан.

Он и угощением решил щегольнуть. Охота была удачной — вскоре на дастархане появилось и жареное и вареное, и притом все, вкусно изготовленное... Иностранный гость непрерывно восклицал: «Так вкусно! Превосходны кулинары в Туркестане!»

Блюда сменялись бесконечно, а в заключение был подан плов с фазаньим мясом. Пат Данниган окончательно впал в



восторг и умилился чуть ли не до слез. Возможно, на него повлияла смесь виски с великолепным красным мусалласом изготовления самого Мергена.

Поразила гостя и дыня, принесенная Мергеном на огромном черном разрисованном розами подносе. Разрезал он ее медленно, со вкусом, на удивительно аккуратные, сочащиеся сладким соком треугольнички.

Восторгам не было, казалось, конца.

Но Мерлин, державшийся до сих пор в тени, с трудом поднялся, покачиваясь на своих журавлиных ногах-ходулях и дожевывая кусок дыни, остановился против Георгия Ивановича и, запинаясь, проговорил:

— Поразвлекались, значит? Блаженство! Освежает. А то в горле жжет. Наш хозяин не пожалел в шурпу стручков «красного зверя»! Даже после дыни горит все. Спасибо «лесовику» Мергену, накормил, напоил... Надеюсь, милостивый государь, вы отнесетесь к моему приглашению спокойно?

«Начинается!» — подумал доктор.

— Приглашению? — поднял голову Георгий Иванович. Он тоже смаковал дыню. Липкий сок стекал по его пальцам.

— Приглашаю вас прокатиться с нами! Мистер Пат предоставляет вам место в своем ландо... Ну как, мистер Пат? Не правда ли, отличный ужин? Лепешка, хотя ячменная, но пока горяча, отлична на вкус, а? Не правда ли, вы посадите господина геолога к себе в фаэтон?

Слово «геолог» заставило Георгия Ивановича вздрогнуть — это не осталось незамеченным. Доктор подался вперед. «Значит, Мерлин все знает! Лёвушка!»

— Поверьте, — продолжал пристав, стараясь совладать с непослушным после выпивки языком, — гораздо удобнее в ландо-с. А то придется ехать верхом на лошади или тащиться пешком. Темнота, дождь со снегом, скользко...

Нахмурившись, несколько нетвердым голосом — он тоже сегодня выпил достаточно — Георгий Иванович решительно возразил:

— А я и не собираюсь!.. Ночую здесь. Мне нравится у друга Мергена. Ехать не думаю ни с вами, ни с ним.

И он кивнул в сторону Пата Даннигана.

— Но я вас очень буду просить... Мы просим вас!

— Чего ради мне ехать в Тилляу?

Георгий Иванович расположился удобно, раскинувшись на одеялах, подоткнув за спину несколько подушек. Но он уже не благодушевствовал. Он смотрел на Мерлина, нахмурившись, враждебно. А с пристава слетели последние признаки опьянения. Он вытянулся, держался подтянуто, официально.

— Вам, сударь, придется поехать.

— Это еще почему?

— Не уstraивайте осложнений, господин геолог. Отлично все понимаете: вы задержаны!

Остатки хмеля мгновенно слетели с Георгия Ивановича:

— В чем дело?

— Вы задержаны... не хотелось вот при них.— Он посмотрел на ничего не понимающего Пата Даннигана.— Арестованы, черт побери! Или непонятно? Впредь до выяснения! Следуйте за мной.

Георгий Иванович вскочил:

— Плевать мне на вас!

— Господа, будьте свидетелями! Господин доктор, обращаюсь к вам как к государственному служащему! Вы окажете мне содействие. Задержан опасный преступник, беглый каторжник!

Он поискал глазами Мергена:

— Ты, лесной объездчик, тоже служащий... Возьми оружие! Будешь охранять преступника. А вы, мистер, представьте вашего кучера в распоряжение полиции. Он тоже нужен!

Не вставая с места, Мерген решительно заявил:

— На гостя руку не поднимай!

А Пат Данниган склонился вперед и, чуть не лежа на заставленном посудой дастархане, заверещал:

— Чепуха! Аресты! Задержания! Протестую! Этот человек дал согласие поступить на службу в концессию... американскую концессию. Он концессионер Соединенных Штатов. Он под покровительством звездно-полосатого флага. Я не соглашаюсь на арест мистера Георгия.

И тут Георгий Иванович повел себя совершенно нелепо. Надменно заявил американцу:

— К черту!.. Что вы суетесь не в свое дело? Я не нанимался к вам, не продавался! Я и сам тут с господами полицейскими разберусь.

Пристав перешел на крик:

— Бесплезный разговор! Господин геолог, не вынуждайте меня употребить силу! Мерген, не выпускать отсюда никого! А за этого, кагоржника, головой ответите!

— Аллах велик!— сказал Мерген угрожающе.— Этот путешественник нашел в моей хижине кров над головой, отдых для души, пишу для тела. Пока гость не переступил, выходя, порога, я, хозяин дома, отвечаю за его жизнь и здоровье. Да будет он благополучен! Ваше благородие, отойдите от него!

Мерген чуть не силой отобрал тяжелую кожаную плеть, которой полицейский начал угрожающе помахивать и шелкать по голенищам сапог.

— Не смей! Ты знаешь, что тебе будет! Болван!..

— Мы. Мерген! Мы ветвь от древнего могучего племени

горцев! Не говори плохое слово, ваше благородие. Уши Мергена не переносят сорочьего крика!

— Что же это такое?— вдруг занял пристав.— Что происходит? Неповиновение! Доктор, вмешайтесь! Рассчитываю на вашу помощь. Помогите мне — представителю власти!

— Вы, Сергей Карлович, забыли, что я медик и к жандармам никакого отношения не имею.

Говорил Иван Петрович уверенно. Он уже опомнился и лихорадочно строил планы, как вызволить Георгия Ивановича из ловушки, в которую тот так глупо попал. Или его завлек Мерлин? Очевидно, дотошный полицейский все подготовил заранее. Только почему прикатил один, без стражников?

— Вы, доктор, тоже подвергаетесь ответственности!— выкрикнул пристав.

В ответ доктор пожал плечами и сделал глазами знак Мергену: «Уходите!» Мерген понял.

— Сергей Карлович, прекратите!— тихо, но внушительно сказал доктор.— У вас нет никаких оснований для ареста.

— Оснований предостаточно.

— И потом, вы подрываете авторитет европейцев.

— Да, да! — заволновался Пат Данниган. — Нельзя! Он — белый! И потом я взял его на службу!

— Мерген! Отведите его!

Пристав вздернул голову и свысока глянул на доктора: «Меня послушали».

Мерген повел перед собой ничуть не сопротивляющегося Георгия Ивановича. Все присутствующие махали руками и говорили одновременно. Костер в очаге почти погас. В дыму красными огоньками чуть теплились два чирага — светильника. И разглагольствовать что-либо было трудно.

Потом в мехмонхане наступило молчание. Все с недоумением тарашили глаза.

Было чему удивляться. Мерген и Георгий Иванович исчезли.

Лесной объездчик повел Георгия Ивановича не к выходу во двор, а к расщелине в скале, служившей проходом в ичкари. Мерлин бросился за ними. Но Мерген повернулся и загородил могучим торсом вход:

— Сюда дороги нет!

— Прочь! Все равно я до него доберусь!

— Здесь мои женщины! Закон не позволяет постороннему мужчине войти в ичкари!

Ни брань, ни угрозы не помогли. Мерген высился скалой. Временами твердил:

— Гость дорже родного сына!

— Все равно тебе придется выдать его! Не мне отдашь, так казакам... Утром они будут здесь. Церемониться не станут! Не поздоровится тебе, Мерген!

— Он мой гость!

— Поберегись, Мерген! Ты государственный служащий. Ты ответишь за противодействие властям, за укрытие преступника!

— Я не знаю преступника... Я знаю гостя.

Пат Данниган, пошатываясь, стал пробираться через тувшую во мраке и дыму мехмонхану к выходу. Он ворчал:

— Проклятая темнота! Проклятый беспорядок!

Он был пьян, но не настолько, чтобы ничего не замечать. Возмущался он искренне... За ним выскочил на воздух пристав.

Доктор быстро сказал:

— Надо, друг Мерген, вывести Георгия Ивановича из ичкари. Выберите момент. Помогите ему пробраться к лошадям. Вы сказали Юлдуз?

— Все правильно. Все хорошо.

— Но его здесь все равно арестуют. И вас тоже!

— Иван-ака, его нет в ичкари. Там есть дыра, вроде окошка, на другой стороне. И все теперь правильно! Не случайно сказано: «Говорящий правду держит коней заседланными...» Юлдуз покажет ему дорогу.

И он вдруг низко поклонился:

— Ваше приказание на моей голове, хаким!

Доктор вернулся к дастархану и налил себе чаю. Пил с большим удовольствием. В мехмонхану ввалился Пат Данниган. Он ринулся к дастархану и вновь принялся уписывать за обе щеки дыню.

— Мистер Данниган, — сказал доктор, — не считайте за невежливость, но хозяин этого дома, человек гостеприимный, настоящий кладезь премудрости, никогда не проявил бы невежливости, он... очень советует вам выезжать. Темно... Моросит дождь... Дорога скоро покроется ледком. Долго ли кучеру в темноте потянуть не за ту вожжу? Рядом — пропасть. Не дай бог! Но тогда ваша концессия останется без такого предприимчивого руководителя.

Но внять советам доктора Пат Данниган не торопился. Выпитое будоражило его воображение:

— О! Но какая неприятность этому, как вы сказали, каторжнику?.. Такая неприятность, беда! Про мистера Джорджа, то есть, Георга, у нас в Соединенных Штатах знают. Откуда? О, наши газеты все знают, все видят. Под землей видят. «Ньюйоркер пост» печатал статьи про Туркестан. Про мистера Джорджа писал... Это эрудит! Знает, где в здешних горах медь, серебро где. Еще, хэ-хэ, кое-что есть где... Такой знающий человек! Очень необходимый!

— Ну вы и пролазы, господя янки! Теперь поверишь, что у вас тысячи глаз. Правильно я заметил, что ваши механики, что обходят ежегодно кишлаки и ремонтируют нашим узбечкам и киргизкам швейные машинки, так любопытны! Их все интересует — и поголовье скота, и школы, и сколько где русских солдат, и какие где посева, и где ведутся ирригационные работы. И вот добрались до земных недр! Но ведь это же настоящие шпионы, ваши агенты... компании «Зингер»! Известно, что немецкая компания «Зингер» на самом деле принадлежит американцам.

— Вы преувеличиваете, — пробурчал под нос Пат Данниган. — Слишком хвалите нас, коммерсантов. Но предприниматель, концессионер должен все знать. Да, а что будет с Джорджем? Куда он провалился? Найдите мне его.

— Георгий Иванович исчез.

— Как так?

— Исчез. Испарился. Растаял в туманах горных вершин. Доктор вывел почтенного концессионера под руку и проследил, чтобы его усадили в ландо.

Экипаж производил здесь, среди мокрых, слегка заснеженных камней и громадных скал, нелепое впечатление. Снопы света падали из огромных, зеркальных газокалильных фонарей, освещая могучие крупы серо-яблочных рысаков и вырывающая гигантскую ватную фигуру кучера на облучке, и на цилиндре трепещущее среди снеговых мотыльков павлинье, переливающееся фиолетово-оранжево-голубой красками перышко.

Совершенно мокрый, на подножку ландо шагнул, слегка споткнувшись, господин пристав. Затем он плюхнулся на сидение и обнял взывшего Даннигана.

— О черт!.. — ругался концессионер. — Озеро Мичиган, а не человек! Господин доктор, я не прощаюсь! Торговля. Польза! Бизнес! Покупаю мистера Джорджа со всеми потрохами! Я его искал, я его нашел. Вы его ловите! Его мозг — драгоценности! У нас деловое предложение: покупаем его, карты, документы...

Весь в ореоле из снежинок, фаэтон медленно удалялся. Из полной тьмы доносились под стук копыт хриплые, простуженные вопли:

— Покупаем! И вас, доктор, покупаем! Концессия покупает. Выгодно. Тысяча долларов в месяц!

Вернувшись в мехмонхану, доктор снова принялся за чай, но долго не мог успокоиться.

— Набить бы ему морду, этому янки, соблюдая правила бокса и вежливости. А нашему мерзавцу...

Доктор разговаривал сам с собой. Никого в мехмонхане не было.

## XXVII

Он умножал старые гяготы; создавал новые и добывал деньги любым путем

Ибн ал Асир

Надо ли загонять муху на мед?

Алаярбек Даниарбек

«Душа вспыхнула и подгорела...» — во всеуслышание говорил Кагарбек. И внутренний огонь этот вызван был блеском золота, золотым пламенем. Оно сжигало его.

Оно опалило многих.

А виновником был Сахиб Джелял — хаджи, богач, проживавший с некоторых пор загадочным пришельцем в Ахангаранской долине и вызывавший зависть у Кагарбека. А русская колониальная администрация глубоко не вникала в жизнь в Канджигалинских горах. Никто из администрации в Ташкентском уезде и внимания не обратил, что какой-то зажиточный, пожалуй, даже богатый, неизвестно откуда объявившийся бай приобрел у казны земельное угодье в шестьдесят кошей — упряжек волов, целую поднебесную долину, и завел весьма крупное скотоводческое хозяйство. Лишь бы аккуратно платил налоги. А так пусть развивает экономику уезда.

Долгое время только эта сторона жизни и деятельности Сахиба в известной мере интересовала и Сергея Карловича, полицейского пристава Ахангаранского уезда.

Плов в горной курганче готовили преотличный. Запретный напиток — водку — подавали на дастархан, причем только «белоголовку» смирновскую, коньяк высихих французских марок «Наполеон» или «Камю». Напутственные подарки Сахиб делал поистине царские. Словом, курганча отличалась прославленным узбекским гостеприимством.

Сергей Карлович последние годы ездил на кауром жеребце «арабе» чистых кровей, которого он, кстати, не покупал. И все знали, что жеребец выращен в конюшне господина Сахиба. Будучи трехлеткой, конь взял с десятков призовых халатов на многотысячных капкари — конных играх, которые являлись страстью горного дива Сахиба.

А высокогорные луга Тешикташа были столь заманчивы для любителей конских игрищ, что собирали каждый раз тысячи по три всадников: из Сырдарьи, Чимкента, из Ферганской долины и даже из Кашгара.

Однако не всем нравилось то, что Сахиб жил отныне в Ахангаране. Их преосвященство муфтий изрекал — и не раз — такие слова: «Сын волка не станет братом человека».

Появление Сахиба в окрестностях Тилляу его никак не устраивало. Прежде всего потому, что Сахиб купил у госу-

дарства целую долину, где находился священный мазар Тешикташ, молитва в котором излечивала женщин от бесплодия. Паломничество женщин составляло немалую доходную статью господина муфтия.

Правда, Сахиб ни в коей мере не посягнул на вакуфные владения духовенства и оставил все так, как было. Но уж одно то, что хозяином Тешикташской долины теперь оказался не он, муфтий, а пришелец, лишило муфтия покоя. Кроме того, господин муфтий достиг уже довольно почтенного возраста, но так и не удосужился совершить хадж в Мекку. А Сахиб два раза там побывал. Он носил с достоинством звание «дважды хаджи».

Муфтий было хотел купить паломника и послать его молиться к каабе вместо себя. Такие паломничества вполне допускались. Но это требовало больших денег, а муфтий клялся, что у него их нет. Только на словах муфтий пребывал в угодной пророку бедности. На самом деле не было духовного чина в Сырдарьинской области, кто мог бы похвастаться такими доходами, как хранитель мазара Тешикташ и настоятель соборной мечети в Тилляу. Но кто считает в чужих сундуках?

Господин муфтий никогда не выполнял и второй священной обязанности верующего — не принимал участия в войне с неверными. Ни разу в жизни он не обнажил меча. А Сахиб ни от кого не скрывал своих воинских подвигов в Аравии, Судане, Сомали, Ливии и странах Магриба.

Муфтий ненавидел Сахиба за все: за Мекку, за красиво повязанный из дорогой кисеи тюрбан, за вовремя продублированную цитату из сочинений законоведа Аш Шафи, за похищенную красавицу Юлдуз, даже за то, что сапоги Сахиба были вытаны из какой-то очень мягкой, глянцевиной кожи.

Его преосвященство долго «рыл и копал». Придумывал изощренные хитрости и подвохи против «сына волка, который не сможет стать братом». И в конце концов успел в своих самых черных замыслах.

... Господин муфтий, нервно дергая зерна своих кокосовых четок, кстати привезенных из Бахрейна и подаренных Сахибом, прохаживался по мягким персидским коврам своей парадной мехмонханы на женской половине. Одутловатое, пухлое лицо его с тощей бородкой лоснилось от пота. Красные глазки слезились. Шевеля толстыми, мясистыми губами, муфтий шептал:

— Рабы господа всевышнего истерзаны притеснениями твоих стражей — архангелов гнева несправедливого, меча мстительного!

И еще он повторял вполголоса, чтобы не забыть, то, что он сегодня услышал.

Итак, дважды хаджи, враг царского режима, поднял голос против... ак-падишаха! Сахиб открыто провозглашал: «Недопустима власть неверных кяфиров над правоверными мусульманами. Нечестивая власть! А нечестие должно быть повергнуто в прах и грязь!»

Его превосходительство муфтий тоже так считал. Но муфтий держал свои мысли при себе. Значит, муфтий был благонамеренным подданным русского царя, а Сахиб... злоумышленник.

Канцелярия военного губернатора Самаркандской области объявила официальный розыск Сахиба. Разыскивали его за крамольные речи.

Бухарский эмир бросил Сахиба в зиндан. Сахиба подвергли наказанию палками за... неверие!

Сахиб был сослан на каторгу в Сибирь и бежал оттуда.

Сахиба разыскивают по всей Азии власти британской Индии за поднятый им мятеж в провинции Раджистан англо-индийских владений.

Сахиб — один из полководцев мятежного пророка Махди, поднявшего победоносное восстание в Судане против англичан-колонизаторов. Правительство могущественной Британии требует у русского царя выдачи его.

И, наконец, Сахиб, господин помещик и владелица курганчи, имеет какое-то отношение к безбожникам-джадидам, которые собираются на тайные сборища в Ташкенте.

Он знаком с Закирджаном Фуркатом.

А Фуркат — смутьян и свободолюбёц, состоящий на подозрении у Шейхантаурского духовенства и находящийся на плохом счету у Туркестанского генерал-губернатора.

«Вайдод! Караул!»

Такими черными вестями

Поражены даже звезды!

А небосвод

дрожит и растрескивается!

Было отчего муфтию впасть в растерянность и смятение.

Крайне обеспокоенный пристав Сергей Карлович, приехав вчера вечером предупредить волостного правителя Кагарбека, лишь на минутку заглянул в ишанское подворье к муфтию и даже не остался на плов.

— Заглянул вас просветить и... вразумить... Спешу! Спешу!

Он наспех рассказал о Сахибе и ускакал в Ташкент на том самом кауром «карабе» из сахибской конюшни. Еще Сергей Карлович распорядился послать верных людей на ферганские перевалы: «Не дай бог, Сахиб пронюхает что-нибудь... И птичка фр-р! А вместе с птичкой и... золото!»

Золото Сахиба



Вот она — та самая причина, из-за которой всполошился полицейский пристав. Все остальное не стоит и выведенного яйца.

Господин муфтий приказал седлать коня. Взгромоздился всей своей десятипудовой тушей на мягкое, украшенное серебром и бирюзой седло. Он не мог ни минуты оставаться на месте... дома...

Он взял с собой целую разношерстную толпу мюридов — оборванцев полуслепых, хромых, горбатых. Пешие, босые, они безоружны. Но они пострашнее стражников Кагарбека, потому что безумны в своем фанатизме и по одному движению пальца муфтия бросятся на кого угодно в слепой ярости... У каждого в руках посох с железным наконечником.

Несколько минут муфтий сидел на коне молча. Глаза его растерянно озирали дворовые помещения, полные готовности бородатые лица мюридов, бегающих по двору слуг, выглядывающих из ичкарн жен.

Он молитвенно поднял руки. Пусть думают, что он возносит аллаху дорожную молитву. На самом деле в его голове — одно слово: «Золото!»

Нет, не может он, муфтий, оставаться до завтра и ждать прибытия казачьей сотни... Золото не дает ему покоя. Золото манит его.

Полицейский пристав приедет с казаками, очевидно, завтра. А муфтий знает, что жена доктора Лола-атын вчера вечером послала с мальчишкой — сгори его отец в могиле! — этим Баба-Каланом письмо в курганчу. И письмо, несомненно, очень важное. Доктор уж, наверное, что-то узнал по поводу казаков.

Муфтий все еще сидел на коне и прикидывал так и эдак. На его пухлом, благообразном лице читались растерянность и недоумение, приводившие и мюридов, и домашнюю челядь, и любопытных жен в смятение. Никогда еще они не видели своего наставника и повелителя в столь жалком состоянии.

Конь под муфтием нетерпеливо переступал с ноги на ногу, дергал головой. Невеселые, тревожные мысли мучали муфтия. Письмо, очевидно, заставило Сахиба насторожиться. Чем объяснить, что Сахиб не приехал в Тилляу на той, куда, договорившись еще неделю назад, пристав, волостной Кагарбек и он, муфтий, пригласили Сахиба. Большой суннат-гой — пир по поводу обрезания племянника муфтия уже состоялся.

С того тоя горный див Сахиб не уехал бы так просто...  
— А теперь где Сахиб?

Вздыхнув, муфтий дернул за узду. Конь так стремительно рванулся вперед, что седок пошатнулся и выругался. Во дворе все заохали. За воротами муфтий принялся энергично

понукать коня. Живот ударялся очень больно о луку седла. И муфтию было трудно думать.

... Говорят, красавица Юлдуз тайком приезжала с гор. Побывала в ичкари муфтия. Двоюродная сестра ее — вторая супруга муфтия. А женщины знают обо всем, что говорится в доме и даже в мечети.

Муфтий, узнав, что Юлдуз в его доме, сейчас же направил свои стопы на женскую половину: «Почему не поглядеть на красивую женщину?» На всякий случай прихватил с собой хорошую плетку... Но красавицы Юлдуз, воистину змееныш — от змеи Пардабая, скорпиончик — от скорпиона, в ичкари уже не оказалось. Хитра лиса!

Какой он простофиля! Следовало послать мюридов с палками, догнать, найти, поймать! Запереть на замок!

Золото! Юлдуз знает про золото.

Сам виноват... Разговаривали они — и не раз — с приставом Мерлиным в мехмонхане при открытых окнах громко, слишком громко. А говорят же: «В доме стены, а в стенах живут мыши, а у мышей уши...»

Куда из подворья побежала пряткая Юлдуз?

Ну, конечно, в больницу... Ее видели в больнице. Бесстыдно, без паранджи, с голым лицом она беседовала с фельдшером, а оттуда запрыгала, как коза, в дом к доктору.

А чего «гаденыш», сынок охотника Мергена, ездил на лошади доктора в курганчу?

Вот и ясно... Письмо Лолы-атын привезено мальчишкой Сахибу. Проклятие всем женщинам земли! Стал бы Сахиб проливать ливень даров над домом бедняка Пардабая!

Нет, тут дело серьезное. Поспешим!

Проклятие тряскому коню! На этой кляче можно ездить только шагом во время торжественных и священных путешествий со свитой из Тилляу к священным куполам Тешикташа и обратно.

И с чего доктору так заботиться о Сахибе? Сахибу не нужен урус-доктор. А доктору, наверное, не совсем приятно, что еще сравнительно молодой, приятный лицом, знаменитый воин и бек бывал в его доме, когда в нем с открытым лицом — таков легкомысленный закон у этих ференгов! — ходит такая красивая жена! Не надевать же доктору на Лолу-атын паранджу с чачваном...

Нет! Все это курукгап — сухой разговор! Здесь что-то другое.

А-а! Теперь ясно. Письмо предупреждало не Сахиба а того уруса-геолога, который живет... прячется в курганче Сахиба.

«Политический!». Это слово муфтий отлично знал. С тех пор, как доктор чудесным образом излечил его от слепоты,

муфтий почитывал газеты из Оренбурга и Казани и даже Бахчисарая. Просвещался. Там про все события в мире можно прочитать. Не то, что в «Туземной газете», выходявшей при канцелярии генерал-губернатора на узбекском языке. Знал он и то, что политический каторжанин Георгий не только просто живет в курганче Сахиба, но и все эти годы скитается по горам, ищет что-то, копается, как крот, в земле.

Не знал муфтий одного, что именно с помощью Зия-бен-Кабула, отца Мергена, геолог Георгий Иванович обнаружил древние, еще домонгольские, металлургические рудники, одно название которых Алтын-Топкан — «Золото нашел» — красноречиво говорило о многом.

Не знал муфтий и того, что Сахиб, со свойственной ему предприимчивостью и неистовой энергией, разыскал опытных старателей, привез их в долину и очень успешно извлекал золото из недр Канджигалинского хребта.

Никакого участия в этих делах доктор принципиально не принимал. С тревогой он видел, что горнодобывающее предприятие Сахиба и Георгия Ивановича принимает широкий размах.

Доктор предостерегал:

— Это не иголка. И здешние горы не стог сена. Вы действуете слишком открыто. Попадетеся.

Но муфтий о многом и понятия не имел. Пронюхал он только, что в курганче Сахиба есть золото. Сколько? Какое?

Рысью он ехал через горы... за золотом. Он почему-то представлял его в виде большого, тяжелого, блестяще-желтого кирпича. Кирпич был квадратный, плоский, гладкий и холодный.

Из таких местного обжига кирпичей были выложены стены старинного, изрядно обветшавшего, скособочившегося мавзолея Тешикташ, знакомого тысячам женщин Ташкентского оазиса, искавшим в нем с молитвой исцеления от самого страшного для женщин узбечек недуга — бесплодия. Сюда они стекались толпами, сюда они несли свои жалкие гроши, превращавшиеся в золотую реку для муфтия и его верных мюридов.

И, быть может, в воображении муфтия сейчас серо-глиняная курганча Сахиба и ветхий с выщербленными стенами Тешикташ слились в один отливающий золотом дворец. А когда он во время непродолжительного отдыха в мазаре смотрел на такие же квадратные кирпичи из самой обыкновенной обожженной глины, которыми был вымощен дворик мазара, то они в его глазах сияли червонным золотом. И он ужасно сожалел, что это всего только кирпичи, правда, чудодейственные. Положи такой кирпич на живот бесплодной женщины, прочитай молитву о зачатии — и сразу же она затяжелеет.

Но, увы, кирпичи-то не золотые!

За спиной послышался звон подков целой кавалькады. Муфтий не сдержал проклятий. С ним на коне вороной масти поравнялся сам Катарбек, молодой, бравый, краснощекий, с улыбочкой продекламировал нараспев:

«Дирхем устраняет скорбь.

Динар — ключ ко всякому желанию».

## XXVIII

Караван ушел — и остался лишь  
пепел костров.

Захид Термези

Прелестны соблазны иблиса! Но  
помни, цветок пахнет, когда распус-  
кается бутон, а не когда увядает.

Шахиди

— Ассалам алейкум! — густым басом прогудел волостной правитель, и — показалось это или нет муфтию — в его гудении звучали и издевательство и угроза. «Ассалам алейкум» было такое оглушительно громкое, что даже скалы ущелья, по которому они ехали, ответили многозначительным, зловеющим эхом.

— Ваалейкум ассалам! — ответил муфтий нетерпеливо и зло. Голос его сорвался в хрип.

Но невежливо сразу переходить к вопросам, и два шавандагона, то есть власть имущих, ехали рядышком по берегу бурливого горного потока несколько минут молча.

Первым не сдержался волостной:

— Куда вы, ваше святейшество, изволите направлять свои стопы?

— Туда же, куда и вы!

— К господину Сахибу?

— Дела!

Так они и ехали по ущелью, косясь друг на друга, кипя завистью и злобой. И тот и другой мысленно твердили: «Золото! Золото! Где Сахиб прячет золото? Осторожно, как бы не спугнуть...»

Решительная, даже грубая натура волостного не терпела тонких хитростей.

— На одной голове два кувшина не удержатся, — сказал он мрачно. — Однако особый случай. Там хватит на двоих. Как будем поступать?

— Осторожность и тонкость — свидетельство ума, — отозвался муфтий. — Никаких, умоляю, воплей и угроз! Тихо, благопристойно. Но нас беспокоит одно лицо, так сказать, облеченное властью и обладающее силой и мощью...

— Белая фуражка,— покосился волостной на ехавших за ним стражников,— отбыл со всей поспешностью в город. Белая фуражка соизволит возвратиться не позже завтрашнего утра. Надлежит, гм... со всеми делами покончить сегодня вечером. Лучший дастархан — дерзающим. Представить Белой фуражке господина... живым или мертвым. Впрочем... мы вправе поступить так.

— Живым или... или, так сказать...

— В мертвом рту... язык не шевелится!

И волостной снова скосил глаза на восседавших истуканами в седлах, вооруженных берданами стражников. Затем, глянув на шлепающих по гальке и щебенке мюридов, покачал головой. Лохмотья на их спинах промокли от пота. Слышалось хриплое дыхание...

Один из них, видимо, старшой, все забегал вперед коня муфтия и восклицал:

— Дубины у нас хороши! Вот только поясницы слабы. Плохо вы нас кормите, господин муфтий... Да и что с дубинами поделаешь? А в курганче сколько здоровых джигитов с винтовками? Кто знает?

— А мы их молитвой!.. Молитвой!

Кагарбек выпятил грудь и передвинул пояс, на котором блестела лакированная кобура с наганом, подаренным ему собственноручно их высокопревосходительством ярым-падишахом. Оружие внушало уверенность.

Муфтий страдальчески возвел глаза к небесам. Трясая езда верхом причиняла немало страданий его изнеженному телу, взлелеянному на мягких курпачах. С легким стоном он вдавался в размышления вслух, носившие не столько философский, сколько практический характер.

— Господин Сахиб — достойный человек, украшение общества мусульман. Велики подвиги газия. Но... увы!.. — тут конь особенно целовко тряхнул грузную тушу муфтия. — Увы... Сахиб беседует с вредными мыслителями. С господином Фуркатом, например. Уважаемые люди, царские чиновники не жалуют означенного поэта. Слова дерзкие и вольные он сыпет без сита... Вся наша улема — почтенные духовные чины — задеты до нутра беседами Сахиба и господина Фурката. Мы, духовные лица, просвещенные светом корана, не терпим таких, у кого голова — вместилище дерзких мыслей. А что, если Сахиб перепрыгнет через голову нашей всезнающей улемы и, пинками сапога сметая Шейхантаур и Кукельдаш, поведет — страшно подумать! — по пути бунтовщиков?.. Ужасно! Мыло его въелось в наше платье. Его путь — путь опасных людей. И к ним надлежит, господин Кагарбек, отнести светоч медицины, хакима доктора и его ханум, позорящую наш мусульманский обычай.

— С доктором у нас свой счет,— буркнул волостной.—

А о Лоле-атын — другой разговор... Красивая женщина... С открытым лицом она даже красивее. Лола-атын — дорогая женщина. А для драгоценности всегда найдется место. Впрочем, она смотрит на нас благосклонно...

Он так плотоядно облизнул сочные губы, так самодовольно крикнул, что муфтий посмотрел на него, несколько испуганно:

— Аллах акбар! Не соизволите ли, господин волостной, припомнить, что одно дело — государственный преступник в своей курганче, другое — доктор, присланный из Петербурга... С доктором недолго заполучить неприятности, в нашем благословенном селении не нужен лишний шум.

Он говорил, а в голове его настойчиво стучало: «Золото! Там в курганче золото!»

Волостной делал вид, что ему все безразлично, а сам тоже думал: «Золото!»

Курганча возникла в туманной дымке неожиданно. Муфтий и волостной совершенно еще не подготовились. У них не было никакого плана.

На другом берегу горной речки высились величественные глинобитные стены с ложными башнями по углам. Посреди обращенной к реке стены были врезаны высоченные ворота, сбитые огромными гвоздями из карагачевых досок.

У муфтия екнуло сердце. Волостной почернел лицом: ворота были распахнуты. В курганче — ни души. Кругом на зеленых склонах холмов тоже пусто.

Солнце щедро лило лучи на зелень альпийских лугов. Хохлатые жаворонки в бездонной выси заливались трелями.

## XXIX

Хитростью и лань льва поймает,  
а силой не поймать пугала в огороде.

Б и р б а л

Поступил Сахиб, как мудрец. Так поступали и в древние времена философы Востока. Он продумал все до мелочей, прежде чем покинуть полюбившийся ему Ахангаран с его зелеными долинами, голубыми горными потоками, кристально чистым воздухом пастбищ. Он понял: сопротивляться бесполезно. Мелкие зудящие мошки — волостной, муфтий, пристав — сами по себе ничего не стоят, но за их плечами — все туркестанское генерал-губернаторство...

В курганче он не оставил ничего. Жен своих, согласно обычаю, Сахиб, видимо, отослал в их родные селения и аулы с их имуществом, отарами овец, верблюдами и прочим скотом. Привратника, садовника, конюхов, слуг щедро одарил,

поделив между ними ковры, паласы, винтовки, кетмени и **всякий** богатый инструмент.

Даже ржавого чугунного котла в курганче не осталось, даже глиняного промасленного чирага!

Дожди со снегом поразмыли местами крыши помещений курганчи, и раскрашенные вычурными цветами и узорами стены покрылись грязными потеками и пятнами.

И маленький камень  
большую голову проломит...

Все-таки волостному правителю Кагарбеку удалось отомстить. Месть слаще меду. Но... месть полноценная, а не такая куца. Отомстить-то Кагарбек отомстил, но далеко не в той мере, как жаждал.

Охота на Сахиба, продолжавшаяся много месяцев, привела к пустой курганче. Во дворах и двориках, в мехмонханах и таинственных покоях ичкари, в конюшнях, где еще недавно ржали дорогие жеребцы,— горный ветер гонял соломинки и листья, подымал тучи пыли и мусора.

Сахиб исчез. Сергею Карловичу было от чего впасть в душине. Неосторожно он раструбил в ташкентских канцеляриях о «политическом». Да и сам Сахиб представлялся многим важной птицей. А тут ни «политического», ни птицы...

Базарная молва, впрочем, весьма точно передавала из уст в уста: «Он уехал со своими людьми, воинами пророка, с теми самыми, с которыми приехал несколько лет назад в долину,— уехал за горы в Фергану, и даже в Кашгарию».

По крайней мере, его видели в селении Ассаке почитатели знаменитого уже в те времена узбекского поэта Фурката, направлявшегося в город Хотан.

Любители поэзии клялись: «А они, то есть маулоно Фуркат и газий Сахиб, изволили пить чай над звонким водопадом на деревянной «карават» в чайхане у большого водоподъемного колеса, коим прославлен кишлак Ассаке еще со времен Бабура. И беседовали маулоно Фуркат и газий Сахиб на темы высокой поэзии».

Находился ли в чайхане в тот час геолог, уехал ли он с Сахибом и Фуркатом за границу, неизвестно. Из Ассаке — прямая дорога на пограничный перевал Иркештам.

Если бы «политического» задержали, конечно, полицейский пристав Мерлин знал бы об этом. Но он ничего толком не рассказывал. Он мог только плести невнятицу, да и то по секрету:

— ... Так-таки оно ускользнуло между пальцами, утекло. Геолог-то и Сахиб себе на уме. Свой интерес знают... Нам по носу — а сами...

Приходившая с гор Юлдуз рассказала Ольге Алексеевне, что урус с непонятным именем Геолог уехал ночью вме-

сте с Сахибом, увы, покинувшим ее супругом и повелителем. Уезжали из курганчи вместе и отвезли ее, Юлдуз, в Горное убежище к Мергену.

— Господин мой,— так по обычаю называла своего супруга Юлдуз,— супруг и повелитель на мои слезы сказал мне: «Любимая, напрасно плачешь. Не испортить своих ясных глаз слезами. Не ожидала бы ты сына, взял бы тебя с собой. Но путешествие далекое, перевалы высокие, дороги и тропы ухабистые и твое чрево подвергать опасности неблагоприятно. Увы, предзнаменования для нашего путешествия неблагоприятны. Байоглы кричит и стонет на башне курганчи и сулит разорение и гибель дому и всему семейству. Пришло время покинуть эти прекрасные места. Прощай, жена моя Юлдуз. Сыну дай имя Сахиб».

Дальше Юлдуз рассказывала, что живет она в доме Мергена, находясь на попечении бабушек и тетушек. И что вот пришло ей, Юлдуз, покинутой и несчастной, время рожать, а дитя не хочет выходить из чрева на свет, потому что отец дитяти покинул свою возлюбленную жену, и дитя боится высунуть голову в мир, где у него нет законного покровителя — родного отца,— и что дитя не хочет попасть в чужие руки Кагарбека, зверя и злодея, который всенародно похвалялся, что вырежет плод разврата из живота Юлдуз, и что она, Юлдуз, не соблюла, будучи просватана Кагарбеком, своей девичьей скромности и позволила завладеть собой какому-то разбойнику арабу...

— Никакой он не разбойник, мой Сахиб! Он благородный человек и хороший муж. Покинул он меня, несчастную, не дав развода и не произнеся «уч таяк!»! Значит, он вернется и утешит меня.

Вскоре Юлдуз родила в доме хакима ребенка — не сына, а крепкую с живыми черными глазками девочку. Юлдуз в отчаянии не желала и слышать о ней.

Тогда Ольга Алексеевна дала девочке сказочное имя Наргис.

### XXX

Корыстолюбие — болезнь, и притом неизлечимая.

Вирбал  
Самарканди

У всех людей набивает оскомину кислое, а у муфтия — сладкое.

Саади

Золото нашло своего хозяина.

Господин его преосвященство муфтий хитроумно рассчитал все и, в конце концов, нашел клад. Казор — цельную



шкуру теленка, набитую золотом. Казор составлял лишь незначительную долю того, что успел добыть в горах Канджигалы-тау Георгий Иванович с помощью Мергена, но и этого было достаточно, чтобы сделать человека богачом.

У муфтия одна из жен — а их имелось больше десяти, законных и незаконных, — приходилась родственницей Мергену. Шли разговоры, что раньше она была женой лесного объездчика и во время паломничества в Тешикташ, где женщины исцелялись от бесплодия, позволила муфтию сманить себя. Отсюда и вражда между Мергеном и муфтием.

Так эта неверная жена и проговорилась, где в горах надо искать золотой клад. «Там, где золото, там коварство и интриги».

Всех перехитрил муфтий — и пристава, и волостного.

Но достойному и уважаемому настоятелю соборной мечети того, что он нашел и присвоил, показалось мало. Зная про дружбу доктора и Мергена, он задумал «купить» Ивана Петровича. Явился в амбулаторию полечиться и с глазу на глаз предложил:

— Пополам... Все пополам...

Оказывается, доктор должен был помочь муфтию разыскать Георгия Ивановича и заключить с ним сделку: продолжать разрабатывать прииск. Муфтий не знал, где ведутся работы, но был уверен, что прииск есть и что доктор знает, где он находится.

Не верил муфтий, что геолог покинул Туркестан совсем. Кто бежит от золота! По глубокому убеждению муфтия, «политический» скрывается где-то в горах и, быть может, рядом. Знал об этом — проклятие ему на голову! — зловерный великан из рода великанов Гулей лесной объездчик, — чтоб жены его не родили ему сыновей!..

Но священнослужитель откровенно боялся его и не хотел иметь с ним никаких дел, в особенности вспоминая страшную историю с «подснежниками». Как-никак отец Мергена, достопочтенный Зия-бен-Кабул, являлся весьма почтенной и уважаемой среди мусульман личностью. Да и сам муфтий не однажды прибегал к его мудрой помощи.

А жадность одолела... И немало красноречия потратил муфтий, когда в длительной беседе обхаживал доктора, сидя в амбулатории и попивая неизменный чаек. Но выражение его лица напоминало об испуганном цыпленке.

Видимо, муфтий долго не решался затевать такой «сомнительный» разговор. Но другого выхода хитроумный духовный наставник не нашел.

К тому же, доктор вылечил его, муфтия, вывел из вечной тьмы, даровал свет. Значит, он теперь являлся «карздором» — почетным вечным должником доктора, а к вечному должнику на Востоке отношение родственное. И муфтий ре-

шил, что доктор должен ему во всем помогать по-родственному.

Правда, сомнения его не оставляли. Он в разговорах безбожно путался и даже ни к селу, ни к городу бормотал: «Каждого человека его же веревкой удавить можно».

У доктора была масса неотложных дел, тема разговора его меньше всего интересовала. Он раз и навсегда дал сам себе слово не вмешиваться в темную историю с ангренским золотом.

Иван Петрович пил чай и особенно не вслушивался в слова гостя, воспринимая длинную путаную речь, как назойливое жужжание. «Да ведь муфтий и взаправду похож, в своем зеленом халате и зеленой чалме, на большую и вредную зеленую муху с мясного базара!»

Доктор решил отмолчаться, но когда муфтий заговорил о материальных затруднениях и о том, что «долги пролезают в дом, как блохи, а потом вырастают в верблюдов», явно намекая, что доктор не рассчитался еще за два мешка риса и мешок муки, присланные ему из духовного подворья, — и что доктору не мешает подумать о более основательных доходах, нежели его жалование в земстве, Иван Петрович резко прервал беседу и попросту выпроводил «святейшего» из своего кабинета, присовокупив один совет:

— У вас, узбеков, есть хорошая поговорка, господин муфтий: «Честность на базаре не продается и не покупается». Мои дела — мои, ваши дела — ваши. В Тилляу интриг и коварства столько, что можно десяток арб нагрузить, но ворота моего дома для них закрыты. А вам, почтеннейший, я скажу одно: «Кто другому в рот заглядывает, голодным остается».

Иван Петрович вернулся к себе и сел за белый столик. Обвел смутным взглядом белые стены, белые шкафчики.

Скромное, даже скудное медицинское оборудование главного кабинета, где столько людей получили исцеление или облегчение своих недугов. Стерильная чистота, идеальный порядок. Уголок культуры среди малярийных болот, лесов, скал. Форпост медицинской науки в глубине Азии.

Он усмехнулся. Все меньше нравилась доктору обстановка в Тилляу, все труднее было работать. «Все перебесились. Все с ума посходили».

Оставаться спокойным невозможно. Не то, чтобы доктор верил в прямую опасность. Но он с беспокойством думал о Кагарбеке. Этому ничего не стоит разделаться в темном месте с кем угодно.

Взгляд доктора невольно остановился на шкафчике, где за идеально чистым стеклом стояли аккуратные папки с документами — протоколами вскрытий.

Не слишком ли ненадежные условия для хранения таких

бумаг? Не слишком ли доктор полагается на местные патриархальные нравы?

Когда он с Ольгой Алексеевной приехал в Тилляу, их поразило отсутствие замков на дверях. Воровство среди ахангаранских жителей было неизвестно.

И тем более, вероятно, было неприятно муфтию услышать от приезжего человека о том, что честность на базаре не купишь.

Что ж? Почтенный священнослужитель, как и волостной управитель, не слишком разборчив, когда речь идет о личных интересах.

Да, доктор, в силу специфики своей врачебной деятельности, знает много о них. Слишком много!

«Я им мешаю!»— Он вскочил и прошелся от стола до шкафчика с документами.

Восемь шагов! Всего восемь маленьких шагов от медицины, от науки до прозы жизни. От самого светлого, идеально-го до гнусности, подлости, мерзости. Неужели они не понимают? Наивными их назвать нельзя. Значит, понимают. Что их может остановить? Чувство благодарности? Слабый довод.

От таких мыслей делается зябко.

Больше всего доктор волновался за семью. Он уже твердо решил отправить жену и сыновей на лето в Россию. Мысленно он продолжал разговор с господином муфтием: «И хочу вас предупредить, достопочтенный. Хоть вы и смотрите на меня как на друга и доброжелателя, лучше не имейте со мной никаких дел. Исключение — лечение глаз. Пачкаться не желаю! Вся история с этим вашим золотом мне претит до глубины души. Уже пролилась кровь... Уже люди гибнут... Но меня оставьте в покое».

А вскоре Гасан, который главным образом только и делал, что ловил слухи на базаре, рассказал доктору: «Господин муфтий нашел клад золота. Деньги не знает куда деть. На что ему клад? Ему каждый мусульманин деньги в дом несет. Теперь в Мекку, в хадж поедет. Сына с собой берет. Хочет определить учиться в Каире или в Стамбуле. Что ж, кто с золотом, тот с уважением и святостью. Может туда-сюда деньги бросать...»

Время хитрит с сынами Адама,  
Обольщая их радостями.

Вон кого ты, доктор, согрел на своей груди во имя высоких своих идеалов, а он едва прозрел и тут же сразу с головой в лягушачье болото по самое темечко, только что уважаемая чалма на виду.

Тут полицейские псы с пеной на зубах гоняются за врагами империи, грызут, хватают, бегают по пятам за Сахибом и геологом, а сами, слепые от ярости, и не замечают, что бла-

гонамеренный муфтий у них под носом строит интриги и заговоры.

### XXXI

Сладчайший плод дерзкому.

Баба Тахир

Лучше штопать одежду бедняка,  
чем быть наложницей самого шаха.

Бехаи

В кругу доверенных людей муфтий любил пофилософствовать. А тут исключительный повод — женитьба Мергена на первой красавице Ахангарана Юлдуз. Было о чем посплетничать. В мехмонхане муфтия сидели Кагарбек и пристав Мерлин.

Дочь самого бедного из бедняков сучи Пардабая. Невеста — бывшая — могущественного волостного, самого Кагарбека. Оставленная покинувшим край помещиком и скотоводом, богатейшим феодалом Ахангарана Сахибом, одним словом, брошенная жена Юлдуз погоревала-погоревала да и вышла замуж... за Мергена.

Все его побавивались, а потому муфтий предпочитал обсуждать события вполголоса. Муфтий считал себя уязвленным поступком Юлдуз. Женолюб и развратник, святой наставник не оставлял надежды, что красавица, о которой были все наслышаны, попадет к нему в гарем.

Кагарбек мучался от неразделенной страсти и неотомщенной обиды.

— Пророк — да благословенно имя его! — тоже был раб своих страстей, — изрекал муфтий. — «Роза на груди, пиала с вином в руке, возлюбленная отвечает на мои желанья — и в такой день властелин мира только раб», — произнес он поэтические строчки Хафиза. Муфтий был вообще поклонником великого персидского поэта.

И сейчас, узнав о замужестве Юлдуз, он чувствовал себя почти оскорбленным. «Та красавица с дивным станом, бедетвные эпохи, несчастье мужей и жен», если выражаться поэтическими образами поэта Бехаи, досталась полудикому горцу, невежде, не умеющему прочитать наизусть и двух сур священного писания, не способному даже оценить женскую красоту.

— Жалкий бедняк Пардабай! Разве он смел поступить так? Он ведь отец!.. Должен был смотреть за дочерью. Позволил ей уйти в горы. Допустил трепать подол о каменный порог этого волка ущелий и скал. Еще извинительно, что он позволял Юлдуз жить в курганче у Сахиба. Сахиб, как-никак, человек богатый, а богатство заслуживает уважения. Но сейчас добычей завладел Мерген и не иначе, как с согласия Пардабая. И надо же, чтобы у Пардабая в доме — да и

какой это дом? Полуразвалившаяся хижина!— выросла в соре и навозе такая пышная роза, из-за которой насмерть раскорились столь достойные люди.

Намекал муфтий на волостного Кагарбека, сидевшего рядом с ним в мехмонхане. Намекал не без ехидства и, многозначительно поглядывая на шрам под самым глазом, даже участливо осведомился:

— Ну что же ваш искуснейший доктор, равен по знаниям Абу Али Сино?..— Хихикнув, муфтий проговорил:— Не медлите! Кончайте с наглецом Мергеном! Не давайте ему воли!

Кагарбек молчал. Тяжело, с насадой дышал. Красивое, выразительное лицо его обезобразилось страдальческой гримасой.

Все уже знали, что он буквально изнывает от неразделенной страсти к красавице Юлдуз.

— Моя змея в моей груди!— стонал он.

Оправившись от удушья, Кагарбек сказал:

— Дом разбойника Мергена сгорит. Мергена я... своими руками...

— Ну зачем же?— заговорил сидевший за дастарханом Сергей Карлович Мерлин.— Мерген нам насолил обоим. Очень неприятно. Но теперь не выйдет. С мезтью не выйдет. Придется повременить. Дело Мергена, имейте в виду, дошло до канцелярии его превосходительства. Кротость, конечно, недопустима по отношению к подобным субъектам, но теперь не смейте. Беду не чувствуете? Нет. А напрасно. Запахнет паленым — вынесете сор из избы. Понаедут всякие комиссии, подкомиссии, ревизии. Хлопот не оберетесь...

— Говорил я,— проворчал муфтий,— беспощаден будь с Сахибом! Кто он на самом деле?..

— Ушел... Он джинн. Моему Шукуру, стражнику, грудь на перевале прострелил. Помрет друг Шукур. И Тулягану-аксакалу досталось. У стариков раны по году не рубцуются. Стреляет этот Сахиб по-разбойничьи.

— Ох, ломать им надо спины,— бормотал Кагарбек,— шеи сгибать, в яре держать. Мордой в пыль! Огонь в очагах топтать!

По обыкновению, Кагарбек осушал пиалу за пиалой, наливая из фарфорового чайника, в котором был коньяк. Коньяк горячил ему кровь. Муфтий держался поспокойнее, но и он пылал мезтью:

— Невежи не терпят снисходительности! Знаете, что говорит Пардабай: «Вот вернется Сахиб — всех волостных, всех муфтиев выпотрошит». Нет, доброта с человеком черной кости обернется черной злобой. Мозоли на руках батраков и бедняков не смоешь даже мылом «Брокер». Берегитесь, Кагарбек! Мерген остался. Мезть черной кости страшна.

— Мы голубая кровь! А у них — гной и сукровица, — хрипел Кагарбек. — Ваше благородие, вы долго будете терпеть Мергена? Он опасный. Он друг Сахиба и того уруса... политического. Нельзя терпеть!

— А потерпеть надо. Придется... — ответил Сергей Карлович.

Кровь прилила к лицу волостного. Ему стало плохо. Он вскочил, грубо оттолкнул муфтия и выскочил на айван балаханы. Судорожно сжимая и разжимая кулаки, он смотрел во тьму ночи. Гнусное проклятие сорвалось с его губ.

Высоко в небе, рядом с голубыми бриллиантиками звезд, он различил красный дрожащий огонек. Он знал, что это огонь костра Горного убежища лесного объездчика Мергена...

Горный джинн подмигивал одним глазом.

В то время, как в мехмонхане муфтия трое людей исходили ненавистью к Мергену, он спокойно жил со своей семьей в Горном убежище. И ничего не боялся: ни вражды Кагарбека, ни злобных интриг господина муфтия, ни слезки полицейского пристава. Он, Мерген, победил, одолел всех своих врагов и недругов. Он счастлив в своей любви. И Кагарбек мог сколько угодно бегать в темноте по айвану и, воздев руки, потрясать картинно кулаками, мог восклицать:

— Не присваивай себе величия! Берегись проклятий!

— Велик один аллах! — подбрасывал угольки в огонь муфтий.

Но «лай собак не помсшает восходу луны».

Полная серебряная луна выкатилась медленно и важно из-за вершины Бобо-тага и залила долину волшебным сиянием.

## XXXII

От всякого, кто в детстве не был воспитан, с возрастом счастье уходит.

Саади

Мудрецы считают, что между ослом и человеком нет разницы. Зачем обижать осла?

Муними

Иван Петрович долго лечил Касыма. Порой начинал отчаиваться. Приходилось держать мальчика под постоянным наблюдением. И даже когда он чувствовал себя сравнительно хорошо, доктор не отпускал его в Горное убежище к отцу его Мергену. Хижина, сложенная из гранитных глыб, с земляным полом и дочерна прокопченным потолком из веток арчи и стеблей камыша, продувалась всеми сквозняками всех

стран света, а в пещере, с которой хижина соединялась узким неудобным лазом, было всегда темно, если только не разводился костер. Дом для лесного объездчика строился рядом с Горным убежищем уже пять-шесть лет, но никак лесной департамент не находил нужных сумм для окончания строительства.

Сам Мерген привык к своему жилищу и не испытывал никаких неудобств, потому что проводил жизнь на открытом горном воздухе и даже зимой спал на открытом айване. Но дети его страдали от постоянных простуд.

И вышло так, что сынишка Мергена Касым жил подолгу в Тилляу в доме доктора на правах члена семьи.

Но прежде чем это случилось, произошли почти драматические события. Вначале Мерген привез маленького Касыма на житье в дом к муфтию. Но там мальчик оказался на положении приемыша, слуги в возрасте четырех лет. Как-то осматривая его, доктор обнаружил на грязном его, давно не мытом тельце синяки и кровоподтеки.

— Меня побили... Больно...

В объяснения с муфтием доктор не вступал, а отнес мальчика к себе и сказал:

— Будет жить у нас... Вот и товарищ Алеше и Мише. А придет Мерген с гор — объяснимся.

Был Касым мальчиком восприимчивым, все схватывающим на лету. Он быстро научился от сыновей доктора говорить по-русски, но товарищ в играх оказался непокладистый, вечно недовольный, даже злой. Этим он резко отличался от другого сына Мергена, который тоже с некоторых пор жил в семье доктора. Этот мальчик — звали его Сабир — Баба-Калан был здоров, крупного телосложения и удивительно добродушного нрава.

Наступило время, когда Алешу надо было отдавать учиться.

— В Ташкент! В гимназию!

Как-то за вечерним чаем доктор торжественно объявил, что Алеша и Касым приняты в подготовительный класс Ташкентской мужской гимназии и что через месяц он сам отвезет ребят в город.

«Пришлось выправить на Касыма документ. Получено высочайшее соизволение на усыновление и тому подобное. Возникал вопрос о религиозной принадлежности, но выяснилось, что в гимназии можно учиться и мусульманам. А когда Касым вырастет, он сам решит, какому богу он хочет молиться. При гимназии состоит имам мулла из Масджиди Баянд, что у Шейхантаура. Он обучает татарских и узбекских учеников корану».

Приглашенный специально в Тилляу, Мерген остался доволен, что сын его будет учиться в «урус-гимназии». Он хва-

стался этим в чайхане. Но это громкогласное хвастовство обернулось бедой. Муфтий соизволил явиться лично в дом доктора. Долго и важно распивал традиционный чай, долго и туманно разглагольствовал о пользе знаний, но решительно объявил:

— Мальчик не поедет в Ташкент, в гимназию! Мальчик Касым не будет учиться в кяфирском учебном заведении.

Муфтий даже снизошел в беседе до того, что пространно объяснил:

— Мусульманство Сырдарьинской области, как, может быть, вам, достопочтенный хаким, еще неизвестно, ходатайствуют перед ак-падишахом об открытии мусульманской гимназии. Такая гимназия и будет в городе Чимкенте. Там ученики будут ходить не в фуражках с кокардой, а в богоугодных чалмах белого цвета и будут именоваться — муллабача, как и в медресе Бухары и Самарканда. И преподаваться в чимкентской гимназии будут наряду со светскими науками коран и разные духовные дисциплины.

— Но когда такая гимназия откроется? Я слышал, что вопрос отложен на несколько лет.

— Ну, что ж. Наши дети подождут.

— А почему Касыму не поучиться пока в Ташкентской гимназии? А когда откроется гимназия в Чимкенте, мы переведем его туда.

— Нет! Позвольте мне воскликнуть «нет!» — заволновался муфтий. — Мой сынок Али, который нередко пользуется вашим великодушным гостеприимством и играет с нашего дозволения с вашими детьми, прибежал к нам вчера и заплакал: «Касым с Алешей уезжают в Ташкент. Я тоже поеду в Ташкент. Я хочу учиться с Алешей и Касымом в русской школе... Хочу быть урусом...» Чувствуете — о аллах! — глетворное влияние нашего беспокойного времени. Мальчик-мусульманин отказывается от мусульманства.

Конечно, муфтию неудобно было обвинить доктора и Лоу-атын, и он свалил все на «беспокойное время».

Спор ни к чему не привел. Муфтий оставался при своем мнении. Со всей категоричностью он объявил Ольге Алексеевне:

— Касым — да будет вам известно, уважаемая ханум! — по закону божескому и человеческому — наш сын. И отец да распоряжается судьбой своих детей!

— Но позвольте!.. Касым — сын Мергена, лесного объездчика, а теперь с его доброго согласия — наш сын. Иван Петрович усыновил Касыма по всем правилам. И сделал это с согласия Мергена. У вас, господин преподобный муфтий, нет никаких прав распоряжаться судьбой мальчика. Мы его растим уже семь лет. Мы вам его не отдадим. Касым поедет учиться в Ташкент с Алешей.



— Госпожа! Поверьте нам: мы не допустим такого кощунства. Отец Касыма,— да будет он проклят, лесной объездчик, именуемый народом Мергеном!— привез его в наше подворье со своей проклятой горы совсем еще слепым щенком.

— И тем более... Ведь Иван Петрович вылечил ему глазки.

— О, женщина! Говорим мы, а вы... слушайте, госпожа, слова разума и мудрости. Да, слепого привез и передал жить и учиться в школу слепых под большой чинарой! Кто дал приют и хлеб слепому подкидышу? Кто воспитал и накормил Касыма? Кто с молитвой усыновил его согласно обычаю? Мы! Кто учил его? Мы!

— Иван Петрович отобрал его у вас. У вас его нещадно били и мучали. Вы... погубили бы его.

— Отец и учитель, то есть мы, вправе наказывать сына. И никто не вправе осуждать отца. И, согласно закону, решать вопросы будем мы: где жить и где учиться. А пока наш сын Али уезжает учиться в Бухару. Аллах велик! В Бухаре столько светочей науки, и сын наш Али тоже станет светочем в мусульманской гимназии. Мы уже купили для нашего сына Али худжру в достославном и знаменитом своей ученостью бухарском медресе. И в той худжре — а мы за нее уплатили вперед за пять лет сотни рублей — в той худжре найдется место для лежания и для... этого Касыма. Что ж, Али нужно подать чай, и сварить чашку шурпы, и сбежать за хлебом на базар.

— Но это ужасно! Касым такой способный! А вы хотите сделать из него мальчика на побегушках.

— Да будут бедные слугами богатых! Мой Али — миллионер... — Муфтий хотел сказать «миллионер». — Нашего сына Касыма мы берем с собой в Бухару. Касым будет жить в худжре брата своего Али. Слугой ли, другом, на то воля божья. И если захочет, пусть изучает науки.

Он больше не слушал Лолу-атын, когда она вновь и вновь пыталась доказать, что Касыму доктор вернул зрение, что он вылечил его от смертельной болезни!..

Ни слова, ни слезы не помогли.

Напившись вдоволь чаю, его преосвященство господин муфтий удалился, непреклонный и важный. К несчастью, доктор был в отъезде. Мерген в горах.

Вечером одна из молоденьких жен муфтия прибежала за Касымом. В подворье происходил очередной «суннат той», и Касыма приглашали в гости. Касыма увели. А когда обеспокоенная долгим отсутствием Лола-атын послала за Касымом верного слугу Гасана, тот явился «еле можаху на ногаху...»

С величайшим трудом Лола-атын разобрала пьяное бормотание Гасана. Оказывается, час тому назад священнослу-

житель уехал на арбе в Ташкент и увез с собой обоих мальчиков — и Али, и Касыма.

Уронив бессильно руки на колени, полными слез глазами Лола-атын смотрела на пустую детскую кровать, на валяющуюся около нее на ковре азбуку, на разбросанные цветные карандаши.

В другой такой же кроватке спал сном праведника ничего не подозревавший Алеша. Правда, он удивлялся весь вечер, почему его тоже не позвали в гости к дяде муфтию.

«Какой этот господин поп злобный, хитрый! — думала Лола-атын. — Какую травму он причинил ребятам! Даже не дал попрощаться».

Ей представилась переправа через Ангрэн. Ночь. Потоки черной воды. Рев, гул. Захлестываемая водой арба. И маленький мальчик, такой бледный, несчастный, кричащий: «Мама! Мама!»

Она очень привязалась к Касыму, возможно, потому, что он выглядел всегда таким несчастным. Она буквально выходила его. И потому искренне горевала.

Мерген, вернувшийся спустя несколько дней с гор, не слезая с лошади, поскакал в подворье. И неизвестно, чем бы все кончилось, если бы муфтий вернулся из Ташкента? Ездил Мерген и в город, но Ташкент велик. И где можно найти мальчика среди трехсот тысяч жителей?

Ничего не смог выяснить и доктор. По некоторым сведениям, муфтий уехал не в Бухару, а в Стамбул, в Турцию. Кстати, гимназия в Чимкенте все еще не была открыта.

А тут вскоре из Тилляу уехал и доктор вместе с семьей.

### XXXIII

При виде золота и пророк на ровной тропинке спотыкается.

Абу Нафас

Ищут в яйце кость.

Шахани

Принципиальность не всегда помогает «сохранить лицо». Доктору, несмотря на всю категоричность его суждений и решений, не сразу удалось дать отпор темным махинациям «концессионеров».

Веселый, оживленный Сергей Карлович с наигранной самоуверенностью явился в дом доктора попить традиционного чая и послушать «божественные романы». Ворвался в столовую, как говорится, «без доклада».

После всех событий и в особенности после не слишком любезного приема его Ольгой Алексеевной он, по собствен-

ным его словам, «находился на положении того самого гостя, который хуже татарина».

Но он не унывал. Нелюбезность хозяйки не производила на него особого впечатления. Держался он сегодня более вызывающе, чем обычно. Его комплименты звучали пошло-вато, и, пожалуй, в них сквозила даже наглость. Его проекты и предложения излагались откровенно.

Давно уже, правда, несколько туманно и даже загадочно, Сергей Карлович заговорил о каких-то «золотых горах». Якобы «золотые горы» уважаемый и почтенный наш доктор мог бы при желании «заиметь».

При желании! По доброй воле! Без всякого принуждения...

Дальше полунамеков Сергей Карлович не шел. Он многозначительно улыбался, крутил нафиксатуренный ус и закатывал свои круглые, сорочьи глаза, будто ничуть не расположенные к интригам.

«А он карточный шулер...» Почему Лола-атын подумала такое про пристава, бог знает. В доме доктора ломберный столик расставлялся раза два-три в год — играть было некогда — и столько же времени с зеленого сукна не счищались жесткой щеткой следы записей мелками.

Уже давно Иван Петрович собирался «отказаться от дома» господину Мерлину, но Ольга Алексеевна считала это неудобным. Она хоть и недолюбливала его, но считала несчастным, одиноким человеком. А может быть, играли роль и другие соображения. Пристав Сергей Карлович являлся высшим уездным начальством и при желании мог навредить доктору.

— Мерлин мстителен! Мелочно мстителен! От него можно ждать любой пакости.

Скажут — женская логика! Но мелкую душонку Сергея Карловича Лола-атын видела до дна.

На этот раз Сергей Карлович отбросил все церемонии: — Довольно нам играть в бескорыстие и в христианские евангельские фигли-мигли... «Если тебя ударят в правую щеку, подставь левую». Самаритянскими подвигами, добренькими делами, чудесными и нечудесными исцелениями всяких там аборигенов вы, доктор, никого не удивите. Да и не верю я, Иван Петрович, что вы не от мира сего. Сказочки! Нет человека равнодушного «к серебру и злату». На ваше жалование вы не можете предоставить даже самое необходимое вашей многоуважаемой супруге, — он «сделал ручкой» в сторону хозяйки дома, поглядывавшей на него с тревогой. — Даже прекрасный тюльпан нуждается в хрустальной вазе. И потому, видите ли, Ольга Алексеевна и Иван Петрович, я

откровенен! Я с открытой душой... Я... Вам остается войти к нам в долю. В наш трест, концессию, так сказать.

— Концессия? Трест?.. — недоумевал доктор.

— Трест «Золото Ангрена».

Всегда серьезное лицо Ивана Петровича посуровело. Густые черные брови сошлись на переносице. Губы сложились в прямую складку.

Пристав пожал плечами:

— Сейчас вы, доктор, я вас знаю, начнете твердить: «Для меня золота не существует! Меня золото не интересует!» Существует! Золото само лезет к вам в руки! Блестит, сверкает. Словом, идите к нам в трест — и вы богаты.

И он, откинув плечи и расправив грудь, довольно приятным голосом затянул:

— На земле весь род людской

Чтит кумир священный...

Поправив пенсне, доктор близоруко разглядывал пристава.

«Вот оно, соприкосновение с жизнью, с той ее стороной, с которой не хочу соприкоснуться, но с которой приходилось сталкиваться чуть ли не каждый день». Столкновение его не страшило. Но, увы, столкновение оторвет его от любимого дела. Выбьет из колен. Но чтобы его заставили отказаться от дела, вынудили заниматься торгашеством! Ну, нет! Не для того ехал он сюда, в Туркестан. Не этому отдал свою душу!

И еще. Доктор понимал прекрасно, что за участие в «торгашеской сделке» придется платить. Придется по уши лезть в грязь! Там, где господин Мерлин, там, где полиция, там, конечно, грязь!

Слова пристава потрескивали и... отскакивали, не доходя до сознания.

— От вас, милейший медикус, требуется немного. Начнем с этого, ну как его, пациента... Вы нам подскажите, где скрывается беглый каторжник. Политический... Не бойтесь, мы бережно обойдемся с вашим именем или, — опять галантный жест в сторону Ольги Алексеевны, — и с именем вашей милой супруги. Хотя очень неосторожно столь уважаемой даме по утрам прогуливаться у старой кокандской крепости с записочками... для геологов. Нет-нет, хоть есть и свидетель, вы в стороне-с. Абсолютно ни при чем! Не бойтесь, мы и геолога, так сказать, не потянем в Ташкент. Жирный фазанчик. Он и нам пригодится в жаркое. Зачем мы его отдадим? Тут же любители «презренного металла» набегут, как тараканы, и все скапают. Господину, как его — геологу мы выправим паспорт, пусть скажет «спасибо», переведем на легальное положение. И денег дадим...

Он громко прихлебывал чай и весь сиял:

— И второе, Иван Петрович! Перепишите, ради бога, тот протокольчик... Какой? Ну, уже и не знаете? Да протокол

вскрытия тела старца... Ну, отца того смутьяна, лесного объездчика, в той части, которая наводит тень на нашего Кагарбека. Сделайте. Протокол при мне-с. Не качайте головой! Надо! Сразу двух зайцев поймаете; и врага не наживете, и компаньону поспособствуете!

— Компаньону? Кто компаньон? У меня?

Доктор уже не скрывал своего возмущения. Но Мерлин решил ничего не замечать.

— Ну как же! По концессии «Золото Ангрена». Звучит так! Но протокольчик... Я ейчас извлеку его из сумки, а вы чирк, чирк...

— И не трудитесь!— сдавленным голосом проговорил доктор.

Бледнея, краснея, Ольга Алексеевна не спускала с мужа глаз.

— Не торопитесь,— невозмутимо продолжал пристав.— Не мешает подумать. Или вы с нами, или... Видите, я откровенен.— И он, взглянув на хозяйку дома, продолжал:— Мне хотелось бы сказать, что с нами почтенный господин муфтий. А вот Сахиба... видите ли, нельзя взять в... компаньоны. Кстати, вы не скажете, куда он уехал или он где-нибудь в горах укрывается? Ваша дружба, так сказать, вызывает косые взгляды. Выявились кое-какие сведения о его тут поведении. Одно его письмо попало к нам в руки. В нем что-то о зеленом знамени пророка, халифате. Далеко замахивается господин Сахиб!

— Но администрация Туркестана обласкала духовенство,— возразил ему доктор.— По-моему, Белый дом очень тесно связан с Шейхантауром!— не удержался доктор.— И наш муфтий, с тех пор как стал зрячим, частенько бывает на приемах у генерал-губернатора.

— Сахиб не переносит муфтия. Все слышали его слова: «За взятку наш муфтий разрешит есть мясо дохлого осла!» Нет! Тут посложнее. Сахиб метит выше. И вот еще. Вы слышали о письме Сахиба к Вамбери.

— Представления не имею.

— Попало кое-кому в руки поздравительное письмо Сахиба венгерскому путешественнику Вамбери... Знаете... профессор в Будапеште, тот самый, который пробрался в Бухару накануне похода Черняева. Ходят слухи, что он чуть ли не британский шпион. А может быть, и турецкий? Почему это Сахибу понадобилось поздравлять господина Вамбери с восьмидесятилетием? Вот каков господин горный отшельник Сахиб! Их высокопревосходительство генерал-губернатор теперь лично занимается... то есть может заняться хозяином курганчи. Если мы найдем нужным...

Он попросил «еще чашечку из белых рук хозяйшки».

— М-да... И будет огорчительно, если имя доктора будет

фигурировать в протоколе дознания в одной строке с именем... шпиона Сахиба.— Победоносно поглядев на доктора, на его совсем потерявшуюся жену, пристав воскликнул:— Ну-с! Как протокольчик?!

Иван Петрович заговорил не сразу. Комок поднялся к горлу и душил его. Ольга Алексеевна сидела вся пунцовая. Глаза ее блстели от слез. Она была оскорблена.

Возмущение!.. Это слово не передает и сотой доли настроения доктора.

— Прежде всего,— тихо сказал он,— ваша болтовня — гнусность. Я вправе вообще не отвечать. Но хочется предупредить насчет ваших «друзей». Их преосвященство муфтий, к вашему сведению, спрашивал, как «закатать» лучше всего Кагарбека, убийцу старца табиба Зия-бен-Кабула. У муфтия — доказательства якобы неопровержимые. Кагарбек собственноручно убил старца. А вас, Сергей Карлович, достопочтенный служитель ислама, выражаясь его собственным языком, решил «закопать». По всей видимости, он уже настроичил своими вычурными, каллиграфическими арабскими письменами, столь же вычурную кляузу, чтобы вас выслали из Ангрена в два счета. Вот и все, что осталось от вашей концессии.

Пристав ничуть не растерялся. Галантно изогнувшись, он протянул пустой стакан в вычурном серебряном фамильном подстаканнике — Ольга Алексеевна привезла из Полоцка с приданым свое серебро с фамильным гербом — и попросил «еще чайку из белых ручек».

Усевшись поудобнее, заметил снисходительно:

— Умоляю! Не горячитесь! Вы, так сказать,— на грани возможного и невозможного. Или вы миллионер, или ваша амбулатория, вонь карболки, грязные бинты... возня с большими туземцами... Благородная цель. Лечить их — значит удлинять жизнь никому не нужных людишек. Это просто негуманно! Чем скорее помрет, тем ему будет легче, да и наша цивилизация выиграет...

«Какой гнусный тип,— думала Ольга Алексеевна.— Господи, да я только сейчас разглядела его...»

Круглая, чем-то напоминающая зелено-желтую тыкву голова. Жилистая в гусиных пупырышках шея с шевелящимся над форменным воротником кителя кадыком. Круглые сорочьи глаза. Высокие, словно выщипанные брови. Оттопыренные уши, бледные до синевы. Круглый рот в виде буквы «о» с усами-стрелками, торчащими вверх.

А он мнил себя красавцем, «пожирателем сердец». Вечно кокетничал. И даже умел нравиться. Но сейчас у него был просто отталкивающий вид, возможно, потому, что обнажилось его отвратительное нутро. Но он никак не понимал, что вызывает все большее отвращение.

— Я предлагаю вам дело! Ваше положение раз и навсегда в корне переменится! Бандит Кагарбек необходим до поры до времени. После всех туземцев — к чертям собачьим! И муфтия прищучим! И еще...— Тут он понизил голос и с подкупающей откровенностью почти зашептал:— У меня деловые отношения с американцами.

— С американцами?

— Деньги дадут американцы. Вот смотрите,— он раскрыл записную книжку.— Я сопровождал туристов.— Спенсер Пратт — финансист. Кларенс Эндрюс — финансист. Чарли Креп — промышленник, Генри Джетти — золотопромышленник! Обратите внимание — золотопромышленник! Еще Клидж... тонкая штука. Бизнесмен...

— Что им понадобилось в Туркестане?

— Они туристы, путешественники! А, между нами, в Бухаре у эмира разговоры ведут по поводу золота. Пронюхали, что в пустыне не просто песок, а золотой песок. У них нюх на золото. Все на Клондайке разжились.

— Господи!— словно про себя заговорила Ольга Алексеевна.— Все высшие побуждения, все высокие начала в человеке глушат, дают деньги. Для денег живут, действуют, торгуют... И больше ничего!..

— Такие мысли делают вам честь, мадам! Но жизнь — иное дело. Американцы предлагают: «Даем для начала деньги, а вы устройте нам через генерал-губернатора концессию. Создадим трест!»

— Вон откуда дурной дух...— пробормотал доктор.

— Счастливый случай! Не стыжусь признаться, я после разговора с янки встал на колени и прочитал молитву, чтобы он просветил наших в губернаторском Белом доме и моих будущих компаньонов. Вас, например! А вы тут головой крутите! Нос от золота воротите, господа человеколюбцы... Давайте, принимайтесь за дело. Геолога уломайте! Нам нужен еще один... Приезжает! Вызвал своего сына. Он политехник. Правда, еще недоучка. И хоть мелиоратор, золота с медью не спутает. Итак, по рукам? Перепишите протокольчик!

Доктор уже обрел способность спокойно думать: «Я нужен этому спекулянту потому, что слишком много знаю. Он боится, что я проговорюсь о золоте. Протокол о вскрытии... Вот в чем вопрос! Протокол грозит неприятностями. Взбудоражил его. Почему? А-а-а! Спящих собак не буди! Ему протокол нужен не для того, чтобы спасти Кагарбека от каторги. А чтоб держать волостного в уезде. Ловко придумано».

— А сейчас,— сказал он сухо,— пора и честь знать.— Доктор поднялся из-за стола.— Уже поздно. И мне вспомнилось одно выражение: «Не спускайтесь в колодец по чужой веревке...»

Лицо Сергея Карловича вдруг пошло буграми:

— Изволите, так сказать, выгонять, — голос его стал каким-то писклявым. — Ну что же! Разрешите, Ольга Алексеевна, откланяться... Спасибо за чаек. Позвольте-с ручку. Нежную вашу ручку! Сожалею — не придется больше посидеть за самоварчиком, за вашим гостеприимным столом, послушать ваши соловьиные трели. И еще... У вас, Ольга Алексеевна, — светлый ум. Женщины питаются не одними идеалами. Вон и в ваших розовых ушках серьги-то золотые, а? Посоветуйтесь же с супругом насчет протокольчика...

Ольга Алексеевна хотела ответить, но доктор остановил ее хмурым взглядом.

Действительно, Сергею Карловичу не довелось больше пить чай из белых ручек мадам докторши.

Неизвестно, что помешало приставу Мерлину создать концессию «Золото Ангрена». Упоминания о таком прибыльном предприятии не удалось найти ни в одном справочнике по Туркестанскому краю. Нет документов этого треста и в архивах. Возможно, что дело потерпело фиаско потому, что судьба быстро разбросала по миру и всех учредителей несостоявшегося треста.

Муфтий, как мы знаем, уехал надолго и избрал местом жительства Стамбул, где занимался торговыми операциями, а также воспитывал любимого сына Али и приемыша Касыма в духе мусульманской ортодоксии.

Еще недавно могущественный феодальный владетель Ахангаранской долины Кагарбек все-таки попал в Сибирь на каторгу по делу разгрома киргизского аула и об убийстве отца государственного служащего, лесного объездчика.

Шоир — народный певец из Абылка сложил про него песню:

Был он безучастен к бедствиям народным,

И вот — бедствия безжалостно коснулись его головы...

Сам лесной объездчик, более известный в горах под прозвищем Мерген, остался жить в своем Горном убежище.

Господин пристав Сергей Карлович Мерлин совсем неожиданно был отозван из Ахангаранского уезда и отправлен на службу в селение Чимбай в дельту реки Амударьи.

Сергей Карлович так больше и не появился в Тилляу: от Чимбая до Ангрена скачи — не доскачешь. Да еще боли в ногах разыгрались. Мерлин перепоручил все дела концессии прибывшему в Туркестан своему сыну, который получил назначение инженером-ирригатором в Самарканд...

В семье же доктора Ивана Петровича слово «золото» сделалось «табу». О нем говорить вообще было не принято...



## XXXIV

Лучше оставить после себя доброе имя, чем дворец из чистого золота.

Фазыл Юлдаш

Живет тот, кто борется.

Виктор Гюго

— Пришла пора прощаться!— сказал Иван Петрович.

Он стоял на краю обрыва, под которым мерцали в лучах солнца желтые воды Ангрена, и старался разглядеть в дымке лёссовой пыли едва угадывающиеся сады Тилляу. Посмотреть. Запомнить. В памяти сохранить лучшие молодые годы, кишлак Тилляу, в котором они прошли, кишлак, ставший ему родным.

После переправы через бурный паводковый Ангрен арбакешки запросили отдыха для себя и для коней. Доктор проявил было неудовольствие,— как всегда, он спешил,— но Мерген по секрету сообщил:

— Арбакешки — все из Тилляу. Все вас, хаким, уважают. Ваше семейство и Лолу-атын полюбили всем сердцем. Не хотят отпускать вас так, с сухим ртом! Нельзя вам так просто уехать. Сел на арбу и поехал! Арба будет скрипеть...

Оказывается, в чайхане, на карахитайской стороне, под тенистыми чинарами, у холодных ключей, готовился прощальный той. Арбакешки и несколько провожающих из Тилляу купили барана и жарят его на раскаленных камнях в яме, засыпанной землей. Барашек выпотрошен, нафарширован острыми травами и овощами, обернут пахучими листьями. Заложили его в яму уже часа полтора назад. Он доходит в собственном соку и сале, с перчиком черным и красным, с тмином и зирой. Дивный запах уже разносится вокруг.

И еще Мерген извинился:

— По старому, доброму обычаю надлежало бы изготовить ханский плов для дорогого доктора, его уважаемой супруги и сыновей, но дорога есть дорога, путешествие есть путешествие: в Карахитае семейство доктора остановилось лишь передохнуть и позавтракать. А на завтрак неудобно подавать плов. Плов будет в селении Той-Тюбе. А сюда еще с вечера арбакешки послали своего человека, чтобы купить барашка и к утру приготовить завтрак, достойный великого табиба.

Поглядев на темное пятно садов за рекой, Мерген добавил:

— Не поминай, доктор, плохо кишлак Тилляу! Все плохое в кишлаке шло от зверя Кагарбека, от змея муфтия, от «Сергей-нагайка»-пристава. Все они теперь далеко. Крова-

вый убийца Кагарбек был притеснитель! Муфтий — хитрец. Забудь их. Они из тех, кто в гостях едят то, чем их не угощают.

А народ в Тилляу — простые люди — землю пашут, урожай собирают. Хлеб для детей добывают. Не добудут — дети помрут. Больших людей боятся. Разве они тебя, Иван-доктур, отпустили бы? Старый друг что оседланная лошадь. Старые друзья всегда готовы, народ всегда готов помочь, но... бояться.

Строители арыков пускают воду;  
Лучники вытачивают острые стрелы;  
Плотники строгают дерево;  
Аксакалы думают о смысле жизни,  
Своими делами все заняты.

Не вслушивался доктор в слова друга Мергена. И без того на душе его кошки скребли. В голове его настойчиво, ритмически звучали чьи-то слова:

Величие замкнулось в себе,  
Ютилось на недостижимых кручах,  
В негостеприимных, мертвенных сферах,  
Величие, окруженное безднами,  
Иные горные вершины  
бывают так зловеще чисты...

Ивану Петровичу меньше всего сейчас хотелось говорить о кишлаке, который ему пришлось покинуть, о людях, с которыми сроднило их дело. Но энергичной его натуре чуждо было уныние.

— Смотрите, ребята, смотри, друг Мерген, какая ширь, какой простор! Из такой прекрасной долины никак не хочется уезжать. А мы уезжаем...

— Ляббай! Почему такая несправедливость в мире? Друзья расстаются.

Лесной объездчик тоже смотрел на реку, на далекий кишлак, на снеговые вершины Тянь-Шаня. Стоял, как-то уныло понурившись, что совсем не шло к его могучей фигуре. Одну руку он положил на плечо Баба-Калана, другую хотел ласково положить на плечо Алеши, но не решался. Щеки его подергивались.

— Ты хороший человек, доктор, — говорил он словно про себя, — но даже хороший человек двух кувшинов на одной голове не удержит, а тут их было целых три! Кагарбек! Муфтий! Палач-полицейский! А настоящий бек мудрости и храбрости — один доктор. А беку подобает быть отважным, дерзновенным, смело противостоять врагу. Обладающие властью, гонимые алчностью, бегают, суетятся, кусают и

других и самих себя. Хитрят, юлят! А если ты живешь среди войны, сражайся кинжалом и секирой! Другого не дано.

Мергей никак не мог примириться с отъездом Ивана Петровича. Считал этот отъезд поражением, хоть доктор уезжал из Тилляу не по своей воле, да и врагов уже не было в Тилляу. Мерген все еще рвался в бой!

— Ну уж нет, друг Мерген, я никакой не воин. Отвечу словами поэта Саади: «Я не попадал в плен к врагу, и вокруг не сыпались стрелы!» Дело врача не воевать, а исцелять. А триумvirат распался. Кагарбек уже попал как мышь в глиняный кувшин с рисом. Теперь все его преступления вылезли наружу. О господине приставе могу сказать опять-таки словами поэта: «Кто стучится о скалу головой, тот разобьет не камень, а собственную голову». А муфтий хоть и уехал далеко, пусть не думает, что «стрела возмездия не пробыет этот щит».

— Ваши слова — слова мудреца! — Мерген судорожно сжимал ложе своей тяжелой берданки, гладил вороненое дуло, передвигая на плече ремень. Другой рукой нащупывал патронташ, застегивал и расстегивал на нем кнопку.

— Конечно, — бормотал он, — человек со слабой рукой поборот одного, с сильной — тысячу.

Его состояние было понятно. Доктор уезжает, а ему, Мергену, жить в Тилляу. Взгляд его перебегал со снеговых вершин на шевелящуюся гладь бурной реки, перескакивал на темную полосу тилляуских садов. И тогда в уголках рта появлялась жестокая складка.

— Правильно! Лучше оставить после себя доброе имя... лучше, чем проклятия притесненных, лучше, чем дворец из золота. — Он повернулся к доктору с улыбкой, столь редко появлявшейся на его лице, и воскликнул: — Дети! Смотрите на отца. Его гордость равна его доброте! Его слава равна его мудрости.

Он подтолкнул к доктору Алешу и Баба-Калана и заставил их воскликнуть: «Офарин! Молодец!», что они и сделали с удовольствием. А потом все вместе пошли по тропинке к стоянке арб у караван-сарая. Под ярким солнцем раскинулись по сторонам заросли пахучей полыни, ярко-зеленые кустики янтака. Жаворонки прямо из-под ног взмывали в небо, заливаясь нежными трелями. Ветер овеивал лоб и щеки. Жаль расставаться с Ангреном, который угрюмо ворчал за спиной... Привыкаешь к местам, где прожил годы.

«Все земли перед тобой убоги! О, пустыня!»

Кто это сказал? Кажется, Саади.

Дым от очагов стлался по всему замусоренному двору. На огромной площади, окаймленной низенькими мазанками, покосившимися, растрескавшимися, не было ни дерева, ни

пятнышка тени. Видимо, хозяева караван-сарая забыли, что благословен тот, кто сажает у своего жилья дерево, считает его священным и оберегает. Тут же, на душном, пыльном дворе, стряпали, рубили хворост, бросали огрызки и обглоданные кости, из-за которых дрались псы-звери. Сор швыряли куда попало. Двор был полон нечистот, в воздухе стояло зловоние. Посреди двора поблескивала вода хауза — зеленая от ряски.

— Чертовщина, — бормотал доктор, пробираясь среди арб, верблюдов, коней. — Что за привычка? За воротами — дюжина родников с холодной, чистой водой. А черпают из лужи, именуемой хаузом!

— В хаузе вода живая — в ключе мертвая, — откликнулся, выходя из-за арбы, хозяин сарая.

Доктор был рад и тому, что арба с его семьей стояла снаружи, за воротами и что завтрак приготовлен не в помещении караван-сарая, а близ дороги, в чайхане.

Доктор очень устал. Из Гилляу выехали часа в четыре ночи, чтобы успеть переправиться через Ангрэн, пока снег в верховьях не начал таять. И все же переправа отняла несколько часов. Ольга Алексеевна еще спала. Доктор решил подождать с завтраком, хоть арбакешам не терпелось открыть яму с барашком.

— Перестоится баранина, — заметил Мерген. — И потом — ехать далеко.

Когда они приближались к чайхане, услышали шум и хохот. Не сразу поняли, в чем дело. Джигиты переговаривались и хохотали.

Аскиабозлик — состязание остроумцев! Дружные всплески хохота перекрывали даже нарастающий шум неукротимой реки.

Затем карахитайский чайханщик, вытащив из-за самовара дутар, запел песню на слова Али Сардара Джафари:

Продали они  
наших тел серебром  
Продали они  
золото наших душ!

— Кто они? — спросил важно старейшина сучи, черный, обросший, гревшийся у самого самовара горячим чаем.

— Их все знают: их трое из глубоких нор. Один — кривое дерево. А корявое, гнилое никогда не выпрямится.

— Осторожно раскрывай рот! Вон сидит один из суков того дерева. Сук тоже с трухой в середине. Но как бы он не обломился о твою спину.

— А когда дерево зацветет?

— Когда на него черепаха залезет!

— А что скажет тешикташский мудрец?

— А что скажет? Его нет? Он в Стамбул поехал ума-разума набираться.

— У меня есть черный ишак. Он умнее всех муфтиев, вместе взятых.

— А почему?

— Ишак никогда не лягнет хозяина, который кормит его. А господин муфтий получил из рук нашего доктора свет своим глазам, а потом ударил по этим рукам милосердия.

— Доктор наш — добрый человек. Стерпел!

— Доктор не воин...

— Разве кяфир может быть воином? Доктор взял бы и потушил свет в глазах муфтия: Дал ему свет и отобрал бы!

— Тогда муфтий перестал бы блудить, а то про него ведь поется: «Как бы далеко ни было, иди по дороге. Как бы старин был, бери девушку...»

— А что смотрел урус-начальник?

— Урусу-начальнику замазали рот глиной, глина засохла, теперь и слова не скажет. Глину жрет... далеко... в...

— Трое пошли против одного. Три вора против одного смиренного человека. И... сами себе наказание определили.

Удивительно, в шуточках, довольно-таки язвительных, тилляусцы восхваляли доктора. Говорилось, что над могилой доктора, — пусть его жизненный факел не потухнет и через сто лет, — они поставят туг — святую хоругвь — с хвостом горного быка яка и вознесут за кяфира молитвы. И это будет первый священный туг, поставленный над гробницей неверного! И воздвигнут они настоящий гумбез — мавзолей с зеленым куполом. А как узнать, что там будет похоронен ходжа-доктор? А надо будет попросить у доктора его фуражку с кокардой и положить на самую маковку гумбеза. Пусть все видят и молятся! А из арбяных колес, выломав спицы, сделать очки, ибо никто не видел доктора без очков! И по бокам из белого камня сделать погоны, такие, как на плечах у него. И теперь надо всем сложиться и купить доктору коня. Слава доктора так весома, что ни одна арба ее не увезет — сто батманов. А вот конь хороший увезет, потому что пророк Мухаммед из уважения к хакиму, давшему свет и зрение тысячам людей, подарит доктору крылатого коня Дуль-дуля.

Сидевший в чайхане имам, настоятель карахитайской соборной мечети, при таком богохульстве встал, плюнул и важно удалился. Аскиячи начали поносить его и припоминать его грехи. А доктору лучше, чем дарить Дуль-дуля, купить в Лахоре слона, ибо ни один конь не унесет на своей спине столько славы. А еще надо приобрести и подарить доктору сокола, чтобы он полетел в Багдад и разнес его ученую славу по всему миру.

А один почтенный старец предложил собрать средства и

отправить доктора в хадж в Мекку и там установить близ святого черного камня — каабы — белый камень с надписью золотом и серебром: «Доктор, лечащий от всех болезней и вылечивающий!»

Так аскиябозлик превратился в чествование доктора, отбывающего к месту новой службы.

Был подан завтрак — запеченный на раскаленных камнях барашек, благоухающий всеми ароматами восточной изысканной кухни.

Проводы удались на славу. Ольга Алексеевна тоже сидела рядом с мужем за дастарханом. На тое присутствовали важные люди из многих уездов Сырдарьинской области. Они не решались устраивать проводы «опального» врача из Тилляу. Не исключено, что из канцелярии губернатора было дано соответствующее указание.

Среди гостей доктор обнаружил, к своему удивлению, знаменитого шоира из Коканда, правителя Араванской волости, богатейшего бая из Чиназа, мударриса — ученого из Чимкента. Иван Петрович узнавал и многих своих пациентов, которым он возвратил зрение.

Барашек удался! Пир получился на славу!

Доктор позвал: «Ко мне, пираты!» — и выстроил мальчиков лицом к реке.

— Вот, Алеша и Миша, отдайте честь родному селению. Сюда вы приехали младенцами — уезжаете большими. А теперь обнимите Сабира!

Высокий, серьезный, с темными глазами, с кофейным загаром, Алеша важно пожал руку Баба-Калану. Розовый, кукольно-пухлый, светлокожий, несмотря на южное солнце, Миша заревел и не выпускал из объятий рослого друга и товарища игр Сабира. Трое «братцев», как их называла Гульбика, подняли возню с криком, смехом...

— Ну, теперь скажите дяде Мергену: «Прощайте!» Еще раз глянем на Тилляу. Вот она, наша слава, наше горе... Прощайте!

Прощальные объятия! Со слезами на глазах Ольга Алексеевна расцеловала Сабира в его толстые щеки.

Мерген склонился в глубоком поклоне. Обнялись по-узбекски — Иван Петрович и Мерген. Лесной объездчик проормотал:

— Здоровым будь, хаким! Слава с тобой, хаким!

Доктор уже шел к арбам. Обернулся. Сказал:

— Может ли вся слава мира возместить человеку потерю мечты его юности?

Один веселый живой старичок, лукаво подмигивая так, что морщинки от уголков глаз разбегались по всему лицу,

подбежал по-молодому к доктору и, обращаясь к Мергену, спросил:

— Ответьте на вопрос, о властелин пуль и порока, востребователь зверей и птиц! Ответьте — любите ли вы мускус?

— Да!

— А как вы смотрите на дерьмо?

— Испытываю тошноту.

— А что по этому поводу скажет великий хахим?

— С отвращением отношусь к дерьму, а запах мускуса приятен.

— Значит, доктор поистине владелец лавки благовоний, то есть аттор, и тогда нам остается воскликнуть: «Там, где мускус и дерьмо идут по одной цене, аттору остается повесить на дверях своего магазина замок и удалиться, предоставив хозяевам базара возможность рыться в дерьме...»

— Нет-нет! — убежденно воскликнул Мерген. — Есть еще справедливость на свете! Аттор еще снимет с дверей своей лавки замок! Мы не отпустим доктора.

Доктор снова обернулся лицом к Ангрену:

— Река не возвращается вспять. Еще не было такого, чтобы река потекла вверх, в гору!

Что еще оставалось сказать Ивану Петровичу? Он снял фуражку. Низко поклонился в сторону Тилляу:

— Что ж, прощайте, друзья!

Вытер носовым платком стекла пенсне, легко вскочил на коня и поехал вслед за пылившими вдалеке арбами. Мерген ехал на своем иноходце рядом.

— Я все вам расскажу!.. Жизнь человека — путешествие по горам. Шел человек по оврингу. Твердо шел... Но оступился. Падая в пропасть, уцепился за дикую виноградную лозу. Повис. Ему бы выбраться поскорее вверх! Так нет, соблазн: огромные гроздья спелого винограда. Висит над пропастью путешественник, лакомится виноградом. И не посмотрит вниз!.. А там, на дне пропасти, подстерегают беспечного две змеи. Одна белая — день. Другая черная — ночь. И обе они — время!.. — И закончил он совсем неожиданно: — Великодушием он создал себе такую славу, что люди забыли славу Иекандера и Рустема!

## СОДЕРЖАНИЕ

«Запах земли. Он незабываем...»	3
Часть I Река дыбом	5
Часть II Взлет	63



**МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ШЕВЕРДИН**

**ДЖЕЙХҮН**

**Роман**

Редактор И. Заленская

Художественный редактор А. Кива

Технический редактор Е. Потапова

Корректоры Т. Красильникова, Л. Лебедева

ИБ № 3031

Сдано в набор 29.07.83. Подписано в печать 26.08.83. **Формат** 60 × 90 1/16. Бумага типографская № 3. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 14,5. Усл.-кр. оттиски 15,0. Уч. изд. л. 14,86. Тираж 120000. Заказ №1582 Цена 1 р. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 700129, Ташкент, ул. Навои, 30.

Г. П. ТППО „Матбуот“ Государственного комитета УзССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ташкент-700129, ул. Навои, 30.

1 p.

